

84P7(2P-4KеM)
0-38

ОГНИ КУЗБАССА

№ 4
2005

ИЗДАНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КУЗБАССА

В НОМЕРЕ:

- ✱ **Проза:** В. Махалов, М. Анохин, В. Креков, В. Арнаут
- ✱ **Поэзия:** Т. Николаева, В. Пристинский, В. Лопушной, В. Каганов, В. Тихонов, И. Мордовин, С. Ключников, Э. Гольцман
- ✱ **Публицистика:** Н. Кабанова, М. Александрова, С. Павлов, В. Власов
- ✱ **Литературная студия**
- ✱ **Искусство:** М. Чертогова
- ✱ **Библиотечество:** Е. Дубро, В. Плющев
- ✱ **Заповедная Сибирь:** В. Попок, В. Романчин
- ✱ **Светлица**
- ✱ **Критика, литературоведение**
- ✱ **Содержание журнала за 2005 год**



Представление книги Юлии Лавряшиной «Адская смесь»



Д. Мурзин
и Л. Чидиян



Автор

Представление книги стихотворений Натали Мурзиной «Вторжение весны»



Автор с другом-баяном

Выступления
В. Махалова и А. Каткова



Фотосессия А. Тарошина

Хр (кр)

8497(2Р-4Кем)
0-38

ИЗДАНИЕ
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
КУЗБАССА

С 1949 ГОДА

ОГНИ КУЗБАССА

№ 4
2005 г.

Главный редактор
Сергей ДОНБАЙ

Ответственный секретарь
Валерий КОЗЛОВ

Редколлегия:
Виктор БАЯНОВ,
Виктор АРНАУТОВ,
Борис БУРМИСТРОВ,
Валерий ЗУБАРЕВ
Владимир ИВАНОВ,
Александр КАТКОВ,
Иосиф КУРАЛОВ
(отдел поэзии),
Юлия ЛАВРЯШИНА,
Владимир МАЗАЕВ
(отдел прозы),
Валентин МАХАЛОВ,
Любовь НИКОНОВА,
Василий ПОПОК
(отдел публицистики)

Художник
Василий КРАВЧУК

Ответственный
за распространение
Сергей ПАВЛОВ

Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.

Адрес редакции:
650099, г. Кемерово,
Советский проспект, 40.
Телефон 36-85-14.

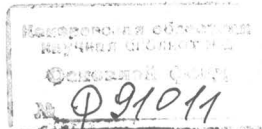
Журнал «Огни Кузбасса»
зарегистрирован Сибирским
окружным межрегиональным
территориальным управлением.
Свидетельство № ПИ 12-2373
от 14 мая 2004 г.

Учредители:
Кемеровское областное отделение
«Союз писателей Кузбасса»
общероссийской организации
«Союз писателей России»,
ГУК «Дом литераторов Кузбасса»

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ
БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕМЕРОВО
И ИЗДАТЕЛЬСТВА «КУЗБАССВУЗИЗДАТ»



316445



Сергею ЕСЕНИНУ

110 лет со дня рождения



...Я счастлив.
В сонме бурь
Неповторимые я вынес впечатленья.
Вихрь нарядил мою судьбу
В золототканное цветенье.

Только поэт, душа которого светла и чиста, как родник, а сердце полно неисчерпаемой любви и милосердия ко всему живому в мире, только художник, за «случайными чертами» и «гримасами» века открывающий для себя, а значит — и для нас всю красоту родной земли; поэт, твердо верящий в ту неизменную истину, что «мир — прекрасен», мог так почувствовать и выразить себя в русском Слове.

Благословенное есенинское Слово — это **библия русской души**, людского милосердия, веры в человека. Оно — вечно!

Ю. ПРОКУШЕВ

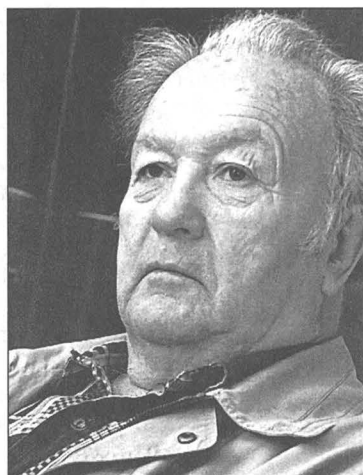
Валентин МАХАЛОВ

ПОЛЕНЬКА

РАССКАЗ

Говорили, что в Астрахань «Волжанин» прибудет днем, но пароход почему-то опоздал. В город приплыли вечером, когда солнце уже скатилось за горизонт. Выгружаться пришлось почти в потемках, поэтому было много толкотни и ругани. Катышеву с трудом удалось навести мало-мальский порядок среди переселенцев. Но пока он метался с парохода на берег и обратно, кто-то из копылихинских в сутолоке на трапе уронил в воду узел с одеждой. На всю пристань заревела, запричитала Кривая Дуська, кляня на чем свет стоит распелюху-сына, который, видать, и выронил узел. Благо узел не утонул, а медленно намокая, плавал у мазутного борта дебаркадера. Его успели подцепить багром и выволочь из воды. Дуська мигом успокоилась и, вцепившись в отяжелевший узел, волоком потащила его по грязной палубе дебаркадера.

Как и в Косьмодемьянске, переселенцы выгружались прямо на берег. Те, у кого не было громоздкого багажа, устроились ночевать на речном вокзале, где было тесно от людей, но все-таки лучше, чем на улице. Боясь простудить еще не окрепшего после болезни Димку, Варвара Градова тоже решила переночевать на вокзале. Посторожить свой багаж она попросила Настасью Белкину, а сама, прихватив одеяло и кое-что из одежки, пошла с ребятишками в большое серое здание, которое стояло рядышком с пристанью. Кое-как отыскала свободное место неподалеку от входных дверей, постелила прямо на пол старенькое одеяло, в изголовье бросила фуфайку и стала укладывать Димку с Лелькой спать. Когда те легли, заботливо укрыла их большой шалью с кистями, а сама прикорнула возле, собираясь не спать всю ночь. Она по-деревенски боялась вокзала, вспоминая всякие страшные рассказы, которые доводилось ей слышать раньше о вокзальных ворах и охальниках. Она настороженно присматривалась к людям, которые сидели и лежали поблизости, но не находила в их лицах ничего устрашающе-



3

го. Это были в основном такие же, как и она, бабы, чаще всего с малыми ребятишками, усталые, с невыспавшимися глазами. Немного успокоило ее и то, что по залу то и дело проходила женщина-милиционер в форменном кителе, с наганом на боку. «За порядком догляд ведет, – подумала Варвара. – Вишь, какие глаза-то строгие».

И все-таки Варвару сморил сон. Голова ее медленно клонилась к русской голове уснувшего сына, Варвара тяжелым усилием поднимала ее, обводила зал сонным, ничего не видящим и не понимающим взглядом. Уснула она перед самой полночью так, будто провалилась в большую черную яму. Выкарабкаться из нее ей было уже не под силу.

Сон Варвары был коротким и тревожным. Приснился ей Калиновый яр, место, где, кажется, испокон века гуляли и гуляют воробьевские девки и парни. И она себе совсем еще молоденькой приснилась: платье на ней из батиста, косынка голубая в белый горошек. Идет она по Калинову яру, по самому его краю. И весело вроде бы ей, даже песни петь хочется. Вот только небо над ней пасмурное, низкое, так и давит. И не вечер еще будто бы, а сумерки набегают. А может, это гроза над яром собирается? Вон ветер вершины деревьев качнул, козынку с головы едва не сорвал. И река под яром потемнела, словно из олова стала. Сразу веселье куда подевалось, страх стал наползать. Спихнулась она, домой бежать надумала. И вдруг слышит: кто-то зовет ее под яром жалобным голосом. Вслушалась. Да это же Димка, сыночек ее маленький. Тонет, на помощь ее кличет. Ну и кинулась она к нему с яра, как подбитая на лету птица...

Махалов Валентин Васильевич родился 31 июля 1933 года в городе Горьком (ныне Нижний Новгород).

Окончил Ленинградский университет, факультет журналистики. После его окончания приехал в Сибирь, работал в газете «Кузбасс», позднее – собственным корреспондентом «Строительной газеты» по Западной Сибири. Автор многих поэтических, прозаических, очерковых книг, вышедших в разные годы в Сибири и в Москве. Член Союза писателей России. Живет в Кемерове.

Проснулась Варвара, в теле дрожь никак унять не может и что творится вокруг, не поймет. Люди рядом не спят, переполнены чем-то, на нее смотрят в испуге. Димка тоже проснулся, глаза кулаками трет. И тут снова захолонуло сердце Варвары, будто водой из колодца его полоснули. Видит она: поперек Димкиных ног человек лежит, маленький, скрюченный, на тряпичный комок похожий. Встала Варвара на непослушные ноги, а сама делать не знает что. Потом голос расслышала бабий:

– Она тут с вечера шарашилась, исть просила. Милиционерша на улицу ее выгнала. А счас она снова пришла.

– Холодно на воле-то, вот к теплу и пришла, – сочувственно проговорила другая баба, помоложе, поправляя изголовье у безмятежно спящего у нее под боком мальчика. – Да и оголодала, видать, девчонка-то, шла и как подкошенная упала. Прямо на постелю.

Варвара наконец пришла в себя, наклонилась над костлявым тельцем спящей девочки, сдвинула его с Димкиных ног. Девочка застонала во сне, еще крепче сжала в грязном кулачке краешек шали, в который она уткнулась лицом. И только тут Варвара разглядела ее. Девочке было лет восемь-девять, не больше. Она была босиком. Было больно смотреть на ее заляпанные грязью, худущие, с остро выпирающими лодыжками ноги, которые она зябко поджала чуть ли не под самый живот, наполовину спрятав их под изодранной в клочья одеждой, напоминающей то ли халат, то ли распоротое от ворота до подола платье. Когда Варвара попробовала перевернуть бедняжку на бок, она с ужасом увидела под распахнувшейся рваниной голое тельце с едва намеченными пупырышками груди, со втянутым под самые ребра животиком. Сузой комок подступил к ее горлу, и она заревела, заголосила так, как голосят по покойнику.

Упавшая разлепила синие опухшие веки, испуганно встрепенулась и серой обессилевшей мышью скатилась с одеяла, поползла к дверям. Шаль, зажатая в кулачке, волочилась за ней по полу.

– Умыкнет платок-то! Вот те хрест умыкнет! – завопила баба, которая начала разговор первой. – Милицию кричите!

На нее зашикали:

– Чево орешь! Не вишь, дитенок в себя не пришел. Не соображает, что делает.

Варвара догнала девочку уже у дверей. Та, вжав голову в плечи, прилипла к стене, ждала побоев...

Обряжали девочку всем миром. Тащили ей ношенную и почти новую одежонку, которая была под рукой, совали ей в трясущиеся ладошки кто кусок хлеба, кто вареную картофелину. Та озиралась затравленно и, казалось, не понимала, что люди ей желают добра, что все это – и еда, и одежда, наспех брошенная ей на колени, теперь ее, ее. И только

когда Варвара ласково погладила девочку по жидким, свернутым в грязные сосульки волосам, та поняла все и стала торопливо совать в рот то хлеб, то картофелину, ела, давясь и захлебываясь.

Откуда-то снова появилась строгая милиционерша в кителе, хотела было унять не в меру расходившихся ночлежников, но, заметив ребенка, сразу смекнула, в чем дело.

– Вторую ночь ее отсюда гоняю, – сказала милиционерша, – а она снова тут как тут. Спрашивала: «Чья?». Она говорит, что с Украины вроде. Их сюда семьей привезли, а она, мол, всех потеряла...

– Так ведь найти можно, поди, семью-то? – спросила Варвара с надеждой.

– А где ее найдешь? Может, она в Астрахани, может, еще где. Ищи в такой суматохе.

– Значит, погибать дитю-то?

– Я ее в детский приемник звала – не хочет. Говорит, была там, не нравится. Разве что силком ее туда увести? Да таких, как она, сейчас много по пристаням шманается...

Девочка будто не понимала, что разговор идет о ней, ела, не обращая ни на кого внимания. Только изредка она взглядывала то на Варвару, то на Димку, пялившего на нее глаза. Димка совсем опешил, когда та сказала первые слова, которые неожиданно были обращены к нему:

– Хочешь хлебца, а?

И она протянула ему кусочек черного землистого хлеба.

Варвара сама не знает, как и в какую минуту она решилась на это. Но вышло так, что под утро, когда люди потихоньку уже уgomонились, она помогла Поленьке (так звали девочку) наскоро переодеться во все чистое и сказала ей тихо:

– Поедем с нами, доченька, а то пропадешь здесь одна-то.

Поленька удивленно поглядела на нее и заплакала, уткнувшись ей в колени.

Варвара долго гладила ее глухо вздрагивающие плечи, шептала ей что-то успокаивающее. Наверно, тогда и решила окончательно, что Поленька поедет с ними и будет жить у них до тех пор, пока милиция не отыщет ее родную семью.

Ранним утром, разбудив Димку и Лельку, она перебралась незаметно с вокзала к своим, на берег. Настасья уже не спала. Она смотрела, не понимая, то на Варвару, то на незнакомую ей чумазую девчушку-худобу, которая держалась в семье Градовых как своя. Она видела, как Варвара достала из узелка печатку мыла и, взяв за руку Поленьку, повела ее к реке.

– Что-то чудит девка, – сказала она.

А Димка ответил ей серьезно, совсем по-взрослому:

– Теперь Поленька будет жить у нас. Мы ее взяли на воспитание.

Татьяна НИКОЛАЕВА

МОЙ РЕБЕНОК ЧИТАЕТ СЕНЕКУ

Воронья-то сколько, воронья-то!
Нанесло же их в мою весну...
Поднебесной свежестью объята,
Я опять сегодня не усну.

Буду слышать, вслушиваясь в ветер,
Птичьих снов то всполохи, то тишь.
Скоро закричат вороньи дети
С тополиных крон и наших крыш.

Скоро, очень скоро я заплачу,
Ландышей вдыхая холодок,
И быть может, жизнь переиначу,
И быть может, мне поможет Бог

Быть терпимей к тем, кто безголосый,
Кто бескрылый, – уважать за труд,
Просто знать, что вечные вопросы
Никого в пути не обойдут,

Поутру, раскланиваясь с птицей,
Просто думать, что живу в раю,
И любить, и верить, и светиться
Благодарным чувством к воронью.

5



Сергею Донбаю

Мне не хватает деталей
В жизни, стихах и прозе.
Видно, они улетали,
Как снегири – на морозе,
С голых каркасов быта.
Это ведь, брат, искусство –
Выудить, что забыто
В тёмных проёмах чувства.

Маленькие детали:
Терпкий парок над чаем...
Мы до того устали,
Что и не замечаем,
Как удивлённо тает
Счастье, паря над скукой, –
Маленькие детали
Перед большой разлукой.

Простые вещи низкого полёта:
Нечаянная драка у ларька,
И парочка пивная шутит что-то,
Гадая про финал издалека.

Николаева Татьяна Николаевна родилась в 1956 году в городе Семипалатинске в семье офицера Советской армии. До 1973 года училась в разных школах страны и за рубежом. Помнит гарнизоны Казахстана, Уссурийского края, Сахалина, Прикарпатья, Германии (ГСВГ).

В 1973 году, когда она окончила среднюю школу, родители переехали в город Новокузнецк. Здесь она стала писать стихи. Публиковалась в «Литературной газете», журналах «Огни Кузбасса», «После 12». Автор книг: «Живи меня, Господи», «Где ты, потомок первого?». Живёт в Новокузнецке.

Народ, уткнув сознание рогом в чрево,
Куда-то озабоченно стоит,
И пролетает, как всегда – налево,
Голодный в безработице пиит.

Поёт звезда в маршрутке, – нет, не с неба,
И не на небо тянется маршрут.
Классически мы ждём вина, и хлеба,
И зрелищ, если задарма дают.

Не только. Нам ещё немного крови
Подай. А можно много, но чужой.
Вон у ларька избытками любви
Стязаются незрелые с бомжой.

Простые вещи! Всё предельно просто!
Какая блажь – насиловать умы,
Когда неотвратимо у погоста
На бреющем полёте канем мы?

ПИСЬМО К ЛУЦИЛИЮ

Мой ребёнок читает Сенеку,
Я смотрю с отупением в явь:
Оправдать её нечем и некем,
А от зауми – Боже, избавь!

Льют дожди по январскому снегу...
Снег летит по-над Троицей вдруг...
Что сказать этой «почке», «побегу»
О ветрах беспредела вокруг?

Мой ребёнок Сенеку читает,
И на скрип исторических вех
Изрекает цитаты, и тает
Неурочно просыпанный снег.

Я вяжу, вышиваю, латаю
Всё, что за день покрылось дырьём,
И, как снег, умиительно таю
От Сенеки в ребёнке моём.

Всё так ясно становится в малом
Бытии, если явится свет...
И уже всё равно, что устала,
Не успела, и в праздники нет

На столе апельсинов и прочих
Удовольствий, в кармане – деньжат...
В очень долгие зимние ночи
Звёзды в небе висят и дрожат.

Знать, от холода. Я открываю
На дочерней закладке листы
И читаю Сенеку, и таю
От щемящей внутри простоты.

Яне и Вове

Бытность незадачливого мира:
съесть, украсть да подмести полы.
Наша коммунальная квартира
зла, хотя жильцы её не злы.

Птичий гомон – в окна,
крысы – в дыры
(ими же прогрызены в полу!), –
это мера амплитуды мира,
очень неустойчивого к злу.

А к добру мы все, как дети, падки:
то кошконка среди нас найдёт
пищи небогатые остатки,
то как будто всё наоборот.

Много горя в простоте сердечной
за произвольным «ё-моё!» –
иссякало.

И под небом вечным
бытность превращалась в бытие.

Владимиру Шебанкову

На асфальте – убитая птица –
мелюзга по сравнению с тем,
что на свете сегодня творится
среди прочих обыденных тем.

Погибаем мы все, кто как может, –
что над птицей убитой тупеть?
Мне ли грязное смертное ложе
этой твари небесной воспеть?

Мы и сами не все-то отходим
в простынях среди искренних лиц, –
вроде люди, гуманные вроде...
Нам ли плакать о гибели птиц?

Я не плачу.
Я просто не в силах
больше плакать.
Я просто смотрю,
как распята она некрасиво
на распутии по октябрю.

Мелюзга, никчемучка, но что-то
сердце точит осколок шальной:
птицей быть – это тоже работа
чьей-то жизни простой
надо мной...

Мой Ангел, я тебя не вижу...
Не вижу я тебя, увы...
Спустись немножечко пониже –
В потоки злобы и молвы,

Где я живу в крошечном мраке
За оправданьем: «се ля ви»,
И лижут руки мне собаки,
Когда заплачусь до любви

К травинке, камню на дороге,
И старичкам, и голытьбе...
Когда задумаюсь о Боге
И вспоминаю о тебе.

Как холодно мне в сердце! Словно лёд
Сковал запруду, где резвились рыбки.
Премудрость Соломона: «Всё пройдёт», –
Я изрекаю в стену без улыбки.

Чего б ещё такого изречи,
Чтоб этот змий тоски не гложил душу?
Нет, я его коварный план разрушу –
Пойду на кухню, приготовлю щи.

Пусть с голода сдыхает этот гад:
Я ни слезы не уроню в капусту,
А щи сварю наваристо и густо,
Поднаторев за много лет подряд.

Да, всё пройдёт, премудрый Соломон,
И ЭТО будет съедено до донца...
А лёд на сердце? Им займётся солнце,
Весенний дождь и птичий перезвон.

Лидии и Юлии Емец

День ушедший: дворики печёные
на закате, сладком, как пирог,
дети, звонким детством увлечённые
у ещё не пройденных дорог,
и над всем – какой-то правдой тайною:
белый голубь, крошки у скамьи
и любовь к старушкам неслучайная, –
были все, сердешные, – мои!

День грядущий: клерк с улыбкой дауна,
резерваций пенсионных стон,
псы пород невероятных с дамами
(дамы – за породами – хвостом),
взгляды в мир решётками залатаны...
Прилети к скамейке поутру,
белый голубь с розовыми лапками
и душой, лохматой на ветру!

7

РУССКАЯ ПЕСНЯ

Ольге Козловой
и Нине Гержидович

Пели мы протяжно и негромко
Грусть-тоску рождественских дорог:
За плечами – нищая котомка,
Сердце – через край,
И с нами Бог!

С нами Бог!
ГУЛАГ давно заснежен
И порос диковинным быльём...
Взгляд в пространство дерзновен и нежен,
Потому что о любви поём.

С нами Бог!
Родимые кладбища
Вздохом поднимают снега гладь...
Взгляд в пространство воскресенья ищет,
Но от слёз дороги не видеть.

Мы поём, как кличем, – словно птицы,
И душа снимается в полёт...
С нами Бог: заглядывая в лица,
Почему-то плачет
И поёт.

Вадим ПРИСТИНСКИЙ

КОМАНДИРОВКА НА ВОЙНУ

КОЛОННА

Ревут машины, пылит дорога,
Грохочут танки, гудит земля.
Ползет броня с высот отрога
По серпантину гор в поля.

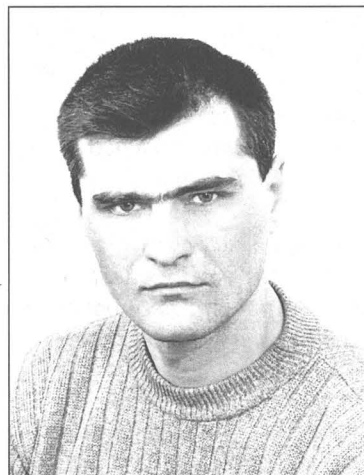
Чернильно-рваный сгусток ночи
Повис над алым крапом дня.
Путь к цели стал еще короче:
Ростов, Моздок, Кизляр, Чечня.

СОЛДАТЫ

Который день жара и запах мертвечины...
Комбат нам тараторит каждый день:
«Держитесь, пацаны, ведь вы уже мужчины!»
Развод на службу. С гор крадется тень.

В разгрузках ИПП, боекомплект, гранаты,
Бронежилет армейский на плечах.
Вчера была шпана, теперь в строю солдаты.
Тревожный сон в палатках при свечах.

Терзает души боль жестокая по дому,
Тоска с письмом нахлынет от родни,
И радуемся так, как ничему другому,
Что пролетают незаметно дни...



8

КРАСНАЯ РАКЕТА

С шипеньем вырвалась ракета,
Стрелой пронзая высоту.
Как капля крови, вспышка света
Над нами выжгла черноту.

Дневальный крикнул: «Сбор, тревога!»
Еще раз испытай судьбу,
Чтоб базу защитить с востока,
По «чехам» начали стрельбу.

И в этом смертоносном шквале,
В дыму взорвавшихся гранат
В который раз мы понимали,
Что взводу нет пути назад.

НА НОЧЛЕГЕ

Тревожно тихо. В полумраке
Горит лампада на столе.
В полуразрушенном бараке
Мы спим, как звери, на земле.

Ночуем в брошенном квартале,
Во тьме грохочет Гудермес.
Как монолит из черной стали,
Стоит в бойнице АГС¹.

Пристинский Вадим Васильевич родился 12 марта 1976 года в селе Никольское Белогородского района Амурской области. В 1993 году после окончания школы переехал в Кемерово.

В 1994 году был призван на действительную военную службу. Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики. В 1995 году был уволен в запас. Окончил Кемеровский коммунально-строительный техникум, очное отделение. Работает в службе безопасности ОАО «Кокс». Публиковался в журнале «Огни Кузбасса». Живет в Кемерове.

Дежурный бродит с автоматом,
Торчит ПК² стволом в окне.
Как не хватает сна ребятам
В командировке на войне.

«ЛАНДЫШ»⁵

Пристегнув к АКМ⁴ам ГП³,
Тяжесть черных разгрузок на плечи
Надевая, бежим по тропе,
Приближая мгновение встречи.

Вот и «яма» – блиндаж постовой,
Ориентир – шесть холмов за оврагом.
Снова ночью запахло войной,
Нет конца нашим контратакам.

После залпа секундного – взрыв
Вспыхнет, грохнет еще семикратно...
А потом все, как сон, позабыв,
Возвращаемся просто обратно.

ДРУГУ

Нам было предначертано судьбой
Пройти дорогой смерти, друг, с тобой.

Деля невзгоды, радости вдвоем,
Мы не жалели в жизни ни о чем.

Увы, но так бывает на войне:
Как гром, раздался выстрел в тишине,

Остался я один, смертям назло.
Здесь друга вспомнят: «Что ж, не повезло».

ПРИМИ

Прими, безоблачная даль,
В свои незримые объятья
Мою тоску, мою печаль,
Мое последнее заклатье.

Прими меня в траву лугов,
Где зелень влагу источает,
В тени стареющих дубов
Прохлада сыростью вздыхает.

Прими, я ширь небес хлебну,
Полей желтеющие склоны.
В душистом хлебе утону,
Отдав последние поклоны.

9

«БОЛЬШОЙ КАВКАЗ»

За зловещим хребтом угасал знойный день,
Остывал небосклон раскаленный,
Опускалась, как призрак, лиловая тень,
Расправляя свой саван холодный.

Обнаженно порода чернела горбом.
В твердь небес пик вонзался скалистый,
Разделяя на равные части ребром
Край вечерний, безоблачно чистый.



¹ АГС – автоматический гранатомет станковый (АГС-17 «пламя»)

² ПК – пулемет Калашникова (ПК-7.62)

³ ГП – гранатомет подствольный (ГП-25/30 «костер»)

⁴ АКМ – автомат Калашникова модернизированный складывающийся (АКМС-5.45)

⁵ «Ландыш» – подразделение со спецвооружением, созданное по инициативе командира батальонно-тактической группы в 1995 г.

Михаил АНОХИН

ТОЛЬКО ПАМЯТЬ

ПОВЕСТЬ В НОВЕЛЛАХ



Чёрт его знает, как это бывает у людей здраво-мыслящих, деятельных и потому – разумных. Наверное, они помнят и забывают только и исключи-тельно то, что с ними было на самом деле. Помнить и забывать – это ведь как день и ночь – сутки прочь!

Помнить и забывать – это и есть жить. В этом целостность жизни, реальной, заметьте, жизни. Только помнящие реальность и забывающие то, что с ними происходило в реальности, считаются раз-умными. И правильно! Вот и я еще вчера знал фак-ты своей биографии, знал твердо и непреложно, что было, а чего не было и не могло быть, а как перева-лило за пятьдесят, всё спуталось и потекло.

Одно и то же вспоминается по-разному, пере-ливчато, как узоры в моей детской игрушке – калей-доскопе... Самая ценная игрушка, которая когда-либо у меня была, кроме самого детства.

Но забываются не только сутки, но целые меся-цы жизни, а то и годы. А если что вспоминается, то фрагментарно и недостоверно как будто бы...

Из этого «как будто бы» сложена вся наша па-мять, по крайней мере, моя. Конечно, я что-то знаю достоверно точно, но это такая малость по сравне-нию с моей жизнью, как геодезические реперы по сравнению с пространствами, на которых они рас-положены. Всё это точки отсчета, чтобы не поте-рять себя во времени и пространстве. Но стоит от-шагнуть от них на месяц, год или два, как всё начинает переливаться, мерцать и заполняться иг-

10

рой памяти, пока сознание не уцепится еще за ка-кой-нибудь «репер», за непреложный факт, от ко-торого невозможно отказаться, будучи в здравом уме и рассудке.

Странно другое и вовсе не то, что память воз-вращает в прошлое, а то, что прошлое начинает болеть в тебе! Может быть, старость и дана челове-ку только затем, чтобы отболеть ранее не бывшей болью? Отболеть и умереть?

Я всегда считал себя здравомыслящим и разум-ным. И гордился этим. Ничего на веру не принимал, полагал, что всё мне доступное должно быть ис-следовано. Я познавал мир со страстью и самоуве-ренностью дилетанта. Если подумать, то все мы вступаем в жизнь дилетантами. Если бы я знал об этом мире столько, сколько знаю сейчас, то и шагу бы не ступил без оглядки. Жил бы и живя дрожал, как премудрый песчарь в своей норке. А жить – это значит испытывать боль и причинять боль другим!

Вот что такое, господа мои, жизнь! А когда не можешь переносить свою боль и не смеешь причи-нять боль другим, то ты уже живые – мертвы!

Многое я забыл из того, что должен бы помнить, но еще больше в моей памяти такого, чего не могло быть со мной. Невероятное помню, а очевидное – забыл, как корова языком слизнула!

Нет, вы не подумайте, что у меня только и ис-ключительно воображение играет, память свое-вольничает! Что-то помню: вот корову помню, на-

Анохин Михаил Петрович родился в 1944 году в селе Калары Таштагольского района. Работал пожарным, геологоразведчиком, рыбаком тралового флота на Камчатке, строителем, журналистом. Окончил литературную студию при Алтайской организации Союза писателей СССР. Пишет стихи, прозу, публицистику. Автор книги стихов «Первая ступень» (Барнаул, 1979). Печатался в журналах «Звезда», «Наш современник», «Алтай», «Огни Кузбасса», в коллективных сборниках.

Участник забастовочного движения шахтеров (1989). Автор неопубликованной публицистической книги «Записки забастовщика». Живет в Прокопьевске.

возом и молоком пахнет. Это и есть корова моей памяти, и язык у неё шершавый, как терка, горячий и влажный.

Вот вспомнилось же! Она лизнула меня в лицо, и я едва устоял на ногах. Мне было года три, не больше. Корову звали Милкой. Как только подходил к ней, она наклоняла голову и пыталась лизнуть меня. Нет, не просто лизнуть, а вылизать! Сейчас понимаю: наверное, потому, что от меня пахло молоком. Её молоком, и она принимала меня за своего теленочка. Вот видите, какая у меня sentimentalная память. Как же мне жить с такой памятью? А ведь прожил я с ней, считай, всю мою бестолковую жизнь. Осталось-то с гулькин нос!

Может, всё оно так и было, как написалось в этих страницах, а может, и вовсе не так. Точно теперь не вспомнишь, да и как, если «корова языком»?.. Долго писал, по крохам писал и когда еще сердце было здоровым и когда уже его разорвали «обстоятельства жизни».

Нет, нет! Я многое помню! Очень многое! Даже такое, во что только и можно что поверить, но чего решительно знать и понять невозможно! Такое помню, чего здравомыслящий человек попросту допустить не может, если уважает себя и свой разум. Но память не спрашивает меня: приходит и уходит по собственной воле. Такая у меня память – своевольная стала, ни во что не ставящая здравомыслие.

Огромные, буквально гигантские пространства моей жизни заполнены своеволием памяти.

Вот в чем вопрос, мучительный для меня: а на самом ли деле у меня было здравомыслие или только так люди говорили? Так самому казалось?

Да, о здравомыслии... То есть о мыслях здоровых, а у меня что ни мысль, то – боль. Добро бы сам точно знал, что это и есть моя собственная мысль и собственная боль, а не чужая, незаконно и нагло влетевшая в мою голову, пронзившая мое сердце?! Так ведь нет же! Не дано мне это знать! Память говорит – было, а оставшаяся здоровой часть рассудка говорит – не могло быть! Вот и толкуй тут о самоуважении. Между тем любому здравомыслящему очевидно: человек должен себя уважать, иначе его никто уважать не станет. Да и как жить дальше, если себя не уважаешь? Это и Карнеги утверждает, да и сама жизнь постоянно напоминает: «Уважай себя, уважай себя...».

Да разве только Карнеги об этом толкует? Христос о том же, но иначе сказал: «Возлюби ближнего своего как самого себя». То есть вначале нужно иметь к себе любовь. Иначе – чем же измеришь и с чем подойдешь к другому? А как себя возлюбишь, если не уважаешь?

Я хочу себя уважать, чтобы полюбить себя и через это – ближнего своего, но память мне не даёт этого сделать. Нет в ней ничего такого, за что можно проникнуться уважением к себе. И опять же: может, было что-то, но подошла «корова» и всё слизнула шершавым языком, а что оставила, то противно и неприемлемо для здравомыслящего человека.

Я не могу довериться собственной памяти, слишком много такого подсовывает мне она, чего не должно, а следовательно, и не было в моей жизни, особенно если доверять здравому рассудку. Ведь бывают же моменты, когда он просыпается во мне и тогда всё, что припомнилось, кажется мне диким и несуразным? Другой какой-то памяти у меня нет – живу с этой, своевольной, и мучим ею.

Пожалуй, я давно уже не мыслю здраво. Не окружающим меня миром живу, а тем миром, что подсовывает мне память. Прошлым живу, но своим ли? Вот еще один измучивший меня вопрос.

11

– Извини, не хотел тебя обидеть. – Он вошёл в мою комнату деликатно. Вежливый человек. Он – журналист, с грубым мужицким лицом, с большой лобастой головой. С этой головы ветер времени сдул все волосы, и оттого она кажется еще больше, просто огромной! Интересно, головная боль зависит от размеров головы или не зависит?

Глупые мысли лезут в мою глупую голову. Вспомнилось: у Анатоля Франса была очень маленькая голова. Или вот: «Надо же, семерых детей настрогал таким крохотным членом!»

Остроумие на грани пошлости, или же пошлость, подошедшая к границе остроумия? Если бы всё, что подумалось, вытащить к свету и разглядеть? Может, тогда бы и предстал подлинный человек, а не отредактированный здравым рассудком, всегда озабоченным выгодой. Выглядеть приличным бывает выгодно особенно подлецам, господу мои! Так вот – я подлец и так представляюсь. Да и как я мог бы дожить до седых волос и не сподличать?

– Не стесняйся, обижай, – сказал я ему. – Обида – мощное и оттого эффективное лекарство от жизни. Старость научает переносить и жизнь, и сильные лекарства от неё.

– У меня сложилось впечатление, что ты проходишь свой мыслительный путь, как будто идёшь через болото по кочкам. Перепрыгивая с цитаты на цитату, с одного авторитета на другого.

– Да, да! Ты угадал! Это всё проделки моей памяти! – Но он меня не слышал. Так бывает. С этой глухотой собеседников я часто сталкивался. Гово-

ришь, а от него все отскакивает, как от стенки горох. Подозреваю, что и у них память тоже чудит. Помнится, я ему сказал: «Я ждал тебя долго, друг, гораздо дольше, чем мы знакомы».

– Так не бывает.

– Так бывает. На отвесной скале проступает лик человеческий. Это тысячелетние трещины играют нашим воображением. Вот и тебя я видел когда-то, ликом на одной из скал, в детстве. Но я не о том... Может, ты и прав, упрекая меня, что я «иду, как по кочкам», но такая уж у меня манера передвижения, да и какие «кочки»! Вечные, можно сказать, «кочки»! Думаю, это не худший способ двигаться, тем более что кругом – «болото». К тому же, моя память...

– Память – замаять. Болтало болото блудливую блядь... А – глядь! – Я вздрогнул от неожиданности. Всё что угодно, но только не этой реплики я ожидал от него.

– Это из другой оперы... – возразил я, оборачиваясь к собеседнику. С удивлением увидел: в кресле совершенно другой человек, и лицо у него пластелиновое. Оно гримасничало:

– Братан! – Он полез ко мне с поцелуями, вытянув губы трубочкой. Муравьед. Ухнуло под потолком: – Ва-ся-а... – Эхом откликнулось в четырех стенах: – Ас-я-а... – И утонуло в пронзительной головной боли. Эта боль всё, решительно всё и всех, смыла.

– Чудишь ты со своей памятью, чудной! – Это уже другой сидит в моем кресле вальяжно и курит дорогую сигарету. Я забыл его имя. Удивительно быстро забываю имена! Всё помню: лица, интонацию, отдельные фразы, а вот имена не удерживаются в моей голове. Я страдаю оттого, что забыл, как его зовут! Изворачиваюсь, стараюсь обойтись без имен.

– Чудной – значит чудесный, а чудесный – синоним прекрасного. Разве я красивый?

– Нет. Ты и есть синоним. – Он расхохотался, как ему показалось, удачной шутке. – Синоним, обращенный в прошлое. – Он встал и прошелся по комнате, два шага от окна к двери и обратно. Остановился, навис надо мной.

– Всё просто, всё очень и очень просто! – Он посмотрел на меня так, как смотрит строгая учительница на молодого олуха. – Чудить – это значит выдумывать то, чего не было, нет и не будет! Повторяю, все очень просто. Не усложняй! Жизнь и без того сложна.

Сказал и исчез! Да был ли он?! И говорил ли мне эти слова, или всё это проделки моей памяти? При-

ходят такие вот собеседники нежданно-негаданно, самочинно, царапнут душу, посеют в ней чёрт знает что и исчезают... Пойми теперь, чего я синоним? Может, сказал ради красного словца, но ведь и посеял!

Сколько лет прошло? Много! Около сорока! Кто только меня тогда не учил! Решительно все учили и каждый на свой лад! «У семи нянек дитя без глазу». Хоть бы что-нибудь осталось от их учения!? Я трудно учился. Я не хотел знать, я хотел чувствовать то, что для всех служило объектом знания.

Теперь-то я понимаю, чего хотел! Я хотел воспринять душу предмета, а мне всё время давали одну только оболочку его! Знание убивает душу познаваемого. В этом суть знаний. Любых знаний! А я ничего не умею, кроме как познавать. В этом мое горе. Еще бы, такие учителя!

«Вышло горе на море...» Нет! «Стало горе на горе...» Из этого могут родиться стихи. Могут, но не обязательно...

Эта история приключилась со мной... Нет. Эта история приключилась с мещанином Титьковым в 1856 году в уездном городке под Вологдой, мне она только припомнилась. Он приехал туда по торговым делам и остановился в единственном постоялом дворе о двух этажах.

Зима. Пурга. На станциях отощавшие лошади. Потому и отощавшие, что смотрители так и норовят продать казенный овес и сено на сторону. Наш древний обычай относиться к казенному, чужому, как к своему. Его не могли исправить ни батоги Петра, ни железо кандалов. Приходится самолично заниматься делами и не полагаться на приказчиков, украдут! Сколько бы ты им не платил – украдут непременно! В России все крадут, разве что монахи да пустыnnики не крадут. Прости нас, Господи, тем и живём! Потому и потащился за сотню вёрст к чёрту на кулички, чтобы самолично закупить масло в здешних краях. Масло из здешних мест имеет особый аромат и в обеих столицах идет нарасхват, да и прибыль... кхе...

Как сказал, остановился я на местном постоялом дворе, по-новомодному называемой гостиницей, то есть для гостевых людей вроде меня. Номера на втором этаже. Низкие потолки, оштукатуренные стены, побеленные известью... Про клопов спросил – сказали, что полынкой всех вывели. Врут, поди. Клопов не полынкой выводят, а цивилизацией. Кто этого не знает? А вот поди ж ты. У нас, в России, завсегда так: золой да полынкой – это куда

ни шло, а то ведь и пеплом. «Красный кочет на крышу вскочит...»

На первом этаже был небольшой зальчик с буфетом, столиками и несколькими креслами перед камином. Этот камин, изукрашенный изразцами, очень меня, то есть Титькова, поразил. Но это уже было вечером, когда вокруг камина собралась компания из четырех человек, проживавших в этих номерах. Зальчик и камин с претензиями на Европу. Видно, хозяин по европам поотирался и занес в глушь отблеск европейского лоска.

Я спустился вниз уже когда разговор был в самом разгаре. Зальчик освещался тремя свечами на бронзовом канделябре и огнем камина. Лица двоих были хорошо видны, а вот третий сидел в темноте, и только начищенные до блеска хромовые сапоги поколен попадали в освещенное пространство.

Лакей осведомился: что буду пить? Я заказал рюмку водки и чего-нибудь закусить. Я мог бы поклясться, что мне принесут ржавую селедку и кусок черного хлеба. Поклялся бы и проиграл: лакей принес изрядную порцию кетовой икры, горькой выложенную на ломоть пшеничного хлеба.

Разговор меж тем не прерывался, живой такой разговор и даже страстный. На меня не очень-то обращали внимания.

— Ну, извольте, коли уж на то пошло, то расскажу вам одну притчу, — сказал грузный мужчина, сидящий в кресле по правую сторону от меня. — Однажды к великому магу и мудрецу пришел человек и сказал: «Сердце мое уязвлено, я обижен и оскорблен, но обидчик мой человек сильный и властный, а я слаб и беден, что же мне делать?»

— Смирись, — сказал мудрец, — уйми свое сердце и направь гнев свой на то, что докучает тебе, но что в твоей власти.

— Отказаться от мщения мне не позволяют мои честь и гордость, — ответил пришелец.

— Тогда убей обидчика и сам умри!

Долго размышлял приходивший над словами мудреца, наконец спросил:

— А есть у тебя еще совет для меня?

— Есть, — сказал мудрец, — но примешь ли ты его?

— Скажи мне, а я поразмыслю.

— Я разбужу у обидчика твоего совесть, — сказал мудрец и добавил: — Но и у тебя она проснётся.

— Какое же тут мщение? — удивился проситель.

— Видно, что у тебя совесть спит, иначе бы ты знал.

— Неправда! Мне все говорят, что я человек совестливый, так что моей совести не нужно просыпаться, она у меня всегда на страже. К тому же я как православный ежегодно хожу на исповедь.

— Тогда зачем пришел ко мне и просишь совета? — спросил мудрец и ввел этим вопросом в сильное смущение приходившего.

— Я полагал, что...

— Ты полагал, что просить Господа о мщении неприлично и противно твоей вере? — Мудрец смотрел в его глаза так, что уклониться от ответа было нельзя.

— Так, — согласился пришелец, но еще раз с завидным упорством повторил ранее сказанное им: «Совесть моя чиста».

— Вот и хорошо, коли ты так считаешь. Твой обидчик обретет совесть, а ты ничего не потеряешь, но и не приобретешь от моего колдовства.

— Я не вижу тут мщения, — раздраженно сказал проситель, — совестливые, равно как и бессовестные, преспокойно доживают до преклонных лет, а я хочу мучений своему обидчику.

— Вы оба получите по делам вашей жизни, но оценщиком будет пробужденная в вас совесть, — ответил мудрец. — Ты уверен, что совесть в тебе бодрствует? Тогда дерзай!

— И все же я не понимаю, где же здесь лезвие мести, где её клинок и где жало? — воскликнул проситель.

— Поймешь, если согласишься на сделку. — Рассказчик сделал длинную паузу.

— Ну и что же произошло? — спросил из тьмы зала хриплым голос обладателя хромовых сапог.

— Ничего необычного. Обидчик повесился на следующий день после заключения сделки, а проситель — на второй. Вот и всё.

— Глупая история, — прохрипел все тот же голос из глубины зала. — Очень глупая, совершенно далекая от жизни.

— Может быть, — согласился рассказчик, — однако же вешаются, и, заметьте, преизрядное число людей, особенно в нынешнее время.

— Не вешаются, а вешают, — сказал человек из темноты и стал подниматься по винтовой лестнице в свой номер. Я так и не разглядел его лица.

— Каков, а? — спросил человек в шюртуке, делая глоток из бокала. — Социалист, наверное. А история и на самом деле притянута за уши. Если уж стыд не дым, то что сказать о совести? — Он допил вино и тоже поднялся по лестнице вслед за хромовыми сапогами.

В зале перед камином остались двое: я и рассказчик. Он спросил меня: «Вы тоже так считаете?» — Я промолчал. — Неудачное время и неудачная тема для притчи, — закончил он свою мысль, не дождавшись от меня ответа. Он поднялся из кресла тяжело, словно старый пенёк выдирали из земли свои корни.

ни. – Спокойной вам ночи. – Кивнул седой головой с копной заиндевших от времени курчавых волос и ушёл.

Свечи в канделябрах догорали. Угли в камине из белых превращались в карминовые. Дремавший на диване малый в лакейской униформе зевнул и поднялся. Он неодобрительно посмотрел на меня и стал решительно тушить свечи, бормоча: – Доколе же можно сидеть-то при свечах...

Я в полутьме поднялся в свой номер.

Проснулся от сильного шума в коридоре. Забарабанили в дверь. Стучали сильно и нагло, как обычно стучат власть имеющие.

Я открыл. В дверях стоял жандарм и человек в гражданской одежде. Этот, в гражданской одежде, бочком, не вошел, а буквально втек в номер.

– Тэс... Если не ошибаюсь, то помещанин Титьков Петр Лаврентьевич?

– Не ошибаетесь, а в чем дело?

– Дело, любезный, в том, что в одном из номеров сего заведения горничная обнаружила болтающееся в петле тело. Вот и всё дело, – хмыкнул он.

Я видел, ему было весело, как же – событие! Каторгой пахнет, а тут все – порядочные люди. Разве не весело порядочного человека – да на каторгу?! Еще как весело, господа мои! Вместо лайковых перчаток – да кандалы! Уж такое веселье, такой смех, господа, что нет моих слов передать вам это чувство!

Вот ведь читал же о Сатурне, поедающем своих детей, а думал – сказка! Нет, господа мои, не сказка вовсе, а всеобщее правило. Потому-то и весело. Потому-то я с полуслова понял этого гражданского человечка и оценил его остроумие. Ведь удавился... тот, кто рассказывал байку про совесть снедающую. О себе говорил, наверное.

– Мистика какая-то... – Не удержался я и сказал вслух, громко. Отшатнулся от пыточного стола и пересел в кресло. Закурил. Только что перечитал фрагмент из своей многострадальной новеллы, реплика относилась к этому фрагменту. Его не было прежде и возник он, как чёртик из табакерки, и эта «табакерка» мне хорошо известна, она – моя память. Мистика...

– Ну что вы! Мистическое не то, как мир есть, но то, что он есть. – Окликнул меня чей-то голос, и я стал различать силуэт человека, сидящего за моим рабочим столом. Самое поразительное, что я не удивился и преспокойно продолжил свою мысль, уже обращаясь к нему: «Вчера я полчаса искал зажигалку, а она лежала перед моими глазами. Я не ви-

дел – очевидное. Я написал о том, чему не был свидетелем и написал так, словно им был.

– Очи не видят – видит мозг... Но и это еще не факт. Не факт, что вы не свидетель. Мы все свидетели, если, конечно, будет следствие.

– Значит, у меня что-то с головой?!

– У всех «что-то» с головой. Исключительно у всех. Так что не переживайте. Это преходящее помутнение разума. Скажу больше: всякое мировоззрение – это, прежде всего, известная форма религии. Религиозность помутняет разум. Непременное, кстати, условие для любой веры.

– Но я – атеист.

– Следовательно, верующий! – Он засмеялся и исчез, как исчезают все мои посетители, едва я начинаю узнавать их.

– Кто я?

– Ты всего лишь птица, пролетающая сквозь комнату! И всё!.. И это ты и есть на самом деле. Мы все заперты в одной душной комнате и время от времени пролетаем сквозь неё. Все – от Гельгемеша, Рамсеса, Платона, Канта, Ленина и миллионов безымянных сынов человеческих, пролетали сквозь эту комнату!

– Душно, господа, особенно когда душат.

– Я, мил человек, ради твоей копейки все сделаю так, что ты и не почувствуешь боли. Вроде как уснул. Рука у меня на убийство легкая, милосердная. Помню, как первую свою жертву задушил. Прильнула соколица к моим губам в страсти любовной, а я ей жилочку на шее и придавил... Да-с, легонько так и придавил. Только-то и делов. В любви и преставилась сердечная. И тебя уважу. Чего тебе мучиться в каторге? Каторга – это мужикам, а не таким жалостливым, как вы, сударь.

– Так уж и безболезненно?

– Бывало, приходилось и горлышко ломать, когда сопротивлялись. Страх смерти далеко впереди смерти бежит и визгом исходит. И дурак. Я имею в виду человека, потому как если смерть пришла, то чего брыкаться? Уважить её надо. С другой стороны, сударь ты мой, насильная смерть – облегчение душе. Чистая как есть предстанет пред Богом. Я, барин, все твои грехи на себя возьму, всё одно мне в аду гореть до Страшного Суда, а ты к Богу придёшь, аки ангел...

Что со мной? Память моя мечется во времени и пространстве, всё путает, всё перевирает, как шулер передергивает факты из моей биографии, совершает подлоги и чужое выдает за своё. Не читай-

те книг, господи, чтобы книжное не поглотило вас. Ничего не читайте и не смотрите, иначе к старости потеряете сами себя, как я потерял.

Высоко в небе, между соснами, плывет солнце, на клумбах набирают цвет мальвы и настурции, белая кипень черемухи и огромный куст еще не зацветшей сирени напротив нас. Всё, решительно всё – напротив нас, а позади бревенчатое строение терема и жесткая спинка садовой скамейки.

«Давай сделаем то, что пришло тебе в голову?» – сказала большеротая красавица, перекладывая голенастые ноги так, что на мгновение из-под короткой сиреневой юбчонки мелькнули белые трусики. Она смотрела на меня вопрошающе. Я вижу этот взгляд, вижу её глаза. Памятью своей вижу.

Какие большие, влажные и томные глаза! Истомленная девочка, как парное молоко в русской печи бывает истомлено. Но тогда... тогда мне было не до этих глаз. Потому что... о глазах я только что вспомнил, да и были ли они, эти глаза? Не выдумка ли это всё? Не игры ли моей памяти?

Кстати, что мне пришло в голову? У меня, это я точно помню, пришло вовсе не в голову. С другой стороны, то, что пришло «не в голову», занимало все мои мысли... Так что, может, она права?

Права, трава, дрова... Осы, пчелы, оводы, мухи, мошкара – рифмы. Они кружатся вокруг меня с детства. Я вижу мир сквозь это облако. Связь смыслов и звуков – древняя магия. «Прежде было слово»... Как оно звучало? Языком колокола? Колокольчиков? Иерихонской трубой? Всем сразу и розно? Как звучал голос той девочки?

Этого секрета память мне не выдает. Мыслится – заволаживающе и обжигающе, но так мыслится теперь. Но так ли было тогда?

И на самом деле, что там было в моей голове? Наверное, что-то было, потому что не бывает так, чтобы в голове чего-нибудь да не было. По крайней мере, было же какое-то представление о девочке из параллельного восьмого класса. Должно было быть, ведь иначе бы не пришел к ней на дачу.

Дача была за городом. Я шел с полчаса по сосняку в сопровождении рыжей белочки, которая то и дело, едва я останавливался, цвиркала на меня, требуя семечек. Избалованная особа. Девочка не ходила по сосновому бору, её привозил туда папа подышать воздухом. Привозил на безумно красивой черной машине «Волга».

В пятницу, когда мы вышли из школы, она сказала: «Приходи на мою дачу, я тебя жду». – Улыбну-

лась мне зовущей улыбкой. То, что улыбка была именно такая, зовущая, – это я сейчас вспомнил и так эту улыбку определил. А тогда?... Вот в том-то и дело! В том-то всё и дело, что я не уверен, что тогда что-нибудь понимал в улыбках, даже в улыбках своих одноклассниц! Вот так понимал, чтобы назвать улыбку – «зовущей». Девочки рано научаются звать... Но это я понял позже. Позже... потом, когда этот зов обжёг меня до керамического звона.

Это была её дача, как были её папа и мама, как я теперь понимаю. Очень значительный мужчина и очень красивая женщина и тоже чем-то истомленная, как её дочь.

Я видел, как проходила по школьному коридору мать девочки. Видел сегодняшним зрением, зрением старого, повидавшего много чего на своем веку человека. Роскошное крепдешиновое платье шуршало и струилось вокруг ног, а там, где сходились небольшие груди, сверкало золото медальона. Я тогда мечтал, что у меня жена будет непременно такая – томная и с золотым медальоном на груди.

Моей женой стала женщина по профессии «штукатур-маляр», и вид у неё всегда был не томный, а утомленный. Великая разница для тех, кто понимает в этом толк.

И я был её, потому что пошел, поплелся и не мог не пойти. У людей, которые имеют свои дачи и свои безумно красивые машины, есть какая-то особая власть над теми, кто этого не имеет.

Может, и не так. Может, оттого, что есть особая власть – они имеют и дачи, и машины, и люди идут на их зов, едва они помянут. Мотыльки, бабочки летят на огонь, отчего бы и мне не полететь? Все летят на огонь, решительно все – потому что огонь притягивает, гипнотизирует, манит, заволаживает. И Господу свеча – огонь, и лампада неугасимая – огонь. И эти глаза девочки из параллельного класса были для меня огнем манящим.

– Ну, ты же знаешь, что приходит в голову парням, когда рядом с ними сидит их любимая девушка? – сказала она, не сомневаясь в том, что любима, и в том, что я это знаю. В вопросе я почувствовал нотку разочарования, разумеется, это разочарование касалось моей персоны. Вот только не уверен в том, что почувствовал тогда, а не сейчас, когда памятью своей вижу: сад, цветущую черемуху, золотистые бревнышки терема, апельсиновый цвет садовой скамейки, перистые тени сосен на зеленых газонах дачи.

Значит, были чары и я мог очаровывать? А может, она засомневалась в собственных чарах, и это едва промелькнувшее сомнение я уловил в её словах?

Да нет же! Это я сейчас уловил, точнее – выло-

вил из своей памяти, а тогда... Тогда я был захвачен другим, думал о другом и этого не мог бы заметить.

Отчего я тогда не заметил, а сейчас, через толщу времени – этого замерзшего стекла, – увидел. И увиденное переживаю, словно и на самом деле сижу на маленькой скамеечке возле ее ног... Да нет же, не возле ног, а под ногами... Оказывается, из памяти можно выловить такое, о чем не подозреваешь. Живешь, живешь и вдруг – бац! выловится и пронзит тебя насквозь! Подумаешь тогда: как же я жил, не зная, не ведая того, что было в моей памяти? Выходит, можно жить, не ведая того, что в тебе есть и вот – выходит из тебя то, что выходит.

– Честно сказать, то в мою голову приходит глупость, – ответил ей прямо, поскольку всегда считал, что в моей голове только глупость поместится. Да и отец мой то и дело повторял, что в моей голове одни глупости. Отца я уважал. По крайней мере, должен бы уважать. Что-то во мне говорит, что уважал.

– Ну вот, давай мы с тобой сделаем самую распоследнюю глупость! – Она настаивала на том, чтобы я совершил глупость. Кажется, я ей сказал тогда так: «Неудобно как-то глупости делать, что я, перwokлашка, что ли?»

– Удобно, удобно! Я тебе помогу!

– Да не надо мне помогать, как-нибудь сам справлюсь. Только ты не обижайся, ладно? – Теперь – точно, вспомнил, какая глупость была в моей голове! И на самом деле то была самая что ни на есть распоследняя глупость, от которой никто не застрахован.

– Не буду, не буду обижаться! – она восторженно приняла мою глупость, ту, что в моей голове. Я порадовался этой искренней радости. Никогда не думал, что другой может так обрадоваться тому, что вот приспичило сходить по малой нужде. Вот ведь как я вспомнил себя тогдашнего! Именно так вот, и именно таким вот глупцом вспомнил! И не верю я своей памяти! Не верю! Именно потому не верю, что все вспоминается по-глупому.

– Ты только отвернись, – попросил её, направляясь к кусту сирени.

– Ладно, если ты так хочешь.

«Вот и пойми её, неужели как-то иначе нужно было мне захотеть?» – Вот такая была у меня мысль тогда. Очень я был удивлен. Очень.

Но так ли это? Память всё перепутала, всё переврала! Ну не мог же я не понимать, что она подражувала, когда спрашивала? Однако я четко и ясно помню, что всё было именно так, и удивление моё было самое подлинное.

Я поспурднил и застегнул ширинку, обернулся к ней и сказал: – Всё. Я сделал то, что мне пришло в

голову. Честно сказать, и то уже неумоготу было, – сказал я, направляясь от куста сирени к скамейке.

Она добросовестно не смотрела, но после моих слов повернулась ко мне. Я вижу этот поворот головы, эту тонкую шею и даже синюю пульсирующую жилку на ней. Вижу, как вспыхнули и тут же погасили её глаза.

– А я думала... – она обиженно поджала губы.

– Когда вот так подопрет, то только об этом и думаешь. А с тобой так не бывает? – спросил я, усаживаясь рядом на скамейку. Она вскочила: «Дурак ты и пошляк!» – и убежала в свой терем.

Вот как мне припомнилось, но в том-то всё дело, что припомнилось, но мало ли что припоминается? Я помню, как из угла избенки, что стояла на берегу речушки Базанчи, что в Каларах, вырвался луч света, как из киношного проектора. И я на русской печи, на белёной стене, видел самую настоящую войну.

Еще я помню, что видел: с востока, от горы Белухи, поднялся огненный вал, и от жара его стали коробиться и оплавляться горы. Камень тёк, словно воск свечи.

Я часто вспоминал места, где никогда не был и где быть не мог. Так что к своей памяти у меня великое подозрение. Больно много разнообразных глупостей в ней накопилось.

Скажем, я помню, как собственная армия бомбила наш собственный город, да не один или два, а десятки собственных городов и селений. А это невозможно, по здравому размышлению, как кино на русской печи. И еще я помню, как бежал по широкой площади красивого городка, утонувшего в яблонево-грушевом цвете, и от бедра стрелял из автомата по людям. А вот то, что в меня стреляли, я не помню. Наверное, запоминается только боль, своя и чужая. Или только своя?

Разумом понимаю, что этого не могло быть, тем более со мной, а поди ж ты, едва закрою глаза – вижу. Да что там – вижу! У меня «молотит» сердце, я задыхаюсь в беге, и дикая, испепеляющая ярость охватывает меня.

Невозможное дело и наш разговор на даче, потому что у людей так не бывает и не может быть, тем более когда им по тринадцать лет. Разве такое на самом деле могло быть?

«Так прыщавой курсистке длинноволосый урод говорил о мирах, половой истекая истомой», – пояснил мне тот, кто не боялся говорить вслух о том, что приходит в голову.

– Мальчик, я тебя знаю! Когда мне было столько лет, сколько тебе, учителя говорили, что ты пошляк и негодяй! Я помню, как меня выгнали из класса, когда я на уроке русского языка прочитал твои стихи.

– Так и есть, разве ты не понял, что и ты, и я живём в «стране негодяев»?

– Хочу понять, но не получается. Мать, отец, дед, мои родственники, друзья, хоть их немного, и все – негодяи?

– Но ведь только что ты сам признался, что ты – негодяй? Так ведь и представился?

– Не хо-чу!

– Куда ты, девонька, денешься, – захочется и разденешься! Сама, милочка, и сорвешь с себя одежды. Все мы когда-то не хотели, а если и хотели, то не так, как это бывает в жизни.

Тихое ворчливое старушечье бормотание за моим левым плечом. Я обернулся – ни-ко-го! Знакомый узор прокуренных до желтизны обоев...

А что было? Была когда-то женщина и измучивший нас диван. Но она читала мне стихи, свои стихи, адресованные другому мужчине. Впрочем, все мы, мужчины, одной масти, но тогда я так не считал.

– Конечно, обои, обой особый... Видишь, бордюр каймой золотой? Ты не особый! Нет, не особый, ты – мой! – Нежно на ушко, словно перышком пощекотала... Нежная птица, которую я выловил в ресторанном гаме и привел к себе.

– «И на диване слишком жестком для жалкой встречи двух живых...»

– Я знаю – это Антокольский, а ты прочти своё, – прошептала она.

Я запустил руки в её чудесные волосы и сжал их в горсти.

– Мне больно. – Простонала тихо, и я понял, что это та самая боль, которой ей не хватало.

Как ни странно, а женщине иногда не хватает боли, чтобы чувственное наслаждение было полным.

Если относиться с доверием ко всему, что помнишь, то ведь нужно признать и то, что города и поселки собственные бомбили и танками утюжили. Что тот разговор на даче был именно таким, и горы плавилась, и многое, многое другое. Как же тут относиться с доверием к памяти?

Или вот это. Разве я могу что-нибудь связанное написать, когда в школе по диктанту или сочинению не получал оценки выше двойки и окончил школу только из-за великой жалости со стороны учителей?

По крайней мере, об этом свидетельствует моя память, да и рассудок мой не имеет ничего против такого воспоминания. Но как это связать с тем, что всю свою жизнь пишу, и пишу одну бесконечную по-

ведь, где в стихах, где в прозе? Пишу, вытягивая из глубин собственной памяти, как фокусник вытягивает изо рта бесконечную пеструю ленту? Оттого, что не могу связать эти две такие очевидности, о которых свидетельствует память, я начинаю подзревать, что моя память совершенно не имеет никакого отношения к моей жизни. Совершенно! Я сам по себе со своей жизнью, а она – сама по себе.

– Дебил, а какой ладный, красивый... – Это обо мне. Я слышал разговор учительницы русского языка и «классной дамы», стоя с колотящимся сердцем у приоткрытой двери в учительскую. Я был дежурным по классу и нёс тетрадки с домашним заданием. В эту невзрачную рыжеватую особу, которую я называл сейчас по должности – «классной дамой», был влюблен. Дети могут влюбляться, и влюбленность их – самое чистое, самое безгрешное чувство. Потом, через много десятилетий, когда я читал толстенные тома Платона, хорошо понял, что такое идеальная «платоническая любовь». Во мне еще долго сохранялся этот резервуар, из которого я зачерпнул знание.

Многие думают, что знание приходит извне, кто-то преподавал и вот – знаю! Ничего подобного! Знания приходят изнутри! Из недоступных сознанию глубин! Они всплывают, как медузы на поверхность моря, предчувствуя шторм. Извне приходит только умение! Технология любви, но не сама любовь. Я всю жизнь искал любви, а находил только «технологии».

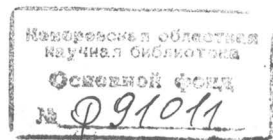
– Не дебил, а больной, возможно, с врожденной шизофренией. У него отец – фронтовик, – ответила «классная дама», и меня обварили эти слова. До сих пор чувствую их ожог!

«... и был в доме том плач по младенцу, как это случается у людей. И стоял Некто при дверях дома, закутанный с головы до щиколоток ног в домотканое полотно, а на ногах его засохла грязь улиц и площадей. Никто не знал, зачем он пришел в дом, где горе и кто он такой.

«Ты встань, а я лягу вместо тебя», – повторяла мать, склонившись над гробиком, орошая слезами восковое личико ребенка. И никто, никто не сказал ей слова утешения, поскольку не было и нет в человеческом языке подобных слов, чтобы ими утешить мать».

Вот так – смотри и пиши. Видишь? Вижу, о Господи! Вижу!!! Но нет мочи, нет моих сил писать об этом! Да и что я скажу? Ты уже сказал: «Лучше бы тебе не родиться!»

Кто тот младенец, Господи? О да! Это я. Я!!! И ты вдохнул жизнь в этого младенца, не взяв взамен жизни его матери!



— Он у вас родился мертвым, — сказала женщина в военной форме, выкидывая папиросу в форточку. Сказала про меня и сказала моей матери.

— Я не верю!! — крикнула мать. — Не может быть, чтобы у меня второй ребенок родился мертвым!

— Может. Была война. Это все последствия войны, дорогуша.

— Не верю!

Плечи доктора дёрнулись, словно к электрическим проводам прикоснулись. Она резко повернулась и крикнула: — Галя, принеси ребенка!

Они принесли меня и положили рядом с матерью. И произошло чудо: я вдохнул в себя воздух и заревел.

— Господи! — сказала врач, которая не верила ни в Бога, ни в чёрта. — Да как же я... Как же мы... Как же это...

Отчего же у памяти такая власть надо мной, а то, что власть — несомненно! Отчего она повелевает и помыкает мной, как хочет? Я не знаю ответа, а кто знает? Да и разве я приму ответ? Смирюсь с ним, если он вступит в противоречие с моей памятью, или того хуже — с моим же здравым рассудком, когда он просыпается во мне?

Рассудок? О, он обхохочет, высмеет любой ответ, да в придачу придавит такой убийственной логикой, такими неопровержимыми фактами подопрет, что от ответа и духу не останется. Так что мне ничего не остается, кроме как писать и писать, как шелковичному червю выпускать из себя тонкую нить, чтобы замотать себя в кокон. И в нём пропасть?

А то, что пропасть — несомненно! Потому что бабочка, вылетевшая из кокона, ничего не ведает о жизни шелковичного червя, о горечи и сладости листьев, съеденных им. О том, как он замирал в страхе, когда над ним склонялась хищная птица. Ни о чём не знает! Ни о чём! А уж тем более о смысле и значении шелковой нити, в которой запутался и погиб червь. Этого он и сам не знает.

Шелковая нить становится ценностью для других и только тогда, когда в ней умирают и червь, и будущая бабочка, ошпаренные кипятком смерти. Так что мне так и так — пропасть.

Как вам нравится здраворассудочность, говорящая мне об этом? Попробуйте найти в ней брешь и упрекнуть меня в том, что она у меня не просыпается? Я гоню её от себя, иначе ведь сойдешь с ума от её въедливости. Въедливости, изедающей всю мою жизнь! Нет уж, лучше я отдамся своеволию памяти и побреду с ней по дорогам припомнившейся мне

прошлой жизни. Всё равно ведь пропасть! Пропасть, как в пропасть броситься.

Я бросаюсь в пропасть моей памяти, я падаю, и она кружит, кружит, переворачивает всё. Я нахожусь и внутри, и снаружи причудливого калейдоскопа. И острые грани цветных стеклышек, этих фактов и фактиков, впиваются в моё сердце, вызывают в нём гнев, стыд, боль.

Помню раскалённую от жары городскую площадь и дворовые окрестности площади у бетонной трибуны, что стояла напротив помпезного здания драмтеатра. Помню резкий аммиачный запах мочи из подворотен, доносящийся до трибуны с бетонным вождём. Запах этот вздымается к жаркому знойному небу над ним, над теми, кто на трибуне, и над теми, кто на площади. Вождь, как обычно, простирал руку к горизонту.

18

У тех, кто стоял на трибуне, горизонт был иной, чем у тех, кто сидел и лежал на горячем асфальте. С трибуны виделся театр, а с площади — террикон и копры шахты. На моем горизонте был театр.

Когда сидишь на асфальте площади вместе с тысячами других, то всё видишь отчетливо и ясно: спины, резиновые сапоги, каски, пропитанные угольной пылью штаны спецодежды и глаза сидящего вблизи с черными кругами въевшейся угольной пыли вокруг век.

Таков горизонт для тех, кто сидит на земле. Намеренно чумазые мужики в грязных шахтерских робах, злые, как черти, выскочившие из преисподней. И себя вижу на трибуне, яростно говорящего.

Это Дух романтики выли и стонал во мне, требовал справедливости. Справедливости жаждали сидящие на асфальте чумазые мужики. Я был голосом этого разбуженного к жизни Духа. Я силился заглянуть за горизонт событий. И оттуда, из-за горизонта, пришел Дух и восхитил мою душу. Восхищение всегда приходит из-за горизонта, потому как нельзя восхититься резиновыми сапогами и запахом пота, смешанного с мочой.

Не потому ли, что я стоял под вождём, на трибуне, через несколько лет написал статью «Жизнь как театр»? Я говорил в ней, что мы все играем роли и потому не знаем себя подлинных. Я говорил о себе, удивляясь причудам своей памяти, неотличимости в ней того, что было на самом деле, и того, что запомнилось. Запоминаются роли, а что же было? Что же было, если на каждую минуту, на каждый час жизни нет документа?

Итак, с трибуны, с любой трибуны горизонт видится дальше, и оттого всё, что виделось на дале-

ком горизонте, дрожало и плавилось. Прошлое дрожит и плавится в моей памяти, толкующей мне о прошлом. Как хорошо, что написанное «свежей памятью» о тех днях – не издано, ведь там много такого, от чего берёт тошнота. Тошнота времени.

Ах! Если бы молодость знала. Если бы старость – могла!

Есть тайный смысл в том, что мы уходим в смерть переполненными знаниями о жизни, о том, как надо!

Невозможное дело жить и знать что-либо подлинное о жизни, этак ведь и шагу не ступишь, а превратишься, наподобие жены Лота, в соляной столб. Все, кого осеняет доподлинное знание жизни, каменеют.

А это было в Москве, в гостинице «Спутник», в тот год раскаленной от жары площади. Передо мной сидел Поэт с ясными детскими глазами, с окладистой бородой старца. В другой жизни, в другом слое моей памяти этого человека я называл крестным отцом моей первой поэтической книжки. Да, да! У меня была поэтическая книжка, набранная типографским способом, и я получил за неё огромные деньги – полтысячи рублей! Её продавали в магазинах и она лежала на библиотечных полках! Я купил ящик водки, поставил его под кровать в комнате общежития....

Я был один и всегда один, даже когда вокруг меня толклись люди. Но тогда, целую неделю, пока не кончилась водка, я был не один, я был с самим собой. Тогда мне это и открылось... Но об этом потом, потом, а сейчас: «Послушай, что я скажу тебе». И Поэт коснулся пальцами моего колена.

Я тогда подумал: «Что ты можешь мне сказать такого, чего бы не знала моя душа»? Но не сказал. Всматриваюсь в себя, стараюсь понять, отчего промолчал, и не могу ничего усмотреть. Клубами исходит тьма с проблесками фиолетовых искр. И стыдно, обжигающе стыдно! И неуловимо – отчего, по какой такой причине стыдно!

«Послушай, когда небесный огонь низводят на землю, он становится обыкновенным, человеческим огнём, тем, что горит в домашних очагах, в кострах. Огнём, что испепеляет дома и селения. За это Зевс приковал Прометея к кавказской скале. – Он тревожно оглянулся вокруг и продолжал все тем же тихим, но звенящим от напряжения голосом. – Поэты низводят идеи и образы с небес и дают их людям. Люди применяют их практически. За это Бог наказывает поэтов тяжёлой судьбой, чтобы уравновесить меру греха и меру страданий. Послушай, не своё скажу, а то, что слышал от умного человека,

редко открывавшего свои уста. О тебе я скажу. Ты пришел в эту революцию как поэт. Силой своего поэтического духа ты воззвал к Романтике, и она сошла с небес на землю. Многие годы и десятилетия те, кого поцеловала она любя, будут помнить божественное состояние подлинной свободы. Это отблеск, подобие той свободы, что обретает душа там, где «земляничные поляны» Господа». – Он замолчал и с тоской поглядел в окно, за которым виделся широкий столичный проспект.

– Скоро, очень скоро на этом проспекте сыновья будут избивать отцов, и орденские планки, медали смешаются с кровью. Это случится в праздничный день, в День Победы. Потом на упреки отцов они цинично заявят: «Кабы вы не победили немцев, мы давно бы пили баварское пиво».

У детей и внуков «отцов-победоносцев» неизбывная тяга к баварскому пиву и презрение к делам отцов. Но об этом, будущем, мы еще ничего не знали и не догадывались.

19

Во мне еще не заговорили предупреждающие голоса, что «радикальное отрицание культуры отцов, даже если оно полностью оправданно, может стать смертельным следствием принесения нигилистов в жертву самых бессовестных шарлатанов».

Я стал первым в ряду этих жертв. Первым, но не последним, далеко не последним!

Это потом воскресшие или «оттаявшие голоса», как звуки из рожка барона Мюнхгаузена, вопьются в меня тысячами отравленных стрел. И начнётся долгое выздоровление от их яда. Меня принесли в жертву, я был жертвой и выжил на жертвенном камне! «Страна негодяев». Это о стране моих предков, о земле моего деда, отца, это обо мне!.. Господи, как трудно отделить то, что знал, от того, что не знал, когда проживёшь много лет.

«У тебя аберрация памяти», – сказал мне знакомый врач, когда я ему пожаловался на причуды своей памяти. Сказать можно всё что угодно, другой раз и правильно сказать, но как с этим «отклонением» жить?

Память возвращает меня в жаркий август, в московский номер гостиницы «Спутник», где в казенном, продавленном тысячами задов кресле, сидит Поэт.

– Так вот, – Поэт глубоко вздохнул, – сказано было следующее: «Романтика, будучи бестелесной идеей, невинна и чиста, но люди одержимые её духом, спускают эту даму с высот идеального. Спустившись с небес на грешную землю, она становится любимой, но всё же женщиной, до тех пор, покуда дело романтиков не начнёт побеждать. Тогда эта дама переходит из рук восторженных романтиков в руки практиков жизни. И тут она становится обыч-

новенной бабой: взбалмошной, вздорной, расчетливой и жадной до любой яркой безделицы. Далее, как только практики завершили строительство дела романтиков, она переходит в руки негодяев и становится обыкновенной шлюхой, готовой раскинуть ноги перед любым и каждым, на любом перекрестке истории, перед любой властью, даже не требуя себе платы, а сама доплачивает за доставленное удовольствие. Таков путь любой идеи, доведенной до своего логического конца, потому что нет ничего такого в мире идей, чего бы человеческая деятельность не испоганила до неузнаваемости.

Неужели и это было? Неужели я это все слушал и ничего, ничегошеньки не услышал! Не понял? Не хотел? Или боялся понять? А если это было, то так ли оно было, как вспомнилось? Или всё было совершенно иначе, или вообще ничего такого не было? Может, я и не жил вовсе, не старился, а одна только память во мне говорит, что жил и старился?

Врёт, поди! Вот и соврала, что сидел передо мной мудрый человек и говорил мне мудрые вещи. Если это было, то отчего же я остался таким, как был, не мудрым, а только деятельным? А самое главное, самое загадочное для меня: откуда я услышал его голос, так явственно, так обстоятельно прозвучавший во мне только что? Всё перепуталось во мне, скрутилось в тугую жгут – и прожитое, и прочитанное. Жгут... Книги вот тоже жгут, а говорят, рукописи не горят. Книги горят плохо, очень плохо, даже в топке кочегарки, но горят же. Жгут стягивает мне горло... Жгут моей памяти. Жгут мою память...

Я никогда не носил пионерский галстук. Любой галстук стягивает мое горло, и я задыхаюсь в его петле. Я не состоял в комсомоле и, тем более, не был коммунистом. Отчего же выступают на глазах слёзы, когда я ставлю на старый проигрыватель пластинку с «Балладой о красном знамени?» Этот распятый двуглавый петух... Этот триколор... Эти трубы и ветры нового времени. Времени окончательного приговора всему, что являлось непререкаемой ценностью «в веках, бывших прежде нас». Этот праздник независимости от совести...

Мир человеческий зримо сходится, стягивается в точку, и из этой точки выглядывает огромное чёрное око тьмы. «И отделил Бог свет от тьмы»... Отделил, мы же возвращаемся к изначальному хаосу, в котором скрыты миллиарды возможных сценариев. Бесконечное разнообразие возможностей. Но нет и пяди тверди, на которой бы смог укрепиться человек.

Вокруг меня люди в ошейниках, в разнообраз-

ных ошейниках. Они гордятся ими и умирают от удущения, не ведая о том, что удушило их. Всё дело в том, что концы всех на свете галстуков держит невидимая сила. И неважно, какое имя она носит, а важно, что она стягивает концы и начала. У неё много имен и одно из них самое распространенное и самое на вид безобидное. И даже весьма положительное – прогресс. Есть и попроще – мода.

«Мода, господа мои, как и реклама, – двигатель, мотор торговли. Кто не способен уловить тенденцию моды и, простите меня за грубость, навязать её потребителю, тот обречён».

Это из просветительской передачи, канал «Культура», кажется. Культура торговли, а там следом – культура секса и культура утирания соплей.

– Уи! Уи! – воеет под окном машина, откликаясь на манок хозяина, словно вышколенный охотничий пёс.

Вот опять вспомнилось, как в детстве, если это детство было, дворовый пёс Анчар, спасая моего отца от медведя, был задран. Хоронили его почти по-человечески, отец даже миниатюрный гроб сделал, и все мы горько и безутешно плакали.

– Уи! Уи! – И резко, словно кого облаивает: – Ай! Ай! – Холит хозяин стального конягу, оглаживает со всех сторон. Щеточкой, фланелевой тряпочкой, шампунем специальным...

И вот опять проклятая память! Длинная процессия за гробом, цветы на асфальт. Три гроба. В первом, большом, хозяин машины, поменьше – жена и самый маленький – сынишка, трехлетний. И машину увидел, лежащую с переломанным хребтом в кювете, и бурые, толстые ошметки крови на сиденьях, на искорёженном полу... Мертвая кровь. Кровь мертвецов. Анчар спас моего отца, а эта убила всю семью.

Так вот, не было этого! Не было! Не хочу, чтобы было! Это всё дурацкие игры моей памяти! Это она привидела мне, как злобно и хищно смотрела своими раскосыми фарами та машина, когда её обихаживал хозяин. Будто мне кто-то шепнул тогда. А может, это она прошипела, словно вспугнутая с теплого камня змеюка: «Я пришла в мир, чтобы взять жертву господину своему. И всякий, кому я служу, да не минует жертвенной крови своей».

Хочу, не хочу. Куда же уйти от своей памяти, чтобы избежать того, чего не хочешь? Я выпиваю стакан водки, за ним второй, скорее, скорее, чтобы провалиться в беспмятство и там остаться с самим собой.

«Ты встань, а я лягу вместо тебя, – говорит мать над гробиком своего ребенка. – Ты встань, отзовись, раскрой свои васильковые глазки! Встань, отзовись»... – закликает мать, но как ни сильна материнская любовь, не пересилить ей властные узы Смерти.

Откуда и зачем пришла эта фраза, ведь только что говорил с председателем горсовета Татьяной Тарасовой о последствиях приватизации «Водоканала». Я был захвачен только этим и намеревался звонить знакомому журналисту Анатолию Ярмолюку об этом же! Так зачем влезла, влетела, впиалась в меня эта фраза и облила кровью мое сердце? Зачем? Откуда?

О, это всё память! Это она точит и точит меня, как вода каменное ложе, но разве я камень? А мне говорят о сюжете и прочей чепухе!

Вот придёт такая фраза и потянет за собой другую из «темных глубин» моей памяти, как бывшее когда-то... А может, и впрямь бывшее?

«Вы просили, и сделано по просьбе сей!» Так сказано было, но кто услышал? Разве могла это услышать моя память, и где были мои уши в тот час? А вот вижу и слышу, как в яви!

А тот, кто был при пороге? Тот что? Тот ушел, ступая по грязи улиц босыми ногами. Кто слышал, что он бормотал себе в бороду? Ты слышал, Господи, потому что это был Ты.

Я – безумец, городской юрод, стучащийся в запертые двери. «Ах, это тот, который?!» Да, это я! Я!

И безумие моё, безумие матери, склоненной над гробиком. «Ты встань, а я лягу вместо тебя». Не оттуда ли, пока я лежал мертвым? Не оттуда ли все мои сложности с памятью?

И вот говорю я граду сему, людям бессердечным, отягощенным стяжанием, прибавляющим к сухой корке хлеба, отнятой у нищего, еще корочку в надежде, что она взбухнет в целые буханки хлебов. Говорю людям с ожиревшим сердцем, высасывающим соки жизни из себе подобных: «Разве вас одних Господь поселил на Земле? Что же вы тесните братьев своих, так что им не остается места?»

Господи, избавь меня от пророчеств! Господи, замкни уста мои! Вот что делает память со мной, Господи! И как это пережить? Это слова молитвы моей. Господи, отними у меня разумение и дай мне взамен веру. Не могу я переносить свидетельств человеческого разумения, и воспаляется моя душа гневом на них.

Вода. Сакральное свойство «живой» и «мертвой» воды... Иоанн Креститель и купель Христова... Торговцы водой, не наклонившиеся к источнику, чтобы зачерпнуть кувшин воды, не вспотевшие в дороге от источника вод к торжищу...

«Пора, пора продать солнце! Эй! Кто приватизирует солнце? Мир на торги! Кто больше?!» И перед глазами кривляются, поют и пляшут рожи, сошедшие с полотен Иеронима Босха. Он провидел жрецов этого торжища!

Провидел! Кричу: «Опомнитесь! Нельзя торговать даром Господа!»

Кто слышит? Что-то тут не так. Треснула, словно огромное ледовое поле, моя память, и побежали молниевидные зигзаги по ней. И вовсе это не я кричу, а кричит беззвучно, одной душой, человек в пустыне, умирая от жажды. А над ним кто-то долдонит, словно в ступе сухой горох толчет: «Всё, что можно продать, – продай. Землю, воздух, себя, ребёнка. Не раздумывай, не гадай. Можешь, в небе продай жаворонка!»

Продажная, мертвая вода. Не потому ли из продажных вод тянет не только хлоркой общественных туалетов, но неисчислимыми болезнями?

«Тук-тук, толк-толк!» – Стучит кровь в моих висках и кружится голова. Полдень. На часах моей души вечер, смеркается. – «Завтра, сказал я себе, завтра»...

Но что будет завтра? Не то же, что и сегодня? А будет сказанное: «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остаётся места, как будто вы одни поселены на Земле».

Снова оттуда же, из той жалкой лачуги, что на краю огромного жирного города Ашаумена, потянуло сквозной болью... При дверях стоит босой и смотрит, как убивается мать над телом, которое девять месяцев вынашивала у себя под сердцем, а потом кормила своей грудью, сладко замирая от щемящей нежности прикосновения его уст. И вот уста восковые. Ушло, ушло её дитя туда, откуда пришло, потому что мерзок и страшен показался ему мир его родителей.

«Вы просили, и сделано по просьбе сей!» – сказал и вышел вон из того дома. Храмы стояли, и солнце золотило их купола, но Он прошёл мимо, даже не бросив взгляд на них. Когда-то Он изгнал торговцев из храма, а ныне повсеместно торговцы снова овладели храмами.

«И вот, – прошептали уста его, – кругом мерзость запустения и грязь развращения. Вонзают в себя ножи острые, вопиют от боли, скрежещут зубами, в ярости их сердце, а не знают концов и на-

чал. Замкну уста пророков земли этой, дабы испили они чашу до конца и тем очистились передо Мной. Будут кричать сердца людей Моих, но наложу на уста их печать свою, и не донесут они слово своё до ушей народа своего. Испепелит путь жизни, испепелит и разотрет в прах народ, избранный Мною, и только остаток небольшой сохранию».

– Ты встань, а я лягу вместо тебя, сын мой! – так кричит Север и Юг, Запад и Восток со времен Авраамовых по сей день, кричит сердцем матерей своих. И не было, не было им стоящего у порога дома! Не было!

Потому с Севера до Юга, с Восточных стран до Западных, в доме моем напротив, лежат маленькие гробики с телами детей, не пожелавших испробовать воздуха матери своей и отца своего. В чреве матерей своих узнали они вкус его и отвратились от него. Слышали они слова отцов своих и по ним узнали, что такое жить. Стошнило, вырвало их в смерть. Никто не встал из гроба, потому что нет в среде людей Елисея, чтобы распластаться над телом ребёнка и вдохнуть в него силу к жизни. И далёк от нас Христос, хотя всегда рядом.

Разве это всё может быть? Конечно же, нет! Только то и может быть, что хорошо, успокоительно для человеческой совести, что в ладу с мышлением. А всё, что беспокоит и раздражает, что не вяжется с законами мышления, то один сплошной бред памяти.

Разве может так быть, чтобы крошечных детей развращали, насиловали, чтобы они сбивались в стаи и жили, как хищные звери, по законам зверей?

Разве может так быть, чтобы матерям давали гроши на воспитание и прокорм ребенка, а в детских домах тратили на них тысячи? Разве не безумие овладело нами, что такое почитается за благо?

Вчера ходил в ближайший березняк. Лет этак пятнадцать тому назад я там собирал грибы. Нынче там можно собирать жестяные банки из-под пива и полимерный хлам. Слезы наворачивались на глаза, когда я видел порубленные берёзы и старые обгорелые пеньки. Кого жалеть: поруганную красоту или обезумевшего человека? Я распят этим вопросом.

Давай сделаем то, что у тебя в голове? Заезженная пластинка!

Скок! И опять всё сначала! А разве мы все не то только и делаем, что приходит в нашу голову? Можно ли сделать что-то такое, что не пришло в голову? Разве топор в руках не продолжение рук, а руки действуют сами по себе? Горит тайга, выгорает Сибирь и Дальний Восток, и весь этот огненный ли-

вень – рукотворный. Кому-то пришло в голову... Откуда пришло? Не оттуда ли, откуда приходит моя память?

Я бреду мимо израненных берёз, дотрагиваюсь до стволов и шёпотом прошу у них прощения. Душа моя исходит слезами.

«Действительно только то, что разумно», – прошептала мне «травя забвения», сонная трава меллисса, когда я наклонился к ней, и превратилась в маленькую женщину, ту самую, что писала стихи об этой траве.

«Очнись, милый! Погляди на жизнь проще, здраворассудочно».

Я не могу вспомнить стихов, хотя что-то говорит мне о том, что они были. Память не желает выдать мне тайну стихов меллисса. Чудится мне, блазнится, что они были о пчеле и мёде, и пахли лимоном.

– Ах, если бы я мог смотреть так! Если бы я мог, меллисса!

22

– Разве ты не так смотрел на меня? – Она удивлена, словно увидела меня впервые.

– Я не помню, как я смотрел на тебя. Не помню!

– Все мужчины смотрят так, милый. Все, и ты смотрел на меня так. Я помню твой взгляд, в нем было вожделение. Ты хотел меня, милый. Хотел.

– Мне стыдно перед тобой, – пробормотал я. Пробормотал потому, что она сказала правду, ту самую правду, которую я упрятал в потаённые глубины и думал, что до неё никто не докопается.

– Отчего же ты молчишь и почему отводишь глаза?

– Мне стыдно оттого, что я был не бесстыден как все.

– Ой ли! Ты стал другим. Что с твоей памятью, милый?

– У моей памяти бессонница, меллисса. Сонная бессонница, – сказал и протянул ладонь, чтобы коснуться её лица, этих черных волос, не тронутых еще молью старости.

– Возьми меня, – сказала она. – Ах, отчего ты не взял меня тогда, когда я была чиста и невинна!

– Мне было стыдно касаться твоей чистоты, меллисса.

– Ах, какая непоправимая глупость! Всё равно меня сорвали, и руки сорвавшего были, как руки людей, нечисты. Ах, почему не ты! Почему?! Почему ты не помог моей стыдливости преодолеть себя?

– Потому что я был влюблен в твою чистоту, медовая...

– А потом, потом, когда я была нечиста, и ты пришел ко мне, пахнувший потом и водкой, почему?

– Я хотел, меллисса, я хотел, честное слово, хотел. Но ты знаешь, что пришел тот, кто имел на тебя все права.

– Нет, нет! Ты боишься признаться, что тебе не доставало воли и грубости, той самой грубости и той самой воли, что жаждут в сердце своём все женщины, но бояться признаться в этом. И я боялась. Я ждала, я думала, что ты познал эту сокровенную тайну женщин.

– Оставим это, пчёлка. Ты жалишь сердце моё, и без того ужаленное тобой. Давай о другом. Ты сказала, мелисса, что действительность разумна, но это не так. Ты ошиблась: разумно то, что признано всеми, а то, что для тебя и для меня только, то неразумно и недействительно. Всё, что ты и я помним друг о друге, – только память, которая бредёт по своим дорогам, мелисса. Всё это не имеет к разуму и к действительности никакого отношения. Никакого!

– Ну, тогда... – И она исчезла. Исчезла отравленная женщина из моей памяти, только зеленый кустик травы остался да острое ощущение стыда неизвестно за что и почему? Или... Или известно?

Ну да, я боюсь подойти к огненному жерлу своей памяти, чтобы найти ответ, отчего же мне стыдно? В этом всё и дело! Я боюсь! Пока ещё боюсь. Господи! Как же я боюсь правды о себе! Но и это потом, потом! Если когда-нибудь придёт это «потом». «Трава забвения», но это точно не я, а Катаев!

Но мелисса была и есть, была и есть! Разумеется, в моей памяти и вот этот пучок травы, что сорвал я на склоне холма, загаженного бытовым мусором.

– Всё нечисто, мелисса, все нечисто... – бормотал я, спускаясь с этого холма, покинутого земляпашцами давным-давно, еще в прошлом веке...

Ах, как славно было бы вот здесь поставить дом, очистить загаженную землю и посадить вишнёвый сад...

– Посадить? Смешная, нелепая мысль! Разве тебе не известно, что вишнёвые сады уже давно не сажают, их вырубают! Кто же тебе позволит пойти поперёк истории с её прогрессом?

Он встал на моей дороге, едкий, самоуверенный, насмешливый. Я узнал его сразу, но как ни силился, не мог вспомнить имени.

– Как тебя зовут? Я позабыл имя.

Он захохотал. Как сытно смеются самоуверенные люди!

– Ну, что ты из себя корчишь писателя?! Брось, все брось и живи, как живут все. Пей пиво и швыряй банки на помойку. Земля большая, место для твоей помойки хватит. Что ты о себе возомнил?

– Я узнал тебя, ты – редактор. Ты сидишь во мне, я чувствую во рту вкус железа, вкус крови, вкус твоих удил!

– Больше, гораздо больше, я – хозяин. Хозяин этой жизни, а ты дурак набитый, потому что не понимаешь очевидных фактов. Научись писать, как все пишут, и писать о том, что от тебя требуют. Есть законы жанра... Законы жизни. И через них, то есть через меня, тебе не перешагнуть – штаны порвёшь! Нужно писать для масс. – Он заржал, словно жеребец, увидевший кобылу. – Ты непереносим в больших дозах. От тебя начинает тошнить и рвать. Кто же у тебя купит тошнотину?!

– Я пишу для немногих, глупец! Для тех, кто хочет открыть глаза.

– А ты умный? Что же ты, умный, ходишь в рваных штанах? С чего ты взял, что людям нужно открывать глаза? Напротив, даже тем, у кого они открыты, нужно их закрыть.

Он уставился на меня своими блеклыми глазами. Бесстыжими и наглыми. Отчего, почему я никогда не могу выдержать такого взгляда?

Он это почувствовал, гмыкнул и продолжал поучать меня:

– Ты должен точно знать, что из твоей писанины выйдет толк, что её опубликуют и ты получишь деньги, иначе не стоит писать!

И тут расхохотался я. Еще бы не повеселиться над такой глупостью! С рождения мы играем в великолепную захватывающую игру под названием «жизнь», а уверены только в одном: будет старость с её одряхлением и смерть! Вот и весь итог, весь наш приз в этой игре!

Всё это я и сказал ему, посмеявшись вдоволь и над ним, и над собой. Горький смех, как любой смех над правдой.

– Хренов ты учитель! Всё, исключительно всё – езда в незнаемое! Уверенность может быть в самом простом, элементарном! Но я не знал и не знаю тех мелочей, которые осложнят мои элементарные намерения. Когда я чинил жене утюг, из моих уже неуклюжих пальцев выскользнул крохотный болтик, и мне пришлось долго, гораздо дольше, чем я чинил утюг, искать его. Никто, даже приступая в элементарному делу, не может знать, сколь велико будет количество мелочей, осложняющих это дело! Никто не знает, не перевесит ли количество мелочей само дело! Неужто ты не знаешь, не слышал о том, как великие дела и великие люди претыкались в эту «сумму мелочей» и всё рушилось!? Не камни страшны для экскаватора, а каменная пыль, изъедающая его механизмы!

– А ты дурак... – Последнее слово он растянул,

размазал по своим губам. – Сила солому ломит. Власть мелочей от бессилия. Твоего бессилия...

И тут я сорвался. Я часто срываюсь, даже когда под ногами твердая опора. Это такая «мелочь», что сидит во мне и понуждает отказываться от борьбы!

– Пошел ты туда, откуда пришел! – Крикнул я и сделал шаг к нему. Я готов был смять его, перешагнуть через него смятого, но и он исчез. Как исчезла та черноволосая женщина, обернувшись обыкновенным пучком травы.

Никого нет, никого! Похоже, что я борюсь с фантазмами своей памяти, с самим собой! Все ускользают от меня, едва я протягиваю к ним руки, и немудрено, если я ловлю самого себя!

Вот только бы знать, где я есть! Только бы знать!

– Алексис, Алексис! – кричит женщина на незнакомом певучем языке. – Париж захватила чернь, а ты прохлаждаешься, обложившись книгами!

– Ноэль, дорогая моя, эта прохлада меня испепеляет, как испепеляет человеческое нетерпение. Не успеют посадить семя, как уже дерутся, деля урожай.

– Я знаю, Алексис, ты умеешь говорить умно, умеешь ли ты действовать с умом?

– Ты требуешь от меня невозможного, Ноэль, но я не закончил мысль. Франция больна половодьем, избытком прогрессивных идей. Нет худших врагов прогресса, чем те, кого бы я назвал профессиональными прогрессистами. Люди, которые думают, что миру ничего так не требуется, как радикальное проведение их программ. Франция переполнена ими, как Сена талой водой. Это потоп, Ноэль. Это потоп! Париж умоется своей кровью, Ноэль.

– Твоей, Алексис, твоей!

– А чем моя кровь хуже или лучше, чем кровь клошара?

Хлопнула форточка и пропали голоса, только что звучавшие вокруг меня. Я подошел к окну. На улице взметал пыль сорвавшийся с привязи ветер. Я закрыл форточку, уселся за стол и продолжил писать, нет – бредить своей памятью.

Стояла безветренная жара. Я сидел перед окнами операционного отделения. Завтра за этими окнами планируется разрезать мне почку и вытащить из неё камень. Не страшно потому, что известно. Известна боль и известно забытие перед болью. Я привык к постоянной боли. Ничего нового.

Потоп уже захлестывал улицы города, и сюда, в

это место скорби, доносились голоса потопа. Они пробились сквозь моё сознание, преобразовались в нём и выплеснулись в этом диалоге, которому уже более двухсот лет. Двести лет – не так уж и много для памяти. Для моей памяти, уходящей в тысячелетия.

И всё то же, что было в веках, бывших прежде нас: женщина с её практической сметкой и мужчина, заглядевшийся на звездное небо. Небо в алмазах? Нет – в шипах и терниях!

– Ты не думаешь о детях! Ты исключительно занят собой!

– Еще бы! Если бы ты знала, как много во мне всяких разных Я! Они ссорятся между собой, вступают в союзы, устраивают заговоры и говорят каждый по-своему! Если бы ты знала, сколько во мне живёт посторонних людей! Если бы ты знала...

– Не прикидывайся безумцем! Я тебе передач в тюрьму носить не буду!

24 – Успокойся. Меня убьют раньше. Я уверен в этом, родная моя!

Она заплакала, и у меня запершило в горле и предательски увлажнились глаза. Мне было жалко её, жальче всех остальных женщин. Еще бы! Она была матерью моих детей!

– Я не могу иначе. – Вот и всё, что я мог сказать в свое оправдание. – Не могу... – И сделал шаг в направлении площади, которую кое-кто назовет «Площадью несогласия», хотя подлинное её имя – «Площадь народного бунта».

Потому как рабам, сидящим на горячем асфальте, и рабам, стоящим на трибуне, не перескочить одним разом в желанное «царство свободы». До неё еще нужно вырасти! А пока – бунт, единственная понятная и доступная для рабов форма протеста. Я вошел в этот бунт, как горячий нож входит в кусок масла!

Не мог иначе. Чужое, инородное тело. Бунт пожевал, пожевал меня и выплюнул. Так было. Об этом написалось. Две книги и обе неизданные! Не судьба...

Память моя бредёт, опоённая предчувствиями, и видит невидимое, не бывшее для всех, но бывшее только для меня. И я вслед за ней впал в бред и не отличаю настоящее от того, что привиделось, поблазнилось, и я бреду по колено, по пояс, по горло в тягучей и жгучей моей действительности.

А это уже по-нашенски, уже по-русски. Рубаха навыпуск, и ремешок-опояска вокруг оплывшего, старческого живота, окладистая, надвое разделен-

ная борода. Сидит в плетёном кресле. Веранда. Вечер.

– Конечно, дорогой мой Петр Алексеевич, я знаю о том, что меня за глаза называют «балаганным дедом».

– Нет! Вы как были, так и остались «львом» в русской да и мировой словесности.

– Вы льстите мне, но я не осуждаю вас, я даже скажу, что мне, старику, это доставляет удовольствие. Щечокет, знаете ли... – Он огладил широким жестом бороду, крупный человек с большими ладонями мужика, и сказал: – Вчера я ездил в город и видел ужасную картину на пустыре: дети играли в повешение! Это после известных процессов в Москве и Петербурге, которые так красочно и так подробно расписали все наши либеральные газеты и журналы. Так вот, если дети играют в повешение, тогда страну ждёт тьма. И знаете, что я вам скажу, хотя и пророк из меня никудышный, да и не дело это пророчить. Да вот как увидел тех ребятешек, как они петли мастерили да помост сооружали, с той поры стоит в глазах картина пострашнее, чем у Пушкина в «Капитанской дочке». Эти дети вырастут и вздернут наших записных либералов на виселицах. И по пути, не соблазняй! Не развращай малолетних!

– Чай пить будешь? – Это жена заглянула в мою комнату и словно сдунула только что привидевшуюся мне картинку. Вернулся из кухни, где пил чай с сахаром, перечитал только что написанное. Как чужое перечитал. А пора бы уже привыкнуть к тому, что нет ничего моего в написанном, всё чужое, всё из памяти моей, которая неразумна и, следовательно, не имеющая к действительности никакого отношения.

«Нужно смотреть, в какие игры играют дети в детских садах и подворотнях, чтобы провидеть будущее», – записал в своем дневнике, заранее зная ответ и холодея от него.

– Я хочу умереть, – говорит десятилетний наркоман тележурналисту. – Я хочу к маме, которая умерла. Я устал жить.

Как бесстрастно, как отстранённо, как тщательно снимает оператор. Кадр. Фокус. Кристальная слезинка в уголке глаз, ничто не пропустил! Я бы не смог перенести этого. Не смог так снять! Я выключаю телевизор. Нужно море слёз, чтобы оплакать одну эту жизнь! Я выплакал всю свою душу, и то, что осталось, то горит во мне. Господи, дай мне еще слёз, чтобы потушить ими это пламя!

Откуда этот ребенок знает, что он уйдет к маме и никуда иначе? Кто ему это сказал?! Разуму ли его

было сказано или же было откровение душе его, когда отключенный наркотой мозг разбил его действительность на миллион мелких осколков, и они, как цветные стеклышки в гигантском калейдоскопе, замелькали перед глазами? Он был там, где пребываю я, внутри и снаружи калейдоскопа. И его изранили такие красивые, такие завлекательные стёклышки.

– Я хочу умереть, – говорит ребёнок в той невозможной действительности, которую хранит моя память. В другой действительности, которую показывают нам по всем каналам 24 часа в сутки, такое возможно, то есть возможно невозможное: чтобы дети хотели смерти. Нет, неточно сказал, неправильно, именно только такая действительность и отвечает разуму человека и другой быть не может!

Разве не нашим разумением построено так, что дети не хотят жить? Разве не разум советует ограбить, а потом награбленное пожертвовать на «благое дело»? Разве не разум вывел такую формулу, по которой грабёж вовсе не считается грабежом, а проходит по разряду предпринимательства?

Что из того, что так во всём мире? Что мне до мира, если ребёнок не хочет жить в нём?

– Худшие времена, господа, худшие из всех бывших до нас времен!

– Но не худшее из времен будущих.

Откуда это? Кто? Почему? Я перегорел, я уже зولا... Нет, я еще хочу казни, еще огня! Мне мало! Мало!

Подхожу к телевизору, включаю. И тут же, через пять минут, по тому же каналу происходит действие, такое же невозможное, как и желание ребёнка умереть. Скачет в железной клетке телеведущий в облике Мефистофеля и выкрикивает на разные лады и голоса: «Хочешь миллион? Хочешь миллион? Хочешь?» – Скакнул несколько раз – и вот уже реклама прокладок с крылышками и без. Уже «ночной горшок» на пьедестале почета. Как же иначе, коли «символ веры»!

Ах, как измельчали нынешние Мефистофели! Как всё измельчало! Это «мелкий бес» возомнил себя равным Повергнутому и как обезьяна принялся копировать того, кто некогда был в сотворчестве с Господом. Измельчали души и нет в них той глубины, чтобы вместить в себя нечто цельное. Всё больше четвертинками, крошечком, чтобы не перегружало...

А затем длинная, нудная дискуссия о рекламе. Лица тупые, а те, что не тупы, так и отливают сладострастной похотью. Эти еще хуже, чем тот, скачущий по прутьям в железной клетке. Эти на воле, на свободе... Эти Ничто, что всё ничтожит!

«Вы против рекламы? – Глаза закатились от удивления. – Но ведь тогда вы останетесь, страшно сказать, без этих душещипательных сериалов, которые так любят одинокие уставшие женщины!»

Какая потрясающая забота об одиноких женщинах! Какая липучая ложь! Но нет, нашелся один, угрюмый, процедил сквозь зубы: «Добро, господа мои, убыточно».

Этот сказал правду. В мире торга добро, которое по определению «бесцельно и безмерно», убыточно. Он прав, этот угрюмый и страшный человек, в котором чувствуется хоть какая-то полнота, а не стрекочущая пустопорожность.

Это действительность, которая хочет показаться разумной, а может быть, это наш разум, который хочет объявить себя действительностью и навязывает ее, атакуя нас по всему фронту, забрасывает в самую сердцевину души свои диверсионные бригады? Концентрированная кислота изливается с экранов, с газетных полос, изливается на наши обнаженные тела и души. Мы еще не успели обрасти густой шерстью, чтобы переносить такие бешеные концентрации разлагающей информации.

Кто-то сказал, кажется, этот маленький подвижный человек, которого все называют Президентом. Ну да! Президент торгово-промышленной компании по имени «Россия». Сказал: «Вопрос не стоит о нашем вступлении в экономическое мировое сообщество, поскольку мы уже там».

«Мы уже там». Чего ж трепыхаться, когда заглотали до самой требухи? Будешь дергаться, так всё через рот и вытасшат. А ведь если верить моей памяти, то это я орал, я требовал заглотать! Разве это могло быть по здравому размышлению? Разве разумные люди похожи на пескарей и плотву, заглатывающих наживу? Разве были такие, кто не разевал рот так, что виден был человек насквозь?

Кто не заглотал даже маленького кусочка? Еще как разевали! Казалось бы, все читали про глупца Буратино, зарывшего золотые на «Поле чудес» в надежде вырастить дерево, на котором вместо листьев золотые монеты. И что же? Да то, что валом валили и миллиарды зарывали, и очень удивлялись, даже негодовали: отчего не взошло?

Так что не я один исходил в истошном крике, но разве от этого легче? От этого только больнее. Эта боль отвратила меня от многих и принудила обращаться к избранным, кто чувствует, что глаза его закрыты, что он спит в яви. Только они поймут значение и смысл моих бредовых писаний, поймут и проснутся, чтобы мучиться открывшейся им действительностью. Я обрекаю людей на мучение, и это

прекрасно понимают подлинные «хозяева жизни», жизни, которую они устроили для себя.

Они обозвали себя гуманистами и суют в нос каждому своё Евангелие от разума – «Декларацию прав и свобод». Все гуманисты только тем и озабочены, чтобы люди никогда не просыпались, а видели бесконечный сон, потому что любое пробуждение мучительно-болезненно. Они охраняют людей от боли, но на самом деле боль мира никуда не исчезла. Она – реальность, в которой пребывают наши тела, погруженные в наркоз сна.

В этом сне мы не замечаем ни своей боли, ни тем более чужой. Так надежно усыпили нас, так плотно укутали в фантомные радости и наслаждения. И это не вчера началось, не вчера было сказано: «честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой». Гуманисты советуют нам не просыпаться, и каждого, кто будит, кричит над ухом спящего, призывают к тишине и порядку. Спите, если можете спать! Тела ваши источают болезни, и плодородие ваше иссякает! Вы пожиратели еще не рожденных детей!

26

– Ты что, против президента? – спрашивает меня требовательный голос с нотками металла в нем. – Как ты смеешь не уважать Главу города, Губернатора, Власть, Флаг, Гимн, Герб?

– Чтобы быть против, нужно что-то иметь «за», – машинально отвечаю ему, словно и на самом деле, в реальности, в действительности меня спрашивают, а самое главное, я должен и обязан отвечать.

Это голос из моей памяти, я узнаю его, этого серого человечка из мрачного дома по улице «Короткая, 4», что в Бийске. Я обмирал от страха, поднимаясь по бетонным ступеням на третий этаж, куда был срочно вызван с работы.

– Ты написал стихи, в которых задаешь провокационный вопрос: «Я хотел бы по-прежнему на слово верить, да не знаю я, слово то чье». – Он процитировал строчку из моего стихотворения, опубликованного в многотиражке. – Ты сомневаешься в партии? Ты не знаешь, кому верить? – вопросы вбивал, как гвозди, а я был ни жив ни мертв, одереветневшим от страха, потому что в нём, в этом страхе, сидела другая, более глубинная, память, и эта память визжала во мне.

Я помню каменную осыпь и чёрные точки людей на этой осыпи, а по периметру стоят люди с автоматами через плечо, в руках поводки, к кирзовым сапогам прижимаются здоровенные собаки.

– Малыш, хочешь конфетку?
Странный, дикий вопрос в устах такой взрослой и такой красивой тети.

– Хочу.

– Видишь того дяденьку с кайлом в руках? – она показала мне на черную точку на каменной осыпи.

– Вижу. – Я шмыгнул носом – даже в этот летний день его переполняли сопли. Отличал ли я этого дяденьку от других, точно вспомнить не могу, да и какая разница, ведь мне эта тетенька посулила конфетку! Настоящую!

– Ты маленький, – сказала она, суя мне в руку сверток, – тебя охранники не заметят. Ты осторожно между вон тех больших камней... – Она посмотрела на меня умоляюще. – Бог поможет тебе. – И когда я, прижав сверток к груди, уже двинулся к цели, она спросила: «Сколько тебе лет, малыш?»

– Много, целых четыре года. – Я показал ей ладонь с поджатым большим пальцем.

Это было захватывающее путешествие между взорванных скальных пород, всё вверх и вверх, до той поры, пока ухающий говор кайл и молотов не разорвала автоматная очередь. Мелкое крошево каменной пыли обожгло мои ноги, и я, не помня себя, с диким воем скатился с насыпи карьера. Бог не помог ни мне, ни этой женщине, ни тому зэку, что дробил камень для насыпи железной дороги Сталинск – Таштагол.

И опять я задаюсь все тем же вопросом: а было ли всё это на самом деле, или же страх мой перед серым человечком пробудил во мне чужую память. И всё связалось в один сплошной чёрных тонов ковёр, который я легкомысленно считаю своей прошлой жизнью?

– Давай сделаем глупость, – сказала мне девочка на даче и выгнула своё тело, как скрипичный мастер выгибает деку скрипки, загоняя в этот изгиб грядущую страстность инструмента. Интуитивно, чувственно или как-то иначе она ощущала, что тело её созрело для вечной игры тел.

Это я сейчас увидел в своей памяти, но значит ли это, что сейчас увиденное в свернутом виде было тогда? Это для меня мучительная загадка. Только что всё виделось мне иначе. Только что... Ведь я об этом уже написал и вот...

Ах, как сладко, как тревожно заныло, загорело возле пупка, как сбивчиво стало мое дыхание!словно новорождённый телок, я ткнулся в тугие девственные соски и полез руками туда, где нежно и бархатисто цвели черные завитки невинного пока

еще бутона. Пальцы коснулись горячих створок влажной раковины...

Так было или это тоже мне только припомнилось, домыслилось? И эти содрогания припомнились, и удивление в глазах той, теперь уже женщины.

Чему же она удивлялась? Чему?! Что за тайна скрывалась в её удивлении и постижима ли эта тайна? Знала ли она сама причину и повод удивления? Открылась ли ей тайна её тела, и в глазах отразилось удивление открывшейся ей тайны? Почему так мучает, так не отстает от меня эта загадка, эта тайна превращения девочки в женщину? А может быть, и тайны нет никакой, она выдумана моей памятью, как многое другое, во что трудно, невозможно поверить!?

Нет! Нет! Это всё память! Это всё её игры со мной! Я давно уже не человек, а комок боли и презрения к себе. Я боль, вот почему я не могу осилить ни орфографии, ни синтаксиса, ведь боль не говорит, а уж тем более не пишет. Боль болит! Точно! Тут средоточие всех ответов, моих ответов себе.

Значит я – боль, и во мне нет ничего, кроме памяти боли. Когда дед рассказал мне, как «вспыхнет разом земля и небо и наступит конец мира», то от этих слов была во мне резкая боль и она нарисовала, создала картину боли. Этим всё можно объяснить, кроме одного: как отделить реально бывшее от «памяти боли»?

Факты. О да! Это аргумент железобетонный! Такой не сдвинешь с места, даже если под ним придавленный человек. Однако же восприятие факта – оно во мне, и нет факта для меня, если я его не пережил, не осознал, не почувствовал.

Раздавленного, расстрелянного, сожжённого человека почувствовал и пережил. Горячие губы, опухшие от поцелуев, почувствовал и пережил – было! Память, ты оттуда, где нет времени, где вечность, ты образ вечности, данная нам в ощущениях. Нет, в переживаниях! Мы переживаем вечность, о которой знает наша душа, но которую начисто отвергает рассудок. Чтобы что-то знать, нужно познаваемое ограничить, вот почему нам дано только переживать вечность.

Переживание безмерно, и всё равно, о чем переживать в этой безмерности: о гибели динозавров, о крестных муках Христа или о казни Сократа, или о том, что здесь и сейчас. Всё дело в глубине. Да, всё дело в глубинах, откуда всплывают непрощенные мысли и потрясающие человека чувства. Вся пена жизни всплывает на поверхность явлений из глубины. Она – явленная взору глубина. Нет, не так! Она – образ и подобие глубины, той первозданной жути, от которой заходится в смертном страхе сердце.

Ирландия – страна Свифта, Джойса, Кеннеди... Вот ведь куда занесла меня память в этот раз по своей немислимой, неразумной прихоти! Я удивился этому, удивился, как должен бы удивиться разумный человек, вернувшийся в действительность и осознавший, что такого быть не может по соображениям здравого смысла.

Я подглядываю, подсматриваю за собой, словно шпион, засланный внутрь себя, точнее сказать: мой здравый рассудок подсматривает за моей же памятью, а память подглядывает за рассудком, и Некто сверху Я наблюдает за этой шпионской возней. Я раздвоен, расчленён...

О, не ко всему я могу в тебе приблизиться, память моя! Далеко не ко всему – сожжёшь! Как вынести твоё пламя и остаться вживе? Кружусь, кружусь возле твоего пламенеющего центра, и сердце замирает от страха.

Что же там, в центре? Отец? Мать? Брат? Сестра? Любимая? Жена? Или всё вместе, неразделенное и неотделенное, как некогда пребывал свет, неотделенный еще от тьмы? И что-то мне говорит о том, что все мы уходим в эту пламенеющую воронку, и огонь её очищает нас так, как он очищает золото от шлака.

Сколько же и чего останется от меня? Кружусь, кружусь, завораживает это пламя, притягивает к себе. Страшно! Страшно помирать! Камни, камни мои неподъёмные!

Дальше, или как принято писать в доносах, «нижеследующее», писать не стоило бы. Как сказал мой советчик, мой поверенный в делах моего творчества, «это из другой оперы».

– Да нет, – возразил я ему тогда, – всё из той же, ведь я пишу донос на самого себя и как мне обойтись без неизбежного «нижеследующего»?

«Донос? – удивился он, – но это слишком даже для твоей расхристанной, сумасшедшей памяти. – И поджал свои полные губы. Нет, он не обиделся на моё упрямство, он хотел мне добра. – Ты и сам понимаешь, этот сюжетик будет выпирать».

Я рассмеялся: «Вот именно, будет выпирать, как живот беременной! Я беременен им и если не разрожусь, то плод начнёт гнить во мне. К тому же есть ещё одно обстоятельство... Я не договорил, он перебил меня.

– Знаю, знаю! Опять ты о своей памяти! – И он иронически процитировал: «Которая бредёт по своим дорогам».

– О памяти ты верно заметил, только к чему ирония? – я попытался обосновать наличие этого сюжета тем, что... – Нет, я действительно знал героя этого сюжета, даже двух, но сдаётся мне, даже трёх, и все они «тычут» меня под ребра. Они живут во мне, а точнее – это я в них живу.

Мой приятель посмотрел на меня с удивлением, не разыгрываю ли его? Нет, я говорил то, что думал, без малейшего желания посмеяться над ним. Я пытался ему объяснить, отчего появилось это «нижеследующее», и у меня получалось неубедительно. Наверное, потому, что и сам не знал, каким образом, зачем вспомнилось явно не бывшее со мной. Не бывшее, но ставшее частью меня, моей судьбы.

Он уступил: «Как хочешь».

– Ты сказал неправильно, не как я хочу, а как хочет мой герой. А еще точнее, так хочет моя память. Разве ты не понял, что всё, что написано, извлечено из моей памяти?

28

– Но жизнь, реальность, твоя биография... – Он уступил, но еще оставался в плену здравого рассудка, этого цепного пса, охраняющего прозу жизни. Его понять можно, он – журналист и потому держится за факты, как слепой за руку поводья.

– Ты меня разочаровываешь, где ты видел правдивую биографию?

– В судебном деле, – и он захохотал, шутка показалась ему удачной.

– И там ложь, потому что нет большей лжи, чем объективная информация о человеке. Нужно довериться своей памяти, и тогда не факты будут владеть тобой, а ты ими.

– Ты противоречишь себе. – Ах, как он рад, что уличил меня в противоречиях! – Только что писал, что не доверяешь собственной памяти, и вот призываешь ей довериться!

Я ответил ему. Нет, не я, а кто-то ответил ему во мне, а я только произнес, прошлёпал своими губами: «И пусть нас не попрекают неясностью, ибо о ней-то мы радеем».

– Что ты сказал?

– Кто-то сказал, – выдохнул я, преодолевая власть проснувшегося во мне голоса. Власть прошедших эпох.

– Не понял! – Он опять поджал свои полные чувственные губы. Очень чувственный человек, которому жизнь не даёт реализовать свою чувственность. На этот раз он обиделся по-настоящему.

– Не обижайся, если мне не изменяет память, это сказал Блез Паскаль в письме своему возмущенному другу. Он, как и ты, требовал от Паскаля ясности. Логики и здравого рассудка. Требовал придерживаться фактов. Я не доверяю своей памяти,

это верно, но еще больше не доверяю фактам. Скажу больше, скажу откровеннее: я пишу изсебячину.

– Отсебятину, – машинально поправил меня. – «Изсебячина» – такого слова нет.

– Ничего нет, дорогой мой! Ничего нет, покуда не родишь, а рожают из себя.

Он ещё раз повторил своё «как хочешь» и ушёл, явно недовольный окончанием моей новеллы. А я продолжил её вопреки фактам моей биографии, потому что не о себе писал. Вот чего не понял мой советчик – не о себе, хотя и писал из себя!

Шелкопряд выпускает тончайшую нить и заворачивается в неё, чтобы умереть в ней. Творческий метод? Да нет – природа, форма и способ «существования белковых тел». По-другому нельзя, и не потому, что не будет шелка, а потому, что не будет шелкопряда.

Я, Колька Славин, сидел на мели. Шахту, где успел с год поработать, закрыли, жена ушла от меня больше года тому назад, а смотреть родителям в глаза уже не было мочи. Жить на их пенсию да на то, что даёт дачный участок, я также не мог. Стыдно и унижительно так жить. Оттого, что не было денег в это жаркое лето 999 года, мне нестерпимо хотелось выпить пивка. Я даже подумал, что существует некий закон подлости: больше всего хочется того, чего не можешь себе позволить.

Я шел по проспекту Советскому и иронически размышлял над тем, что вот уже сто лет в обед как советов нет, а проспект цветёт и пахнет, но только не цветами, а сожжённым углем. Районная котельная в такие безветренные дни накрывала весь этот район сизым дымом. От этого дыма болела голова и покалывало сердце. Но так говорят мои родители, у меня сердце пока еще не болело, да и вообще я плохо представляю себе, что значит болеть.

Как назло, ватажка парней, обнимая за талии девчат, вышла из пивбара и смеясь, толкая и пощипывая друг дружку, втискивалась в салон иномарки.

(Стоп, тут самая пора перейти с «я» на «он», посмотреть на себя со стороны. Постороннее зрение. Потустороннее? Как сказал Ницше, «по ту сторону добра и зла»? Да зачем же по ту сторону?! По эту, по эту сторону, кичащуюся разумом!)

Славин нащупал в кармане купюру в пятьдесят рублей, последние пятьдесят рублей, и зашел в бар. Полуподвальное помещение освещалось вертящимся шаром с зеркальными гранями, на которые направляли три луча, спрятанные за декоративные панели, софиты. Он прошел к стойке и заказал две кружки пива. Пока ждал, огляделся. В зале было не

много народа – был полдень. В дальнем углу ему показалась знакомой фигура человека, вернее, не сама фигура, а то, как человек поворачивает голову, особенно поворачивает, по-волчьи, всем корпусом. Это напомнило ему одного парня из ВДВ. С ним свела судьба в осажденной школе Грозного. Это характерное движение и запомнилось ему, но тот парень был совсем из другого города, за тысячи километров от его Прокопьевска. И надо же, в его родном городишке нашелся человек, так разительно похожий на Бачурина.

Славин взял кружки с пивом и пошел к столикам. Тот парень снова повернулся к нему. И тут Колька увидел, как сверкнула в его зубах золотая коронка.

– Колька? – негромко сказал парень, словно боясь ошибиться.

– Бачура? Генка?

– Он самый.

Когда они допивали вторую бутылку водки, Бачурин, как бы подводя итог рассказу Славина, сказал:

– Понятно, живёшь ты, маменька моя, словом сказать, хреново. Паскудно и нище живёшь, а между тем вокруг тебя люди живут и здравствуют, что несправедливо само по себе. То, что баба ушла, так это хорошо, на кой хрен жена, если сосед жёнат? Ты помнишь Серегу Мамонова?

– Водилу с подбитого танка, что ли?

– Его, его, «копчёного». Так вот, парится мужик за бабу, десятку, как с куста, дали. Прирезал. Вот так.

– Блядовала, что ли?

– А кто его знает. Тут ведь как: покуда сам её прёшь, можешь быть уверен, не изменяет, а так... Она ж её с собой носит и не в белье шкафу оставляет. Нет, я не женился, а нахрена? – Он повертел в руках пустой стакан и словно сам себе сказал: – Порченные мы той блядской войной. Как баранами генералы нами торговали. Сунули нас в самое настоящее дерьмо... А давай-ка, Колька, еще одну приговорим по случаю, а?

Но Славин перебил его вопросом:

– Ты-то как в нашу дыру попал?

– Да вот так и попал, сначала на самолете, потом автобусом. Дела.

– Ты мне так и не ответил, где работаешь?

– Эх ты, полосата тельняшка! А знаешь ли ты, что такие вопросы задавать неприлично, словно у девочки спрашивать: целка или нет?

– Да я так, – смущаясь, сказал Славин. – Не хочешь, не говори.

– Вот как... Ты и обидчивым стал за эти пять лет. Работаю я в фирме и здесь, естественно, по делам фирмы.

Он замолчал и о чём-то сосредоточенно думал.

Славин тоже замолчал. За два часа было сказано всё, что положено было сказать в таких случаях. Помянули погибших, что ещё? И от того, что сказать уже нечего было, а встать и разойтись просто так они не могли, поэтому сидели молча.

– Слушай, кореш, я так понимаю, ты сейчас на мели, а у меня есть пара сотен баксов, не то что бы лишних...

Славин перебил:

– Я же тебе их не отдам, а быть вечным должником не в моих правилах.

– Постой. Зачем отдавать? Отработаешь. Тебя в Чечне чему учили?

– Убить, чтобы выжить.

– А как тебе такая формула: «убить, чтобы заработать»?

– Киллером, что ли?

– А ты в Чечне, когда чернозадых мочил, как себя называл? Вот то-то. Помнишь ту деревушку в горах? Напомнить?

– Кто же забудет такое, на то и война.

– Брось ты лозунгами говорить. Какая война? Помнишь приказ: по нефтеперерабатывающим объектам в Грозном из тяжелых орудий не стрелять. Во-й-на. Деньги на нашей крови делали, так почему же на их крови не заработать?

– Так вот какая у тебя, Бачура, фирма.

– А ты в соплях запутался, так?

– Да нет, не в этом дело. Как отец у меня говорит: «Сколь веревочке не виться, а конец будет».

– Это точно, как и то что: сколь не живи, а всё равно на кладбище окажешься. Вот только у одного памятник из мрамора, а у другого крест деревянный. С деньгами и «париться» куда как хорошо. Сейчас везде коммерциализация, если есть деньги, то и в тюрьме отдельный номер и газета с кофе в постель. А если нет денег, то у параша весь срок просидишь. Я ведь зачем тебе сказал про «Копчёного»? Видел в лагере, своего парня проведывать приезжал. Наш при делах, а «Копчёный» лес валит. «Родина помнит, Родина знает». Ни хрена она ни-кого не помнила и помнить не обещала!

Для Бачурина сказать за один раз столько так же не просто, как федеральному депутату с часок помолчать. Потому неудобная, тягостная для обоих пауза затянулась.

И вот когда Генка Бачурин замолчал, мне привиделось низкое глинобитное строение с плоской крышей и загоном для скота. Развилка дороги, несколько деревьев, прижавшихся к строению, и над всем – выжженное от зноя небо.

За низким, грубо сколоченным столом сидела группа людей, небритых, нечесаных и неумытых, так как в этих местах не было принято следить за своим телом: уж больно скоро оно изнашивалось, высыхало под знойным солнцем, а воды хватало только на то, чтобы не умереть от жажды. Потому посреди стола стояла животворная влага в глиняном сосуде, а перед каждым из двенадцати, на деревянной тарелке, просяные лепешки.

– Шел человек из города Киш в Эриду, – тихо говорил человек с голубыми глазами, сидящий во главе стола. – В пути напали разбойники, избили и ограбили его. Шли мимо трое, и испугались двое первых, что и с ними разбойники сделают то же, бросили избитого, а третий остался и перевязал раненого, посадил на своего осла и отвез в город. Поместил в гостиницу и заплатил хозяину за уход, пообещав вернуться и забрать пострадавшего. Кто из троих поступил должным образом? – спросил сидящий во главе стола.

30

– Последний, – дружно ответили ему его спутники.

– Тогда и вы поступайте так же, – посоветовал им тот человек, преломляя лепешку.

Но сидел некто посторонний и слушал, и думал, что такие вопросы содержат слишком очевидные ответы, а жизнь не такова, и он сказал: «А теперь послушайте мою притчу. Шел человек из одного города в другой, в пути напали на него разбойники, избили и ограбили. По этой дороге прошли трое, и первый, увидев избитого и ограбленного, сказал себе: «Великого грешника я вижу, ибо сказал Господь Бог Мой: «Ни один волос не падёт с головы человека без воли моей». Кто я такой, чтобы спорить с Богом?»

И прошел мимо, повторяя про себя молитвы и распевая псалмы. Увидел избитого и ограбленного второй, и сердце его вскипело гневом, и выхватил он из ножен меч и сказал в сердце своём: «Не переступлю порога храма Господа Бога Своего, если не найду и не покараю злодеев!»

И слово его было делом, поскольку он настиг и убил разбойников, а ограбленное принёс к тому месту, где был ограбленный, но не нашел его. И раздал он отнятое у разбойников на пороге храма тем, кто просит подаяние во имя Господа.

Третий увидел ограбленного и сердце его исполнилось жалостью и состраданием. Он перевязал раненого, посадил на своего осла и отвёз в город. Поместил в гостиницу и заплатил хозяину за уход, пообещав вернуться и забрать пострадавшего. А теперь скажите и мне, кто из них поступил правильно, чтобы знать и мне, в какую сторону идти?»

Он обвел всех цепким, ощупывающим взглядом,

надеясь увидеть их глаза и прочитать по ним состав души их, но никто не ответил ему ни взглядом, ни словом, ни жестом.

– Что же вы молчите? – спросил он еще раз. – Это я трижды в своей жизни поступал таким образом.

Но и на этот раз никто ему ничего не сказал, так как человек тот был для них посторонним. Молча и тихо встали они, и вскоре пыльная дорога, вильнув за голодную скальную гряду, скрыла бродяг из вида.

– Никто не желает отвечать на мои вопросы, – пробормотал незнакомец, поправляя на кожаном поясе короткий меч и привычным движением ощупывая кожаный мешочек с золотыми монетами. Он был купец, а меч и золото – неотлучные спутники купца в мире людей.

Меч и золото! И снова память подсунила мне ещё одну картинку, связанную с этим, то есть с мечом и золотом.

Наша десантная часть стояла в пяти километрах от Гудермеса, не самое убойное место в то время, так как генералы договорились с местными, что не станут стрелять, по обыкновению этих мест, в спину.

– Эй, мужики! – У нашей палатки остановился КамАЗ. Кузов был основательно запечатан брезентом.

– Кого надо? Чего орешь? – Бачура высунул из палатки автомат, а потом и голову. Время было самое что ни на есть раннее, пятый час утра.

У КамАЗа стоял чечен и широко, приветливо улыбался. Форма на нём была нашенская, десантная, только в руках не было автомата.

– Я груз привез для гентемировцев.

Гентемировцев мы называли между собой «своими погаными». Это Бачура так окрестил их, потому что когда-то учился в литературном институте и кое-что знал, в отличие от нас, «темных», из истории «Государства Российского».

– А я тут при чём? – сказал Бачура, вставая в полный рост у нашего брезентового жилища.

– Проблема есть с ребятами из МВД, что стоят на блокпосту, – ответил чечен. – Новенькие какие-то, всего боятся...

К этому времени из других палаток стала подходить братва, в том числе и офицеры, так что нас от этого КамАЗа оттерли, да и на хрена он нам нужен был?

Бачура здесь, в Чечне, второй срок мотал и был самым что ни на есть опытным и знающим человеком. Потому, когда мы разогрели свой завтрак на двух кирпичках, поставленных на ребро, он подмигнул и вытащил из вещмешка бутылку чачи. По-дру-

гому сказать, местного самогона. На пять здоровенных гавриков по сто грамм – сущий пустяк, а на душе легче.

– Где ты берешь? – спросил я.

– В поле. Вон там. – Он махнул рукой в сторону города. – Ты думаешь, этого чечена наши так отпустят? Видел, как полковник засуетился? Деньги возьмет и с матами на эмвэдэшников... А за этот КамАЗ возьмет четыре, а то и все пять месячных окладов. Самая смачная коммерция делается на войне, друг мой! Отсюда, кто не в гробу, тот с большими чемоданами, набитыми золотишком, «капустой», вернется. А там, нахер погони и служба строевая!

Только тот полковник и в гробу не вернулся, разве что одна фурага, потому что рванул тот КамАЗ так, что нас в палатке враз на голову поставило. Выскочили мы, ошалевшие, а там, где был когда-то блокпост, только жёлтый дым к небесам...

– Бл-ля... – сказал Бачура, да не сказал, а простонал, словно ему зуб из челюсти по частям вытаскивали. – И на кой мы здесь, если эти чечены сами себя в бомбы превращают?

Это он сказал часа через три, когда мы все чуть-чуть отошли. Ведь тот КамАЗ стоял возле нашей палатки и за милую душу мог рвануть и тут. Нахрена было ехать до блокпоста? Не судьба.

Что-то рядом с Колькой Славиним стукнуло – это Генка Бачура припечатал пивную кружку к столу, и знакомый до боли голос произнес:

– Н-да! Я не мастак говорить, а вот если бы ты нашего «батяню» послушал, тот тебе бы мозги быстро на место вправил и что такое «законное» объяснил и что такое «беззаконное» тоже. – Бачура повернул только что принесенную кружку пива ручкой к себе и сдул пену.

– А? Что? – спросил я, то есть Колька Славин, возвращаясь в ту действительность, которая разумна, в пивбар, что стоит на улице Советской в заштатном шахтерском городке.

– Не мастак я говорить, но вот что я тебе скажу. Слов у меня таких нет, чтобы сказать так, как «батяня» умеет, – повторил он и спросил: – Ты что, глухой?

– Ты говори откровенно, в киллеры меня вербует? – Колька поглядел на Бачуру в упор и потянулся за кружкой с пивом. Пена в кружке давно осела. «Пена давно осела», – мысленно сказал Колька и залпом выпил, не догадываясь, не понимая, откуда и зачем влетела ему в голову эта фраза: «Пена давно осела».

– Не нравится мне это слово, – сказал Бачурин, – еврейской паршой от него пахнет, обыкновенная мужская работа. Ничем не лучше и не хуже, чем стре-

лять по приказу политического маразматика и, кстати сказать, куда менее опасна, чем та, что мы делали с тобой в Чечне. Да и оплачивается лучше. – Он хохотнул и добавил: – Социальное обеспечение и юридическая защита дай бог каждому!

– Пойми, ты же знаешь, я не бздемо, и убить человека для меня, что называется, без проблем, это первый раз трясло и рвало, – сказал Славин и сказал так, что всякому, кто услышал бы, стало ясно: этот не врёт. Этот и на самом деле может.

– Первый раз... Это я помню. Тот лейтенант, афганец...

– «Дятел», – перебил его Славин. – У него кликуха такая была. Он всегда, когда говорит, указательным пальцем по чему-нибудь долбит, по коробку ли спичек...

– Или по лбу солдата... – перебил его Бачурин. – Я всё помню, и его помню, и того пацана, которого ты с испугу пришел, вот только аул тот забыл, не то Хор, не то Кор. И как «дятел» блевотину твою со своих колен смывал, помню.

– Я аул не помню, а пацан всё еще стоит в глазах. Я ведь отчего с Нинкой-то не живу? Нинка, моя жена, то есть бывшая жена, – поправил себя Николай. – Я ж по ночам целый год... – Он наклонился к самому уху Бачурина и зашептал: – Как только он, тот пацан, мне приснится, прости меня, Господи, я превращался в мерина. Представляешь? Под боком молодая жена, а я её струей поливаю...

– Ты серьезно? – Генка даже откинулся на спинку плетёного стула, чтобы получше разглядеть нынешнего Кольку Славина. Ведь тот, кого он знал там, в Чечне, после той блевотины стал «заводным», словно его жгла неутолённая жажда крови. Страшным был Славин, увёртливым, хитрым и беспощадным в бою.

– Еще как. Вскикиваю во сне на кровати и начинаю, словом, «туши свет», – с легким смешком пояснил Славин.

– И что, до сих пор так? – удивленный такой неожиданный откровенностью, спросил Бачурин.

– В том-то и дело, что нет. Развелся с Нинкой – и как рукой сняло.

– Чудеса да и только, как у Кашпировского, – заметил Бачурин.

– А ты думал, что я крови испугался, что меня мораль заела? Да нахера она мне сдалась, мораль. Тут столько подонков развелось, что и убить кой-кого не грех, а всласть только будет. Пока мы с тобой там, в горах, Родине долг отдавали...

– Ты вот что! – перебил Бачурин, – ты Родину не трогай! Родина – это тебе не Кремль, не Москва драная, а уж тем более не правительство, не гене-

ралы грёбанные! Родина – это лес, поле, речка, облака над тобой...

Славин опешил от такого напора:

– Ну, ты меня, Бачура, осадил. На полном моем скаку, да на срачень!

– Ладно, замнём. Я понял, ты боишься, что снова начнётся, так?

– Так, – нехотя подтвердил Николай, уже пожалевший, что разоткровенничался со старым приятелем, и подумал, что всему виной пиво и водка и его неустроенность в жизни.

Бачурин сидел и о чём-то думал, поглядывая на ладную атлетическую фигуру Славина, затем, видимо, что-то решив, сказал:

– Ладно, о предложении моём подумай, а недержанье твоё... так есть спецы: заговорят так, что захочешь по-малому, да не сможешь, пока заветное слово не произнесешь. А деньги возьми, не бог весть какая сумма, дал бы больше, да пока не могу.

Так они и разошлись, только Бачура записал в книжке адрес Славина и пообещал навеститься к нему месяца через три-четыре. «Дело тут есть одно, незаконченное», – сказал Бачура и скользящей походкой бесшумно исчез из пивбара.

Когда в городе над входом в кафе «Сказка» рванула мина и местные газеты затарахтели о заказном убийстве и «криминальных разборках», Славин знал, чьих это рук дело.

Вот ведь какой камень подсунула мне память, потащил, потащил да и выронил, сил не хватило до нужного, predetermined места дотащить. А когда Бачуру вспомнил, подумалось мне, что вот на этот раз доволочу, осилю – ан нет! К самому центру той пламенеющей воронки потащил меня камень. Испугался я, задрожали руки в страхе перед огненной бездной, и отшвырнул в сторону камень моей памяти. Слаб оказался.

Стоп! На самом-то деле всё было не так, действительность, которая разумна, потребовала от меня сказать вот это – разумное. На самом деле только что описанная мной встреча Кольки Славина и Генки Бачурина не могла состояться.

Ведь тогда Бачура КамАЗ провёл через блокпост эмвэдэшников. Никакого взрыва не было, а была «зеленая капуста», которую по-честному разделили.

Славин от своей доли отказался, сказал Бачурину: «Ты как хочешь, а я этих грязных денег не возьму».

На следующее утро Славина нашли с аккуратной дыркой во лбу в ста метрах от расположения их взвода, как раз там, где Генка Бачура «добывал пой-

ло». Мертвецы, как известно, плохие свидетели, прямо скажем, никудышные!

Но я помню и другое, такое, что разум не хочет принять как действительное. Я помню, как отказался от денег и как Бачурин прошипел мне в ухо:

– Ты что, спятил? Не понял, что мы, все пятеро, теперь в деле. Мы, Коляня, повязаны, а развязывают это дело знаешь как?

– Знаю. Ты что, пришьешь меня? Вот тут и сейчас?

– Я не один... – Он что-то обдумывал, мой боевой друг, что-то обдумывал.

– Не хочешь – не бери, но о том, что не взял, забудь, как кошмарный сон.

На том и порешили тогда, а вскоре контракт у меня закончился и я вернулся к маме с папой и к своей будущей жене, которую начал подмачивать по ночам уже через месяц после нашей свадьбы. Так говорит моя память, говорит вопреки моему же здравому рассудку, правде жизни.

Трех воров в законе уложил тот взрыв мины, установленной Бачурой на козырьке кафе «Сказка».

Через четыре месяца он заявился ко мне.

Генка Бачурин принёс «музыкальный инструмент» и коробку отливающих матовым светом «игровых приставок».

– Эта физия тебе знакома? – он бросил на стол фото, и я обомлел. Как же мне было не знать этого человека, если его жена...

Ну что ж, выворачивать себя наизнанку, так до конца, до кишок! Матвей Сергеевич, а именно его фото легло на мой стол, работал коммерческим директором разреза. Крупный разрез, более десяти миллионов тонн угля в год давал...

Жена... Да, Полина. Его жена была моей любовницей. Сказать по правде, она купила моё тело, но... чтобы быть честным до конца, то и её тело не оставляло меня равнодушным... Зрелое, сильное тело женщины, знающей толк в играх тел. Так что не совсем купила, это я купился...

– Чудны дела твои, Господи, – сказал Колька Славин, стараясь придать своему голосу безразличие. Это плохо получилось, и Бачура спросил:

– Ты с ним знаком?

– Боров с хозяином тоже знаком, – ответил за меня Славин и нервно засмеялся.

– Нехороший у тебя смех, Коляня, не деловой.

– К какому сроку нужно? – спросил Славин, игнорируя слова Бачуры.

– Неделя устроит?

– Устроит.

Хорошие деньги я тогда заработал, но сказал Генке:

– Всё, больше в эти игры не играю.

Пожал Бачура плечами, как тогда, когда я отказался взять пачку «капусты», посмотрел на меня, как на больного головой, и ушел стремительной, мягкой кошачьей поступью. Слово и не шёл, а перетекал из одного места в другое. Отчего, почему меня Господь не сделал таким, как Бачура? Зачем мне эта память, которая играет со мной, терзает меня, насмехается?

Не так ведь это было. Не так! Бачура потянулся ко мне через весь стол своей лапищей и как-то униженно-назидательно произнёс, словно имел на это право. Нет! Слово жизнь дала ему это право, и оно несомненно для всякого, кто видит Бачуру:

– Милый ты мой! Чечня продолжается! Мы разнесли эту Чечню на подошвах своих сапог и на десантной обуви! И никто! Понимаешь ли ты – никто от этого факта не увернется! Мы будем отстреливать жирных каплунов и сами будем отстреливаться до последнего патрона! – Бачура перевел дыхание, отхлебнул немного из фужера, вскинул на меня свои глаза-буравчики, спросил: – Ты помнишь песню, которую пел Колька Шмелев, ну тот, которому потом абреки голову отрезали и на кол воткнули?

– Помню, – враз смерзшимися губами ответил Бачуре.

Бачура нараспев продекламировал, хотя хреновый из него певун и декламатор: «Сладкий запах пороха кружит мою голову». – Я подхватил припев: «Чёрному ли ворону выклевывать глаза?»

– Не надо дальше! – Я загородился рукой от взгляда Бачуры. – Не рви душу!

Мы выпили по граммукле.

– А знаешь, мне мама пела другую песню, – неожиданно прорвало во мне сентиментальную струю: – «Ночь пришла на мягких лапах, дремлет как медведь. Мальчик создан, чтобы плакать, мама – чтобы петь...»

– Неправильно мать тебе пела, – хмуро сказал Бачура. – Её обманули, как нас обманули, как обманули чернобыльцев, а еще раньше – афганцев и ветеранов Отечественной. По правде петь нужно так: «Мальчик создан, чтобы смеяться, а мама – чтобы плакать». Погляди – все матери плачут, а где ты видел смех матери? Разве что в роддоме, когда ей подносят чудо господне...

– Да, пожалуй, так будет правильно, – согласился я.

– Ну вот, я всегда говорил – ты мужик! Был мужиком и умрёшь мужиком!

Так вот я распрощался с Бачурой и, думаю, навсегда. Я, Колька Славин, который в действительности был убит в Чечне, шёл по пыльной улице городка и изредка касался нагрудного кармана старенького пиджачка, где лежала толстая пачка купюр с изображением бородатого дядьки, говорят, еврея. И мысли его (мои, мои мысли), совершенно здоровые и разумные, были такими: вот пришлось-таки взять от Бачуры эти деньги, может быть, те самые, что он предлагал там, в Чечне.

Нет! Пропустил! Была еще мысль, да и не мысль вовсе, а так, фраза, застрявшая в голове: «Деньги и евреи, евреи и деньги...», и так продолжалось до вечера, пока водка не смыла всё, в том числе и эту дурацкую фразу.

А потом было городское кладбище... Боже мой! Господи! Как дочь Полины смотрела на меня! Вру! На меня она не смотрела, а смотрела на всех и, значит, на меня тоже! Ей было столько же лет, сколько той большеухой голенастой девочке из моей памяти, сказавшей: «Давай сделаем то, что пришло тебе в голову?»

Я и раньше боялся, что она так скажет мне, когда случайно на час-два оставался с ней один на один на их даче. Дочь моей любовницы постоянно вызывала в моей памяти образ той, которая теперь уже лет на десять старше её матери (вдовы!) и лет на тридцать – этой девочки. Она с любопытством поглядывала то на мать, то на меня. Было нечто такое в её взгляде, что пробуждало в моей памяти образ той, из параллельного класса. И был страх: вот она подойдёт и скажет... Но я не о том... Хотя вот, пришло же... вспомнил...

Тогда, на кладбище, она смотрела на всех, пронзительно смотрела. Мне показалось, что она знает, что у меня в голове. Она знает, что «пришло мне в голову» двумя днями раньше, когда я увидел в оптический прицел её отца. Только на этот раз в её глазах читались не обида и недоумение, как тогда, тысячу лет тому назад, и сказала она не это: «Дурак ты и пошлак!»

Нет, на этот раз я чётко прочёл в её глазах: «Ты убийца!»

А может быть, она сказала, сказала это, когда я подошёл к её матери у гроба и помог ей подняться на ноги? Я имел право взять её под руку там, на кладбище. По здравому разумению, так и было в действительности. Более того, это диктовалось необходимостью, поскольку все, абсолютно все реальные права – только у необходимости.

Но ведь и это – только память! Вот в чём дело! Только моя память! Никто ведь, никто, кроме меня, не помнит, что явился Бачура и что было кладбище – и девочка с большими голубыми глазами на том кладбище! Помнят, но другое. Совершенно другое, но не то, что помню я.

Господи! За что? Может, и того горного аула не было? Ничего не было, ведь невозможно, чтобы бомбили свои города, и танки сминали в крошку дома, и тела людей в них. Невозможное дело убить человека, а потом прийти на кладбище и успокаивать его жену? Невозможно вынести взгляда невинного создания, провидящего твою душу, и при этом не сойти с ума? Всё ли действительное разумно, мелисса?

Разве это разумно, если действительно такое было?

34

«Никто не желает отвечать на мои вопросы. Никто!» – сказал тот купец, укладываясь спать на соломенном тюфяке. Как будто я посторонний на этой земле. А за ответ я готов был заплатить. Как же жить, не зная, что угодно Господу? Люди высказывают только мнения, простые мнения, очень простые и поверхностные... И он заснул чутким, тревожным сном, чтобы проснуться через две с лишним тысячи лет.

«Никто не желает отвечать на мои вопросы. Никто! Я посторонний в этом мире!» Ложусь, закутываюсь с головой в одеяло, в мамино одеяло, и хочу умереть, как тот ребёнок-наркоман, но не могу, не получается. Господи, не жизни и здоровья прошу, а смерти. Я, Господи, отягощён жизнью и не знаю ответов на свои, сжигающие меня, вопросы.

Я стою, как нищий перед дверями, и стучу в них – откройте! Не открывают. И уже в полусне думаю: «Нельзя сказать об этом мире, он есть или его нет. Он есть настолько, насколько я чувствую его и помню его».

Значит он – весь я! И нет ничего, кроме меня! Когда я умру, то и мир мой умрет! Уйду в огненную воронку, и отделит тот огонь суть от наносного, золотот от шлака!»

С тем и засыпаю. Кажется, что засыпаю, по крайней мере, так должно быть по здравому разумению.

Вот почему эти подвывания машины под моим окном так меня нервируют. Всё это звуки той войны, будящие мою память, которой не должно у меня быть, а вместе с тем есть. Как разрешить это? Куда мне спрятаться от неё? Она преследует меня ежеминутно! Это она расстреливает и убивает! Люди, это не я! Это она!

«Уи! Уи!» – И резко, словно кого облаивает: «Ай! Ай!»

– Хотя бы кто сказал ему, что все нервы издёргал. Ты вот губы расквасил и сидишь, тоже мне мужик! – выкрикнула жена, и словно кипятком обдало.

– Морду ему, что ли, набить?

– А хотя бы и морду!

– Хорошо, пойду.

– Чего это ты на антресоль полез? Кажись, двери в другом месте.

– Да тут у меня одна хреновень есть. Враз заткнётся.

Хреновень была ребристой, тяжёлой штуковиной с пупочкой и кольцом. Я привез её с Чечни как память, как сувенир. Открыл створку окна. Тремя этажами ниже к цоколю здания была приставлена железная коробка гаража.

– Так, щёточка, шампунь, так, глазастая ты моя, так... – приговаривал я, срывая чеку.

Взрыв «заткнул» и автомобиль, и хозяина. А потом, потом было всё, как обычно в действительности, которая разумна: суд, конвой, душная камера и впереди десять лет мордовских лагерей.

Но ведь и это – только моя память, хотя десять лет всё-таки не десять дней, и много чего в ней осталось. Вот этот шрам, к примеру, через всю грудь, его не выдумаешь, он болит до сих пор. И это ощущение в пальцах от хруста хрящей горла лагерного пахана...

Нет, нет! Ничего нет! Просто моя память бредёт по дорогам, которые сама выбирает, и меняет дороги и маршруты так, как захочет. Это она заставляет меня проживать чужие жизни как свои собственные, она всё смещает, всё путает и туманит, чтобы изнывало мое сердце от той действительности, которую она мне подсовывает.

Есть только боль. Только боль, вот единственная реальность мира, всё остальное нельзя доказать. Только одну боль принимают без доказательства. Каждый свою, каждый свою...

В эту зиму как-то особо свирепствовали метели, драли землю с ожесточением, раздевая её до исподнего, до полынных корней. Потом налетали теплые ветры, и всё таяло, превращаясь за ночь в сплошную корку льда. Утренняя поездка на работу выливалась в сплошные муки.

Травмпункты и травмбольницы стояли переполненные несчастными. Ко всему еще добавилось невиданное злобство вирусов. Аптечные магнаты

получали сверхдоходы, вот уж, действительно, кому мировой мор, а аптекарям и гробовщикам – манна небесная. От этой непогоды, от скачков атмосферного давления болела голова и ксилофонной музыкой отзывались кости. Старые, уставшие от прежней работы кости.

«Три кварка, три кварка для мистера Старка», – прокаркал чёрный ворон, усевшись на жестяной козырёк водостока напротив моего окна и заглядывая чёрным глазом в мою комнату. В эту зиму вороны не улетели, видно, много падали было на городских свалках.

Что ты хочешь мне сказать, чёрный ворон с далёкого Альбиона? Что ты хочешь мне сказать своим картавым языком? Что этот стол, я и моя душа всего лишь игра кварков, невидимых первоатомов, имеющих свойства, но не несущих в себе вещественности? Что в основе этого мира лежат свойства и только свойства и нет в нём ни грана плоти? Ты, наверное, прав, ворон, но отчего же ты все-таки любишь плоть? Все любят плоть! Исключительно все, в ком течет кровь, её согревающая.

Свойства, переходящие в плоть, в цемент и металл. Свойство наших душ, переходящее в экономику, политику, в мусорные свалки, шахты и заводы.

Нет! Нет! Нет! На самом деле не так понималось его троекратное «Кар!»! Не об этом крикнул ворон. О другом.

– Всё дело в твоём оперении, – неожиданно слегка картавя, сказал ворон. – Оно не подходит к сезону этого века. Посмотри на себя в зеркало. Ты напялил на себя «белые одежды», но ты такой же, как и мы. Ты любишь падаль. Всё дело в намерениях и делах. В намерениях и делах. Как всегда, в деталях, и чем меньше, чем ничтожнее кажется тебе деталь, частность, тем значительнее ложь. Ты лжец, лжец...

– Три карты, три карты! – потребовал Германн у старой графини голосом ворона, моим голосом, и томик Пушкина упал с книжной полки на стол, на котором лежала рукопись моей первой книжки, состоящей из трех повестей. Я хочу их продать, я стёр себе зубы, поедая плоть жизни, и нужны деньги, чтобы вставить новые. Никто еще не научился жить так, чтобы не поедать плоти, разве что святые подвижники Христовы. Мне предлагают напечатать их за так, за кварк известности и популярности.

Нет, за кварк тщеславия! Такое свойство имеют книги, изданные безгонорарно. Автор упивается единственным – собственным тщеславием. Такое свойство имеет действительность, сияющая доказать всем свою разумность.

Вошла жена: «Не будет тебе и на этот раз удачи, потому что не удержал ты в тайне от людей свои

надежды. Ты всё время выбалтываешь сокровенное»...

– Кыш! Проклятые! – Я ударил легонько по оконному стеклу, и ворон нехотя взвился в белесую мглу, в эту крупяную круговерть снега, в эти бороздящие землю низкие облака.

Всё низко, что опускается с небес на землю. Всё низко, даже любовь, сошедшая с небес, не говоря уже о воплощённых в словесную ткань замыслах. Я с отвращением смотрю на итог моего годового труда и, кажется, начинаю понимать Николая Васильевича Гоголя.

Что-то во мне шепчет: «Это все понимают, кто пишет. Исключительно все! Но редко у кого хватает сил убить новорожденного. Так мать нянчится с уродливым ребёнком до самой своей смерти, и пусть попробуют отнять его!»

Пусть попробуют! Нужно не только понимать, нужно увидеть нечто такое, что перевернёт душу и превратит материнскую любовь в ненависть.

– Ты суеверна, как старуха, – ответил я жене, ставя на прежнее место томик Пушкина. – Мне еще нужно над ними поработать. Они сырые.

– А ты и не заметил, как я состарилась? – спросила она таким тоном, что больно защемило в горле и увлажнились глаза. Я отвернулся.

Но не это она сказала, не это! Другое сказала она: «Ты и не заметил, как меня состарил?»

«Но так ли всё было на самом деле? – спрашиваю я в сотый, тысячный раз, в каждый миг своей жизни спрашиваю: – Так ли всё было?!» Потому спрашиваю, что и метель-подируха, и ворон на моём подоконнике, и упавший томик Пушкина, и слова жены – всё только в моей памяти. Никто, кроме меня, этого не помнит. Никто! Даже жена не помнит! Я спрашивал!

«Выдумываешь ты всё, выдумщик. Не ты, а жизнь и работа состарили меня. – Она посмотрела с сожалением. – Брось ты свою писанину, пока она не свела тебя с ума. Ты перепутал день с ночью, а ночь с днём. И нет уже у тебя времени, чтобы «поработать» и «доработать».

Сейчас на дворе май, первая трава уже пробивается сквозь прелое тело старой травы. Я пишу из памяти, которой мой разум не доверяет. Она болью своей свидетельствует о себе. Я пробиваюсь сквозь собственное прелое тело потому, что меня манит солнце жизни, и это солнце освещает мою память. На самом-то деле жизнь – это боль и встающее каждое утро солнце. Солнце надежды.

Хочется плакать, пить водку и петь: «Ты не вейся, чёрный ворон»... Но не могу себе позволить петь – за стеной моей комнаты мать, а я не хочу, чтобы она видела, как безумно и безнадежно тоскует моя душа. Душа её сына! Разве бы я выдержал, если бы за моей стеной вот так тосковала душа моего сына, моей дочери?

Я пою беззвучно и плачу тихо, не зная зачем, отчего и почему я плачу. Мне жалко мать, жену, сестру, брата и тех, кого я убил, растлив в своей памяти, только себя не жалко. Я презираю себя за то, что в моей памяти нет никаких оправданий мне. Но разве от этого плачут? Разве я от этого плачу?

Я не знаю, отчего плачу, и это незнание щемит моё сердце. Как скрыть это от матери? Я скрываю свою любовь к ней за железной бронёй строгости и суровости. Я холодный, равнодушный сын. Точно! Я плачу оттого, что я не знаю отчего плачу...

Моя память в полном согласии с моей же здраворассудочностью подсовывает видение. Скорый поезд Владивосток – Москва, плацкартный вагон, сладкоголосая сирена без лица, без формы... Нет, форма всё-таки была. Это форма гитары, которую она держала в руках, но скорее всего – это гитара держала сирену в руках. Лёгкая гипнотизирующая форма. Напротив сидел солдат в парадной форме. На погонах цвета летнего неба крылатые эмблемы воздушных войск. Он задолго до этой встречи был влюблен в гитару, и сейчас наступило время объясниться в любви. Гитара благосклонно принимала его объяснение.

Она ехала в хлебный город Ташкент из казачьего города Хабаровска, где не было хлеба. Это был год 1963-й, но, может быть, и 1962-й или 1964-й, какое это имеет значение? Значение имеет только одно – была гитара и был, по всей видимости, я. Только это имеет значение, а всё остальное – фон, сменный задник на вечной театральной сцене жизни. В Новосибирске пути их разошлись. Она обещала вернуться на вокзал. Он беспечно и неосторожно обещал её встретить.

Вокзал и гитара... Сиреневый туман...

«Ты помнишь, как плакала та девушка на вокзале, когда ждала тебя, а ты не пришел? – голос суровый, требовательный, потрясающий мое естество. – Издалека, за тысячи километров приехала она, ты поманил её своим лукавым, блудливым языком. Ты забыл, как многому обязывает человека даже случайно сказанное слово, тем более слова нежности и слова проклятия? Ну так не говори! Не говори никогда! Если хочешь понять, отчего плачут. Не говори! Запечатая свои уста, вырви язык, но не говори!»

Кто это пророкотал надо мной? Эй, кто ты, громгохочущий?! Кто ты такой? Кто? Тихо, нет мне ответа на мой вопрос. Нет ответа. Сердце, ты знаешь кто?!

– Ты знаешь! Знаешь, знаешь... аешь... аешь...» – словно эхо в горах, отдалось в моей бестолковой голове, и всё смолкло. Так уже бывало, и не раз, слышал я голос в себе и содрогался от него. И еще не раз, не два содрогнусь, если услышу.

Трудно молчать, ох как трудно молчать, когда в голове столько слов! Голова пухнет от них, невысказанные, они ударяют в печень, в почки, в сердце, в нервы! Всё раскалено, всё готово вот-вот взорваться. Я вздуваюсь, как гнилой болотный пузырь. И только тоскливое, знобящее душу «ух!» донесётся до слуха тех, кто услышит, как лопну над болотом.

И это тоже моя память, которая заглядывает в замочную скважину будущего, чтобы провидеть его. Моё будущее.

Там, «по ту сторону добра и зла», на цветочных и земляничных полянах, где нет мне места, огненным метеором пронесётся малый остаток моей души, чтобы вонзиться в центр огненной воронки. И кто-то мне вслед скажет: «Камни, камни! Твои камни, что ты не донёс тогда, когда дано было тебе чувствовать и сознавать мир».

Чёрт знает, как это бывает у людей, но где взять мне знание от Бога, как это должно быть? Отчего Господь не научает меня своей науке, а все, якобы знающие, отсылают меня к посредникам?

Память моя ныряет в глубинные омуты древних знаний, вытаскивает страницы когда-то читанных книг, и встают в памяти моей «блаженные августины», «плотины», «платоны», «паскалии», «канты» и «марксы». Но не находит она там научений, а лишь одно биение мысли и сердца о стену, перед которой стою я.

Так, может быть, и нет никаких таких научений, а есть только вот это – вечное биение сердцем, лбом, локтями, коленями о стену?

«Стена открылась предо мною, как завершение всего. Стена открылась предо мною... Не более... и ничего!»

– Ничего не бывает. – Прозвучал тихий голос во мне, но тишина этого голоса была тишиной океана, так бездонна и чиста была эта глубина.

Я оторопел и замер, как врасплох захваченная перепелка на кладке, увидев над собой склоненное лицо человека. Вжался в гнездо, распластался и закрыл глаза, только стук сердца оглушал меня.

– Ты это должен чувствовать, – прошептал голос во мне. – Ничего – это то, что ты еще не прочувствовал. Неужели в тебе еще остались не выбитые мной иллюзии насчет понимания?! Неужели по сию пору ты цепляешься за свой ветхий разум, как слепой за стену? Оторвись! Пробудись! Открой, наконец, свои глаза и увидишь, что за стеной!

Человек наклонился над перепёлкой и взял тяжёлыми пальцами крохотный пушистый комочек. Шевельнулся океан, едва повёл плечами – и вот, где было ровно, встали огромные водяные горы и пошли, пошли к далёким берегам, к зубчатым скалам...

– Ну? Видишь? – спросил меня голос требовательно, и я открыл глаза. Перепёлка открыла глаза и приготовилась умереть.

– Ладно, – сказал человек, опуская её в гнездышко, – сиди, не бойся, ничего не бойся, поскольку смерть приходит прежде, чем придёт к тебе её страх.

– Вижу... О, Господи! Вижу! Там, за стеной, истекающий кровью Христос!

Так вот что там за стеной! Вот что там, за стеной, в которую вот уже две тысячи лет стучатся! Я понял: стена эта воздвигнута здравым рассудком... Нет, она и есть рассудок, мышление, разум... Кто как её называет, по качествам и проявлением её. Так вот кто за стеной!

– Уи, уи, уи! – взывала под окном машина, отвечая своему хозяину. Я прикрыл форточку, сознавая, что бесполезно закрывать, она докричится и сквозь бетонные стены. Я огляделся вокруг: разобранная кровать, книги, пепел на полу, наискось исписанные листки бумаги на столе. Я и стол, Сизиф и камень. Сажусь, закуриваю, что-то смутно, тревожно встает перед глазами. Я всматриваюсь, припоминаю...

И вот увидел, и не могу удержать своё перо, оно чертит и чертит какие-то знаки на белой бумаге.

«Завязывали глаза преступникам, прежде чем отрубить им голову. Это было милосердно по отношению к ним, ибо непереносимо для зрения человека вид и подобие смерти, представленное в образе палача в красном кафтане, с топором на плече.

Но он сорвал с глаз повязку, и синее пламя глаз встретилось с морозным огнём смерти. Холод и пламя равно сжигают человеческую плоть.

Палач покачнулся от этого взгляда, и топор соскользнул с его плеча, неловко перевернулся в воздухе и обухом ударил о колоду... Ахнула толпа зе-

вак, пришедшая на кровавое зрелище, и разбил сердце судей государевых страх великий. Бежали они со многими с места лобного, обильно политого кровью. А на звоннице, что вблизи площади той, обрушился колокол и проломил перекрытия звонницы до самого основания. Там и расселся на две части, одна отпала к Востоку, другая к Западу.

Многое толковали о том люди, пытаясь понять знамение, а то, что это было знамение, никто не сомневался.

Будет горе. И сердце мое в очередной раз разорвётся от горя, поскольку нет на моих глазах спасительной повязки, не загородил мне Господь глаза мои. Смотри. А эшафот близок уже, на подступах к нему я. Господь медлит, не даёт на него вступить. Не созрел еще я до сораспятия Христу. Отпустил меня в моё гнёздышко. Сиди. Смерть придёт раньше, чем страх смерти, и это будет счастьем. Единственным из возможных и доподлинных.

Кто-то читает надо мной: «Бу-бу-бу... Дед Григория Орлова, восходя на эшафот, пнул скатившуюся отрубленную голову, поддел как футбольный мяч. Далеко в толпу зевак улетела та голова, и захохотал он над застывшим морем людских голов, поражённых неслыханной дерзостью и презрением к смерти. Пётр оставил его за дерзость в живых».

К чему вспомнилось это? Не знаю. Я ничего не знаю! Вот ведь как, еще лет десять тому назад мне казалось, что я кое-что знаю, а сейчас вот пришло время и признаюсь: я ничего не знаю, а только чувствую. Я и раньше чувствовал, но не придавал этому значения. А вот нынче пришёл к заключению: жизнь не знают, жизнь чувствуют, кто же говорит «знаю», тот лжёт.

Я хочу написать рассказ о Сократе, о том Сократе, о котором долдонит мой разум, но которого нет в моей памяти, да и в памяти тех, кто его помнит. Смешно, кто помнит Сократа? Вся память о нём вычитана у Платона, а ведь Сократ сказал: «Много же наврал обо мне этот юноша».

И начал бы так, чтобы угодить разуму: «Сократ был высок, строен, ликом прекрасен и гибок, как лоза, из которой рабы плетут корзины для винограда. Его сравнивали с Алкивиадом, соперником по красоте и привлекательности, но Сократ к тому же был и мудр. О мужестве и отваге Сократа ходили

легенды, но и то была правда, что за правое дело он стоял и телом, и разумом своим.

У Сократа была жена, Ксантипа, женщина ангельской доброты и примерных нравов, так что супругу Сократа уважали не только потому, что её муж был признан оракулом, что в священных Дельфах, самым мудрым человеком из живших на земле, но и потому, что сама была источником доброты, из которого каждый мог почерпнуть столько, сколько могла вместить душа».

Я хотел бы написать правду о Сократе, ту правду, о которой долдонит мне разум, утверждая, что действительность разумна. Ведь и на самом деле, разве может разум согласиться с тем, что Афинский суд приговорил мудрейшего из смертных к чаше с ядом? Разве разум согласится с тем утверждением, что у мудрого человека была жена безобразна и сварлива?

Нет, он вам докажет, что прекрасное тянется к прекрасному, а безобразное притягивается к безобразному, что зло порождает зло, а добро – добро! Что не может прекрасная душа жить в таком уродливом теле, какое, по мнению моей памяти, да и памяти исторической, было у Сократа. Разум, отстаивая разумные основания и разумные принципы, которые он вывел сам из себя, прочтёт длинную лекцию о гармонии тела и души. И в завершении изречёт как истину: «В здоровом теле здоровый дух».

Нет, чаша с ядом возникла в чьей-то больной, истерзанной памяти, а потом пошла бродить по свету, рассказывая не бывшее в действительности.

Сократ был прекрасен, а Афинский суд справедлив и потому встретил обвинения Анита и Мелита против Сократа со смехом, как безумную выдумку, как бредовую идею.

В памяти моей и в памяти человечества очень много больного, много такого, о чём разум скажет: «Этого не было и не могло быть никогда!»

Есть черепки и черепа. Много черепков и еще больше черепов, и они требуют интерпретации, как говорят ученые своим птичьим языком. Нужно их объяснить. Сдаётся мне, что с незапамятных времён объясняют и эти объяснения выдают за действительно бывшее, не замечая, что разум такое принять не может! И это – самая поразительная странность. Ведь все возможные объяснения как раз проходят по ведомству разума! Только ему дано объяснять, и, объясняя, он входит в противоречие с самим собой!

Мудрейшего из смертных приговаривает к смерти справедливейший, демократичнейший из возможных судов – афинский! Очевидная, несовместимая с разумными основаниями байка!

И это при том, что разум только тем и был озачен, чтобы устроить жизнь самым справедливым образом. Философы всего мира только об этом и говорили. Народы ничего не жаждали с такой страстью, как справедливости! Выходит, мудрость не нужна ни справедливости, ни разуму. Получается так, что мудрость есть нечто такое, в чём разум и справедливость усматривают своего смертельного врага, и во все времена, во все эпохи и у всех народов приговаривают мудрецов к смерти.

И всё-таки, черепки и черепа, как же быть с ними? Как же увернуться от них, если глаза видят, а руки чувствуют, а сердце исходит жалостью, словно поднимаешься по лестнице Секирной горы, что на Соловках... На Голгофу... Как тут быть?

— Действительно только то, что чувствуется, что переживается человеком, а всё остальное недействительно, — нашептывает мне память. Но коли так, то есть миллион, миллиард действительностей, и все они улеглись в наслоения нашей памяти. У каждого народа своя память и своя прошедшая действительность. Так что не нам судить древних греков за то, что в их действительности Сократ был уродлив, а Ксантипа — сварливой бабой. По-видимому, разум в их пору еще только набирал свою силу, выстраивая стену, за которой спрятали распятого Христа.

Эта стена — действительность, которая для всех, исключительно для всех, неизменная в веках, как закон Ома и «дважды два четыре». Хоть век, хоть два обходи эту стену — не обойдёшь, всё время преткнёшься в разумные основания и неизменные принципы. С ясельного, с детского возраста вбивают в головы почтение к этой стене.

И вот что важно, исключительно важно: не будь этой стены — всё в одночасье рухнет! И женщину нужно брать так, как берут женщину, иначе род человеческий прекратится. Брать, как все берут, а не мучиться совестью, не выдумывать «благородных принципов». Такова всеобщая действительность, та самая «правда жизни», о которой так много несообразного насочиняла моя память. Противоречие — вот основной принцип жизни, где его нет, там — кладбище!

Но, но... Ведь вырвалось же у меня тогда, когда я склонился над сонной травой, над дремавшей памятью моей, но что? Что вырвалось? Ах, да! Я засомневался в том, что действительность разумна. Если мое сомнение верно, то разум и действительность не совпадают.

Память индивидуальна, дробна, непоследовательна, нелогична и неразумна. Она безумна, как наша радость, наша ненависть, наша любовь и наша боль. Именно она говорит мне: «Добро не рождает

добра и зло не рождает зла. И нет ничего такого, что бы доказывало, что прекрасное тяготеет к прекрасному, а безобразное к безобразному. Напротив, всё тяготеет к своей противоположности! Прекрасное тянется к безобразному».

Зачем? Не знаю! Ведь знание есть прерогатива разума, а он как раз и возмутится таким посылом. А память моя бездоказательна, безумна, и она говорит мне несообразные разуму вещи, например, такие: «Прекрасное жертвенно по природе своей, как Христос был прекрасен и жертвенен. Оно тянется к безобразности, чтобы в этом мире было меньше безобразности, чтобы человек всё-таки соответствовал замыслу Господа. Тянется, и там, в этой темноте, пропадает, пошлеет. Безобразное вожделеет прекрасного, чтобы опошлить и низвести его до себя, но и само при этом становится чуточку лучше, а разум только то и умеет делать хорошо, что складывать и умножать бесконечные цифры, а как только начнёт объяснять результат, так тут же и скажет такую глупость: мол, действительное — разумно!» Вот как говорит моя память!

И вот ещё что: дело, как мне представляется, даже не в том, что существуют встречные течения, что противоположности закручивают гигантский, всепоглощающий огненный смерч. Дело даже не в том, что жизнь — это и есть огненный смерч, соединяющий в себе и сжигающий в себе же тело и душу живую. Дело, как всегда, в мелочах, в детальках, в тотальности средств. Когда за «ценой не стоят», тогда всё, исключительно всё обесценивается. Тогда миру являются из недр земных черепки и черепа и вопиют объяснить их. И нет отбоя от «объясняльщиков»! А когда объяснят и напечатают толстенные тома истории, тогда прошлое становится бывшей действительностью для всех, исключительно для всех образованных людей. И кто жил — тот окаменел в этой действительности. Вот и я скоро окаменею.

А ныне моя память бормочет мне о другом, иное бормочет в темной глубине своей: «Самое основное, самое главное упускает человек, уверовавший в силу своего разума и непогрешимость истин добытых, вернее, измышленных им. Дело в том, что человек вначале чувствует, а потом мыслит то, что почувствовал в себе. Как раз в чувствах возникает протест против любого давления извне, протест против ограниченности, против стены и заборов законов. А уж потом придумываются этому протесту объяснения, потом возникают партии, союзы, расколы, террор и фашизм.

Из тёмных глубин всплывают чувства и принуждают разум к действию. Мы разумны и это выпячиваем по каждому поводу, но чаще и вовсе без пово-

да. А на самом-то деле чувства играют на всех клавишах разума».

Как же признаться, да разве я сам признаюсь в том, что разумом управляет какое-то слепое, неопределенное, капризное чувство? В этом вечная и неразрешимая трагедия Адама, познающего Добро и Зло. Познать – это довериться разуму, довериться его выводам и заключениям и отвергнуть чувство как не имеющее разумных оснований. Разум отвергает первопричину самого себя!

Щит и меч, меч и мошна, плач и смех, богатство и бедность, равенство и справедливость, горе и радость, и все – жизнь. Я устал от этих дихотомий, от этого ежеминутного противопоставления правого – левому, верха – низу, добра – злу, Господа – сатане. Я не знаю, что сказать тому купцу на его притчу, но еще меньше знаю, что скажу тем, кого взорвали на блокпосту и кого я лично убил. И уж точно не найду слов, когда встанет передо мной тот пацан из горного аула и будет молча, не мигая смотреть на меня своими смородиновыми глазами. Как тогда смотрел: не веря, не понимая, что я – его смерть.

Но и это ведь только моя память. Только память. Как: «Встань и я лягу вместо тебя». И многое, многое другое, к чему боюсь прикоснуться. Только память.

Я заговариваю свою боль, повторяя одно и то же, одно и то же: это только память и ничего больше. Только память и ничего больше! Действительное – разумно! И тогда, когда окончательно заговорю её, тогда и на самом деле начинаю ничего не помнить такого, что бы противоречило моему разуму.

Так я начинаю потихоньку отходить и осторожно посмеиваться над собой. Тогда я вспоминаю ал-

фавит и грамматику и говорю трезвомыслящие, ничего не значащие слова, как все. Я начинаю болтать, как сорока, упиваясь собственной болтовнёй. И мне делается легко, вольготно и очень удобно, даже комфортно. Становлюсь нормальным, трезвомыслящим человеком. Я начинаю любить себя, уважать, смотреть телевизор и подхихикивать шуточкам записных, всероссийских шутков. И меня начинают уважать, а не смотреть, как на городского юродивого.

Мне нравится, как орут песни, даже где-то щеко-тит от того, как обещающе виляют попками и ого-ляют свой прелестный пупок, как бы удостоверяя всех и каждого в своей привлекательности и готов-ности к соитию.

40

Меня уже не коробит, что секс и пол в устах телеведущих становятся синонимами. Я смотрю скуч-ные, дурацкие фильмы, которые уже не кажутся мне ни дурачками, ни скучными, а напротив: я вижу в них здоровый житейский смысл, правду жизни, та-кую правду, какую хочет мой разум, и больше не замечаю, как играют актеры.

Но при этом глубоко-глубоко в самой серёдоч-ке, словно крошечная жилочка, пульсирует во мне страх – вот проснётся во мне память и тогда...

А может, и не память вовсе, а совесть, пробуж-дающая память? Ну что же, и это нужно обдумать, обдумать... В другой раз, в другой раз, в другую эпо-ху, когда время уплотнится так, как уплотняются атомы в центре нейтронной звезды. Иначе в это нормальное время, когда действительное разумно, нельзя ничего разумного сказать о совести.

Вот только выдержать бы это давление, не по-течь, как воск с тонюсенькой пятирублевой свечи, которую я поставил в церкви, окончив бредовый путь, проложенный по дорогам моей боли, памятью моей. Прости меня, Господи, не по заслугам моим прошу, а по милосердию Твоему. Аминь!



Вячеслав ЛОПУШНОЙ

НОЧЬЮ Я ПОЗВОНИЛ АЛЕКСАНДРУ БЛОКУ

* * *

Т. Рубцовой

Вокруг двора детдома,
Как возле всех жилищ,
Собаки с лаем злобным
Большим гуртом вились.

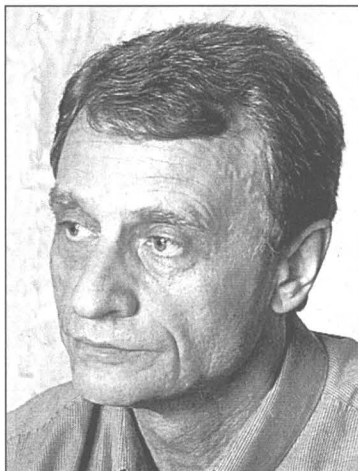
Оголодали псины,
Как все, несли урон.
А нищая Россия
Глядела из окон.

Но вот в тумане мгlistом
Ватага из дверей –
Вихрастых голосистых
Детдомовских детей.

Псы вдруг на них – стрелою!
Порвут!... Но встали в ряд,
Как лист перед травой,
И ну лизать ребят!

Всей шкурою косматой
Дворняжье естество
Узрело в сорванятах
Какое-то родство.

41



И от худых котлетин
Гурьбою отдают,
Что могут, наши дети,
Убогий наш приют...

Разделены опять мы –
На хижины, дворцы?
О Русь, тебя не вспять ли
Вновь тянут под уздцы?

В дуге – орел двуглавый
И триколор из лент,
И бубенцы державы,
Которой больше нет...

Ни гимны, ни мессии
Не выручат страны.
Спасут мою Россию
Такие ж пацаны,

Такие же девчонки –
Милее не найти –
Из нашенской сторонки
И – с Господом в груди!

1998 г.

Лопушной Вячеслав Михайлович родился 30 ноября 1945 года в Кемерове. Окончил Кузбасский политехнический институт. Много лет работал на строительстве, прошел путь от рабочего до главного инженера стройуправления.

Печатался в журналах «Огни Кузбасса», «Сибирские огни», «Рабоче-крестьянский корреспондент», «Москва», в «Литературной газете». Автор нескольких поэтических сборников. Член Союза писателей России. Живет в Кемерове.

Дорогой Вячеслав Михайлович, твои коллеги-писатели Кузбасса от души поздравляют тебя с 60-летним юбилеем.

А. Зениткину

Вот и грянули струны летящие
Под широкою дланью твоей.

«Эй, ребята! По полной налей!»

А на выдохе – наше, щемящее:

«Колыма», «Офицеры», «Рябина» ли... –
Полухрип, полустон, полукрик.
Шибче спирта хватая глубинное,
Ввысь летит забубенный твой клик!

Мигом взгляд застилает роса –
То ли нервы мои поизношены?
Но такую же влагой непрошеной
Забирает соседей глаза.

А в груди и светло, и мучительно:
«Пр-р-ропаду без тебя, моя Русь!»
О российская жгучая грусть!
Что больнее тебя и спасительней?

В горле ком... Не могу, не дослушаю
Сердце рвущие песни твои.
Что ж ты делаешь с нашими душами,
Сашка, душу твою разъедри!

1996 г.

ДОЧЕРИ

(песня)

Когда случилось, я не знаю,
Но изменилась дочь моя:
Была своя, была ручная,
А стала, кажется, ничья.

Давно ли губки подавала
Ты мне забавно пред сном?
А нынче – будто бы устало
«Мы» еле щёку подаём.

«Я вам – не кисонька, не рыбка!»
До срока нежностям конец?
Смешно, наверное, что шибко
Грустит об этом твой отец...

Ты встретишь суженого, дочка,
Чтоб мамой ласковою стать.
Но сердце глупое не хочет
Тебя на волю выпускать.

Оно, наивное, стремится –
Пока не выгорит дотла, –
Чтоб вечно – редкостною птицей –
В моих ладонях ты жила.

2000 г.

ЭХО

(романс)

Когда в невидимом чаду –
Обмана, серого лукавства –
Дышать совсем не вмоготу,
Я вспомню музыку пространства,

Где, точно снег на Покрова,
Душа той кипенью горела,
Где были искренни слова,
И невесомость знало тело!

Тогда покажется на миг,
Как будто камня сброшу грудь,
Что эхо отроческих игр
Плывет ко мне – предвестник чуда!

Опять лечу во сне, как встарь.
И там, на грани совершенства,
Тех лет негаснущий янтарь
Струится по сердцу блаженством.

И о минувшем не скорбя,
Вновь улыбаюсь я спросонок,
Как улыбается ребенок
От осязания себя...

1984 г.

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Пианино звучит и скалится,
Если с клавишей... пыль стирается.
Откликаюсь шуткой старинною:
Ты мелодию стёрла – дивную!

Шкаф стеклянно глядит клавирами:
Как любила ты музицировать!
Как взлетали бимоли с диезами
За перстами твоими нежными!..
Позабыты давно Бетховены,
Зато дети наши ухожены.
Все пожухли пиесы Шуберта,
Зато – ах! – твоя «сельдь под шубой».
Спит на полках Шопен с этюдами,
Стали торты твои – ноктюрнами!..
Успеваю на разных поприщах.
Ты ж – полжизни в корыто смотришься.
А глядишь в зеркала – графинею:
Ты ведь – гордая и красивая!
Все твои благородны линии, –
Точно времени клавесинного!
Я не дал и частицу сотую...
...Куда слазить? Какой погреб?
Не мешай мне сейчас! Работаю!

2002 г.

БРАТУ МЕНЬШЕМУ

Судьбою неисповедимой
В подарок и в испытан дан
Ты нам, добрейший злыдень Тима,
И благородный хулиган.

Себе как будто знаешь цену
И гордо держишь «статус-хво...»
Хозяев ты считаешь, верно,
Прислугой графства своего.

Но если, нервами стреножен,
Приду домой, горяч зело,
С моей...кирпич просящей рожи
Ты мигом слизываешь зло.

Ты любишь так непостижимо,
В тебе такой любви запас,
Какой всегда бы в этой жизни
Дай, Боже, каждому из нас!

2005 г.

НЕОПОЗНАННОЕ ЧУВСТВО

Твой адрес помню – сколько минуло? –
Утинобродский первый вал...
Тот ведал звукопись старинную,
Кто имя улице давал.

Мне в том название зрились – Блоковы
«Испытанные остряки»,
Их дамы-утки в мокрых локонах,
Что брода ищут у реки.

Шутить без меры было модою,
И я старался в меру сил.
И в языке русачки гордые
Найти изъяны норовил...

Зачем незримо и безустово –
Неверующему Фоме –
Крест неопознанного чувства ты
Когда-то подарила мне?

И сединою убеленному,
Нести мне до последних дней
Нечаянно приобретенную
Тревогу на душе моей.

1994 г.

РАЗГОВОРЫ С АЛЕКСАНДРОМ БЛОКОМ

Это случилось несколько лет назад... Ночью я позвонил Александру Блоку. Он взял трубку. Я назвался...И он сразу вспомнил меня! Оказывается, он читал мое стихотворение 70-х годов, навеянное его строками. В них я восторженно увидел не что иное, как мировое научное открытие, высказанное... раньше знаменитого ученого-открывателя!... Любопытное стихотворение, – сказал Поэт. Только, сделайте милость, больше его не печатайте в том виде: оно слишком несовершенно ...Так чем могу служить?

Я совсем разволновался и начал сбивчиво излагать Александру Александровичу свою просьбу: Наши поэты вышли на площадь...Они протестовали...Их арестовали... В общем, попросил вступить. И Блок обещал помочь!

Наутро я напрочь забыл, против чего выступали поэты в моем сне. Но когда пересказывал всё это Валентину Махалову, моему крестному отцу в поэзии, волосы мои продолжали шевелиться, а кожа – кирзоветь. Мудрый Васильич воспринял сие вполне серьезно: «Коль скоро ты разговаривал с Блоком во сне, значит, у тебя большие вопросы к жизни, к поэзии. Ты всё еще разбираешься в себе. (Боюсь, что до конца в себе разобраться – в этой жизни мне не грозит. – В. Л.) Но, может быть, Всевышний распорядился, и это означает, что на шестом десятке ты из не худо пишущего стихи человека – таких ведь людей немало – всё же стал поэтом. У каждого свой срок... Ты же помнишь, в твои тридцать я только малый аванс тебе выдал...»

В любом случае я не случайно обратился за поддержкой именно к Блоку. Человеку, который умел сострадать, как никто другой. Ведь это он с горечью заметил сто лет назад: «...а в желтых окнах засмеются, что этих нищих провели»... Непостижимо свежо эта строка звучит и сегодня, не правда ли? Но о том – не здесь... Блок писал другу, что «невыносимо слышит, как рушится старый мир». К слову, я давно убежден, что его «Двенадцать» – никакое не признание революции, а великий памфлет на неё. Он и ушел, когда понял, что нэоинквизиция в России – это надолго, и просто прекратил дышать. Случилось это – совпадение ли? – в том же августе 21-го года, когда был расстрелян другой Поэт – Николай Гумилев... Но главное, Блок для меня – один из тех посланцев Бога на Земле, кому и в самом деле «чье-то солнце вручено». Впрочем, объясняться тут в любви к нему – не ново. Тем более, что выше и талантливее других это сделала Марина Цветаева: «...Вседержитель моей души!»... Его «Незнакомка», «Девушка пела в церковном хоре...» потрясает меня тем, прежде всего, как невероятно много «глухих тайн» доверил ему Господь... Да мало ли у него потрясающих стихов! Восторгаться ими – тоже не новей... И потому да простится мне недолгий отход от большого серьёза...

Неудержимо хочется поведать смешную историю о том, как Александр Блок однажды недурно... напоил и накормил меня. Это случилось в Алма-Ате летом 85-го... Мне тогда выпало по службе поблаженствовать там – на курсах Госстроя Союза – целый месяц. Жил в общежитии полувпроголодь – командировочные сюда были не положены. Зато после занятий ходил в горы, катался на коньках не где-

нибудь, а на знаменитом высокогорном Медео под июньским солнышком, где лед – что за рецепт! – вообще не таял. Для полноты картины забегу вперед: когда вернулся домой, по 1-му каналу как раз показывали веселый сюжетик о союзном соловейчике тех лет – кажется, под названием «Роза Рымбаева на Медео». И надо было видеть в сей момент лица моих близких: откуда ни возьмись в экран вкатился на коньках и в плавках их отец семейства «с глазами кролика», который бежал за певицей и ее эскортом. Вот уж поистине... Но это только к слову о положительных эмоциях во время учебы. Большую часть слушателей, надо заметить, составляли там представители среднеазиатских республик – географическая близость, – и о них у меня остались самые добрые воспоминания. Как-то в выходной мы сидели в дешевой чайхане, ужинали. А в аккурат в это время партия запретила народу пить. И тут всё было чин-чинарем: на столах – никаких бутылок и графинов. Горячительную влагу разносили исключительно в чайничках. Повеселели. В нашей компании, конечно, не обошлось без лучшей половины. И я что-то скаламбурил, используя строчку Блока, показавшуюся мне с восточным колоритом: «...я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, ай». Один дотошный коллега-узбек попытался меня поправить: правильно, мол, не «как небо», а «как солнце». Само собой, говорю, «как солнце» здесь вполне напрашивается. Но ведь Блок – не Хайям или Низами: небо по-другому видит. Поспорили. Мне замаячило нечто и, конечно, не смущала восточная же мудрость: один из спорящих – дурак, а другой – подлец... А спор всем загорелось разрешить немедленно. Опусти детали, как мы, не слишком трезвые граждане, ходили по домам столицы Казахстана и убеждали хозяев – вот картинка-то, – что непрошеным визитерам непременно нужно дать порыться в полном собрании сочинений Блока... И представьте, один старичок проникся и вынес-таки нам искомое! В результате... мне до конца курсов был обеспечен дармовой плов с «сопровождением», тот фантастический плов, какой умеют готовить только узбеки. Вот вам и «прикладное» значение поэзии...

Кстати, еще раньше меня занимало: что за дикий напиток «ай» послал поэт героине стиха? Начал искать. В советских словарях ничего не откопал. Углубился в дореволюционные... и «сэ ле мо» – вот оно слово – нашел. Оказывается, это сорт

шампанского из винограда деревушки Аи (Ауе – по-французски) – провинции, конечно же, Шампань. Похоже, что Блок со друзья пили это шампанское ящиками... Когда в 1980 году я впервые оказался в Париже, то пытался отыскать заветную бутылочку. Без колебаний выложил бы за нее свои скудные франки. Но эти «темные» французы только плечами пожимали. Может быть, я не с теми общался или они Блока не читали?...

Но вот теперь снова дышите глубже. Пора уже перейти к главной, наверное, части своего сумасшедшего захлёба длиною в полжизни: к тому невозможному откровению Поэта, что не перестает меня волновать, никак не отпускает многие годы. Уже сказал в начале, что когда-то меня пронзила догадка, что Блок зашифровал в своем стихотворении великое научное открытие. Возможно, – мне это неизвестно – у моей догадки были и есть соавторы и сочувствующие. Может быть, кто-то улыбнется и покачает головой... Мистическое ли это предвидение, но, судите сами, вот эти строки из стихотворения «Моей матери», написанного – дата здесь очень важна – 4 декабря 1904 года:

«...Мы провидели светлые цели
В отдаленных краях лабиринта.
Нам казалось: мы кратко блуждали.
Нет, мы прожили долгие жизни.
Воротились, и нас не узнали,
И не встретили в милой отчизне.
И никто не спросил о планете,
Где мы близились к юности вечной.
Пусть погибнут безумные дети
За стезей ослепительно млечной!..»

45

Опускаю другие, не столь убедительные строки, но какие тоже можно истолковать в пользу моей версии. Так что же это, друзья мои, как не гениальное изложение теории относительности? ... Той самой теории, самые начала которой Эйнштейн вынес впервые на публику в 1906 году! А почему, если можно «алгеброй гармонию поверить», то нельзя – наоборот? Но ученый-то каков! Неужели ему кто-то доставил из России малоизвестный журнал «Вопросы жизни» № 6 за 1905 г., где впервые были напечатаны эти стихи? И ему оставалось только найти формулы к постулатам, какие предвосхитил поэт? Не знаю, насколько Эйнштейн был знаком с русским языком... Физик, правда, нашей лирики не был лишен: в Штатах он весьма приятельствовал с женой скульптора Конёнкова. Но ведь это случилось много лет спустя... Насчет плагиата – это меня занесло, конечно. Но насколько близки даты! Нечто такое уже носилось в воздухе. И пересеклось! И состоялось!

Сдается мне, что и неисправимый материалист теперь ощутит, что поэзия, это не только «тайна велика есть», но и сила крылатая – невиданная и непознанная! А разве мы не вправе гордиться, что взлет в это занебесье совершил не кто-нибудь, а русский поэт. Прорыв, рядом с коим и поставить нечего...

Просто не могу закончить здесь ничем иным, как заключительными строчками из своего давнего стиха:

Поэты на Земле – пророки,
Вселенский – Александр Блок!

Июль 2005 г.



Владимир КАГАНОВ

ЖИВОЕ ВРЕМЯ, ПОЛНОЕ ЛЮБВИ

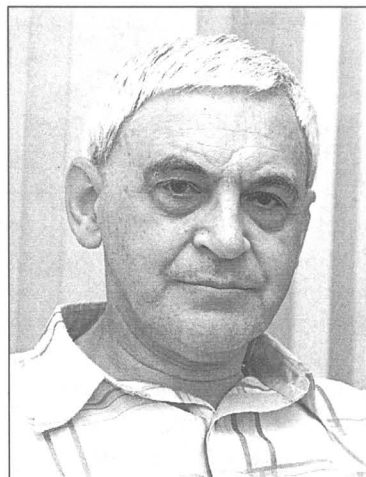
Живое время, полное любви,
И боли, и надежд, и расставаний,
Оно ушло – зови иль не зови –
Сквозь даль неразличимых расстояний.

Оно ушло – куда? – не знаю сам.
Никто его уже не остановит.
Но детски присягаю парусам,
Что ветер жизни в будущее гонит.
26 марта 2004 г.

Из текучей мозаики судеб людских,
Из поступков, и слов, и творений,
Возникает, как тайный, неведомый стих,
Новый облик иных поколений.

Нам отсюда его разглядеть не дано,
Но живёт в моем сердце вера,
Что дойдёт до кондиции, словно вино,
Человек этой новой эры.
20 марта 2004 г.

Снова осень. Дни короче.
Утром сырость и туман.
Всё длиннее будут ночи,
Всё темнее снов обман.



46

Год, по кругу возвращаясь,
Те же призраки творит,
Никогда не повторяясь,
Всё о том же говорит.
Улетели самолёты,
Вдаль умчались поезда.
Нет ни денег, ни работы,
Но горит ещё звезда.
Голубая Альфа Лиры,
Голубая, как печаль,
Всё горит над миром сирым,
Манит в голубую даль.

28 августа 2002 г.

ОКТАБРЬ

Серый, жёлтый, зелёный цвет
Расплывается в дымке тумана.
Осень шлёт прощальный привет,
Уходя в далёкие страны.

Утром лёгких снежинок рой
Покрывает озябшие листья
И кружится над головой,
Охлаждая чувства и мысли.

Всё уже позади, увы...
Летний жар, горсад, чьи-то песни.
Только шум осенней листвы...
А любовь уже не воскреснет.
16 октября 2000 г.

Каганов Владимир Львович родился в 1942 году в Кемерове. Учился в Новосибирском университете. Окончил Институт стран Азии и Африки при Московском университете. Работал в Кемеровском университете и Институте искусств и культуры.

Его стихи публиковались в альманахе «Огни Кузбасса», журнале «Литературный Кузбасс», коллективных сборниках. Автор двух книг стихов: «Ночной разговор» и «День осеннего равноденствия».

Член Союза писателей России. Живет в Кемерове.

Эта тёплая осень до конца октября –
Словно знак на прощанье, что всё было не зря.
Свежесть мокрых деревьев (неужели от слёз?),
Серебристые перья облаков и берёз...
Боли тихая скрипка, что на ощупь бредёт
По знакомым аллеям и за сердце берёт.
Городские маршруты, что сводили с ума...
Одинокая осень, за которой зима.

1 ноября 2000 г.

ЛЕПЕСТКИ ОБЛЕТЕВШЕЙ ВИШНИ

Что осталось у бедной Раневской
От вишнёвого сада? Немного:
Только белое платье, сорочка,
Ностальгия, тоска и печаль.
И ещё, что не ведал ни Чехов,
Ни потом Станиславский, – дорога
В эмиграцию с белой Россией,
В навсегда отошедшую даль.
Что с ней случилось на этой чужбине?
На бульваре, в кафе, в магазине...
Удалось ли ей выжить – и как?
Где покоится прах её ныне?
В тёплой Ницце, в холодном Берлине?
Здесь на всём – вопросительный знак.
30 августа 2003 г.

ТВОРЧЕСТВО

Памяти М. Волошина

Сны киммерийские, запах костра и полыни,
Волны морские, где пляшут далёкие звёзды,
Сотни оттенков охры, лазури и сини
Запечатлеть и назвать, словно мир только создан.
Быть соучастником в деле творенья природы,
Камни и скалы, песок и деревья озвучить,
Преодолев своим словом и кистью невзгоды,
Из глубины прорастая всё выше и круче.
11 августа 2003 г.

Вечерний круг в себя вбирает свет
И запахов уют домашний,
И там, где новостей тревожных нет,
Съедается пирог вчерашний.
Так хочется продлить покоя час,
Забуться от звериной злобы,
Что разрывает мир, терзая нас,
И через щели лезет в оба.
И если в доме музыка живёт,

И детский смех не умолкает,
Звучит часов старинных тихий ход,
И дом свой круг оберегает.

18 января 2000 г.

В потоке лиц, знакомств и отношений
Вдруг тихим колокольчиком одно
Тебя окликнет – то, что, без сомнений,
Твоей душе услышать суждено.
Неведома мне тайна этой встречи,
Но знаю по себе – уже навек
Тот образ знаком радости отмечен,
Пусть и не знает это человек.

10 сентября 2004 г.

Давай поговорим, дружок,
На птичьем, лунном языке,
И в чаще протрубит рожок,
И спустимся мы вниз, к реке.
Мы с камышом поговорим,
И с плеском волн, и с блеском дня,
И с каждым – языком своим.
Они поймут, как ты – меня,
Они поймут, как я – тебя,
И нас помогут уберечь.
Ведь если говорить, любя,
До всех доходит эта речь.

11 октября 2004 г.

Смерть человека – это гибель мира.
Все знания, весь опыт вместе с ним
Уходят не в сияние эфира,
А гибнут, превращаясь в прах и дым.
Все сказки о бессмертии – фальшивы.
И, понимая это, он творит
Картины, книги, дневники, архивы –
И после смерти с нами говорит.

23 июня 2004 г.

Ко-ко-ко – наступает Космос...
Ха-ха-ха – наступает Хаос...
Наступают – и отступают,
Разрушают – и созидают.
Так вот и строят висячий мост
Из мириадов летящих звёзд,
Из мириадов судеб людских,
Из мириадов капель морских.

24 августа 2004 г.

Дмитрий МУРЗИН

ДА, МОЙ ЛИРИЧЕСКИЙ, ТЫ НЕ ДЛЯ ДРАКИ

* * *

Весеннего дождя скорей напой мотив.
Сфальшивь! Сфальшивь! Сфальшивь!

Сфальшивь же ради Бога.
И под дождём стоят, друг друга обхватив:
Сомнительный студент, студентка-недотрога.

Забыв не обо всём, а лишь о том, что вне –
Вне этой тишины, мотива и объятий,
Им некуда идти в простуженной весне,
В помятом пиджаке и непросохшем платье.

Им нечего терять, поскольку все пути,
Боюсь сказать и сгла... и сглазить – к аналою,
Держи её, держи. Лети, мотив, лети.
Нет больше никого. Есть только эти двое.

* * *

...Идти к вокзалам трём после обеда...
Из города в другие города
Здесь каждый день уходят поезда.
Я на одном из них сейчас уеду.

Сегодня понедельник, значит, в среду
Ты спросишь: «Любишь?» Я отвечу: «Да»...

48



Ещё сто раз – и больше никогда.
Ещё сто раз – и ты за мною следом.

Я говорю столице: «Отпусти»,
Вхожу в вагон, в котором места мало,
И лезу с головой под одеяло.

А поезд всё не может отойти
С какого-нибудь третьего пути
Ужасно Ярославского вокзала.

* * *

В старом кресле старый Бунин
Новый замысел лелеет,
Говорит: мол, все там будем,
Пишет «Тёмные аллеи».

В новом маленьком рассказе
Много воздуха и солнца.
То, что он придумал в Гресе,
Нас, сегодняшних, коснётся,

Героиня роковая
Никого не пожалеет...
Бунин пишет, Бунин знает –
Есть ли свет в конце аллеи.

Мурзин Дмитрий Владимирович родился 28 апреля 1971 года в Кемерове. Отец – горный инженер, мать – учитель русского языка и литературы. После школы окончил математический факультет Кемеровского госуниверситета. Стихи начал писать в 18 лет. Долгие годы был сотрудником молодежного литературного журнала «После 12». Окончил Литературный институт под крылом Игоря Леонидовича Волгина.

Вышло три книги: «Белое тело стиха», «Ангелопад» и «Полноценный валет» совместно с Алексеем Гамзовым. Публиковался в сборниках стихов «Площадь Пушкина», «Поэты Кемеровского университета», «Дороже серебра и золота», в журналах «Москва», «День и ночь».

Живет в Кемерове.

* * *

Да, мой лирический, ты выдуман не для драки,
Кровь из носа – пошлее томатной пасты,
Руки вдоль тела висят на манер балласта,
Но – терпи, раз уж сошел с бумаги.

Мне-то как, мне тоже с тобой не сладко,
Пестовал, пестовал, и вот – ни уму ни сердцу.
И в собутельники, тем паче в единовверцы
Ты не подходишь. Зря я извёл тетрадку.

А ведь ты в ней был у меня как на ладони:
Все твои пунктики, мелочности и тайны,
Всё, что считалось забытым или случайным,
Всё, что запало в душу, пустило корни.

Список любимых книг, цитата из Ницше:
Что-то про женщину, плётку и Заратустру,
Про то, как вешался, не выдержал крюк
от люстры,
Про то, как был третьим, не оказавшись
лишним.

.....

И вспоминается, как в туалете матфака
Нос окровавленный я задираю выше,
И сквозь шум в ушах отчётливо слышу:
«Да, мой лирический, ты выдуман
не для драки...»

* * *

Так и живём – ни слова в простоте,
Казалось бы, пора устать казаться,
Поскольку, так сказать, уже не двадцать,
Поскольку всё не то, и мы не те,

Какими нас прикинул на листе
Фотобумаги девять на двенадцать
Фотограф. И опять не оправдаться,
И вот теперь в бездарности, тщете

И в страшной скуке мы стареем тут,
Не помня времена, когда любили,
Поскольку, извини, напрасный труд...

Здесь всё без вариантов – или-или:
Мы живы – нас уже похоронили;
Мы умерли, а нас ещё живут.

* * *

Если письма перебрать – эту ночь не скоротаешь.
Ночь достаточно длинна, ну а писем – не ахти.
Как на пальцах ни гадай – никогда не угадаешь –
То ли каша в голове, то ли в мыслях ассорти.

Это чувство пустоты – всё сильнее год от года,
Ожидания коктейль: я уже почти привык...
Ночь посеяла тоску, а какие будут всходы?
На рассвете – чай в стакан, карамелька под язык.

Наша молодость пока никуда не исчезает,
Суффиксы моих волос прочно держатся корней,
Леденец под языком паки чаянья растает.
Почтальон несёт письмо. Не твоё. И не ко мне.

**СТИХИ СТУДЕНТА ЛИТЕРАТУРНОГО ИНСТИТУТА,
НАПИСАННЫЕ ПО ПОВОДУ ОКОНЧАНИЯ
ЕВГЕНИЕМ ЕВТУШЕНКО ОНОГО ВУЗА**

49

Я хотел проснуться знаменитым,
Не было шести – раздразил зенки,
Но старанья – как вода сквозь сито –
Раньше всех проснулся Евтушенко.

Думал – напишу стихотворенье...
Но уже с варенья сняли пенку,
А потом сожрали и варенье,
Среди прочих был и Евтушенко.

Дело не в предлоге, не в союзе,
Все труды – ну как горох о стенку.
Думал, я учусь в приличном вузе,
Но его окончил Евтушенко.

* * *

Носитель языка, чтоб уберечь язык,
Бежит из той страны, язык которой носит.
Настали времена и взяли за кадык,
И вот родная речь молчит, пощады просит.

Молчание всегда срывается на крик,
Изъята буква «ять» де-факто и де-юре.
И в колченогий стиль, как косточка в язык,
Войдёт порок и бич – бред-аббревиатура.

По планам ГОЭЛРО, ВКП(б), ЧК
Пойди-ка разбери – что истинно, что ложно.
И, сгорбившись, идёт носитель языка –
И ноша тяжела, и бросить невозможно.

Эта женщина придёт, как зима приходит в город:
Снегом душу заметёт, и посеребрит виски,
И пальто само собой приподнимет хлипкий ворот,
Словно может защитить от ненастья и тоски.

Эта женщина придёт, для того чтоб стать
несчастной
И несчастье принести грациозно и легко.
Чтоб тебя испепелить, рассказав о свойствах
страсти,
И оставить на губах поцелуев молоко.

Эта женщина придёт, чтоб потом тебя оставить,
Чтоб уйти под снегопад и назад не посмотреть.
И останется тебе только мелочная память.
Только жить да поживать. Только губы утереть.

Что за манера жить по пустякам...
В. А. Лейкин

Моя душа, как сорванный стоп-кран,
Сиж, как идиот, в одном исподнем.
Всех натюрмортов – ложка и стакан,
Всего пейзажей – город на ладони.

Ни закурить, ни волю дать рукам,
А только ткнуться головой в подушку.
Что за манера жить по пустякам,
А умирать на полную катушку.

Всё изменилось. В смысле – тот же свет,
Но я уже не тот. И ты иная.
Не рай земной, но ощущение рая.
Музыка сфер, вращение планет.

И шаг назад, но остаётся след,
А если б жить, судьбы не разбирая,
Как будто существует жизнь вторая,
Или как будто даже первой – нет.

Кончается лето. Уже холодок
Касается сердца.
Нехитрое дело: портвейн и сырок
Помогут согреться.

Согреюсь, и кругом пойдёт голова:
Хмель пьяного метит.
На ветер беспечные брошу слова –
Никто не ответит.

Кончается лето, как в склянке духи,
Мы – как неживые.
Я, чтобы согреться, читаю стихи
Твои и чужие.

Б. Дыкову

За пятнадцать минут до начала сюжета
Автор медлит. А может, не стоит, не надо?
Они встретятся, чтоб закружиться на лето,
И сломают любовь под обвал листопада.

50

Он уже у порога, она – у порога.
Автор, что же ты медлишь, над чем ты смеёшься?
В голове – странный зуд и куски диалога:
«Ты уходишь?» – «Да нет, это ты остаёшься».

Можно всё передумать: причину отказа
Или мелочь какую – и встречи не будет.
И не будет разлуки, не будет рассказа,
Но зато и не будет двух сломанных судеб.

И не будет полёта, не будет сверхновой...
Он спокоен. Она – абсолютно спокойна.
Инженер человеческих душ, мастер слова,
Неужели они ничего не достойны?

Неужели они так и канут, и сгинут,
Не оставив кругов на поверхности Леты?
Автор хмурит чело. И листок отодвинут
За пятнадцать минут до начала сюжета...

Ты с вечности сдирала корку,
И пахли свечи апельсином,
И было сладко, кисло, горько,
Я был поэтом и мужчиной.

Так продолжалось до рассвета,
Наутро я постиг причину,
Поняв избыточность поэта:
Тебе хватило и мужчины.

ОДЕССА. ЛЕТО 1977 ГОДА

Эх, то Чёрное море, где
Я учился глаза открывать в воде,
Так и не научившись плавать...
Понимая мир едва ли на треть,
Я бросал в прилив возвращенья медь,
Не предчувствуя крах державы.

От Одессы память вернула лишь
Соль лимана и частный сектор крыши,
Да экскурсию в катакомбы.
Мы снимали комнату «для гостей»,
Пахла чем-то солёным моя постель,
На подушке синели ромбы.

Во дворе, как водится, виноград
И хозяйкин, грозный такой, халат,
Говорит: «Не ешь, он незрелый».
А я всё же ел, и кривило рот –
Не был сладок этот запретный плод,
Но зато мне было две Евы.

Евам было по одиннадцать лет,
Я когда-то помнил восемь примет,
По которым их различали...
Нет иных таких средь Надь и Лен,
Ведь они похожи, как пара колен,
Как одна сторона медали.

Из чудес вечерних, ау, смотри,
Кабачок пустой со свечой внутри,
Как провалы горят глазницы,
Полыхают ноздри, пылает пасть,
Надо мною страх обретает власть,
И потом полночи не спится.

Ночью было душно, а днём – жара,
Остальное – смутно, чай, не вчера
Было жизни седьмое лето.
Двадцать лет для памяти – всё же кряк,
Остаётся запах, уходит звук
По слепящей полоске света.

Наверно, это перебор стихов...
А. Мызников

Наверно, это перебор тоски,
И мир вчерашний рушится под ноги,
И тень моя – как тряпка на пороге –
Осталось лишь глядеть из-под руки.

С самим собой играя в поддавки,
Пить сладкий чай и думать о дороге,
О том, что время подводить итоги...
Я замолчу, не дописав строки

О том, что ты ни в чём не виновата,
Но жизнь идёт, и, значит, вопреки
Всему на свете близится расплата,
Открыта дверь, гуляют сквозняки,
Уходишь ты по ниточке каната,
Уходишь, и шаги твои легки.

Глубоко и надолго посаженные глаза.
Лоб высокий. Выше лишь русый волос.
Скажешь «Сезам», и откроется,
чтобы сказать «Сезам»,
Полость рта, и ты распознаешь голос,
Кажется, свой. С интонациями, как у отца.
В зеркале снова ищешь фамильное сходство.
Но – глаза не те. И бегающая часть лица
Начинает слезиться. Претендовать
на сиротство.

Зацветает незабудка, пялишь в прошлое глаза,
Улыбнулся, жутко, шутка, попрыгунья-стрекоза,
На ветру стоять не надо, не погаснет пламя щёк,
Плачь да плачь, моя отрада, гасни, гасни, уголёк.
Вот и всё, и сероглазый милый трюфовый король

Обманул тебя два раза, вышла боль да в ране соль.
Жмёт виски и палец жалит память – мёртвая оса,
Вышел месяц в одеяле пялить в прошлое глаза,
Воют бешено собаки, я к тому уже привык.
Не хватило мне бумаги – не поможет черновик.

Я о тебе не вспоминаю – тобою брежу.
Дожить до марта ли, до мая, а там и срежет.
И что-то в воздухе витает – вдыхаю, внемлю.
Не для меня земля сырая – сушите землю.

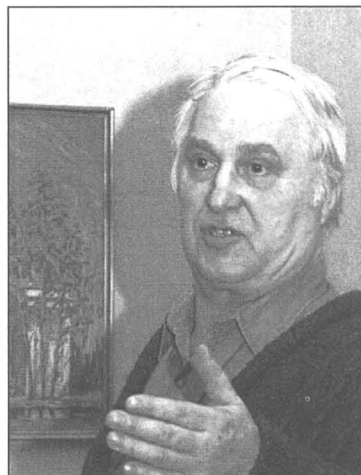
Виталий КРЁКОВ

ТРИ РАССКАЗА

ЭТЮД БАЧИНИНА

В товарищество художников я вошел, ровно в Запорожскую Сечь. Разве литератор-поэт оттолкнет от себя любителя поэтического слова? Разве художник возвысится перед ценителем прекрасного? И сейчас как хорошо утопать в живописи мастеров того времени, когда душа плачет от ощущения красоты, когда искусство и вера в Бога – одно. Тогда тем, о ком пишут, было немногим более сорока. Художественный фонд и Союз художников располагались в одном из домов по улице Дзержинского, ближе к Швейке, с большими арочными окнами. Там художникам принадлежал большой зал и пара комнат для бухгалтерии. В подвале были столярка и склад. В зале, как я помню, художники производственного цеха катали валиками плакаты, там же работали бесквартирные. Запомнил художника Артемьева, писавшего на холсте букет полевых цветов.

В этом же приюте получал денежные вознаграждения за свои полотна и знаменитый уже художник Кирчанов. В то время значительные живописные мастера и на устах звучали крупным шрифтом. Бачинин, Гордеев, Буймов, Пресняковы, Берг. А Павла Афанасьевича Чернова и его брата Ивана Афанасьевича – знаменитого балалаечника – я обнимал братским объятием. Гордеев мне представился почему-то человеком гордым. В худфонде тут же до выставок проходил показ основных картин, как у поэтов чтения по кругу стихов.



52

На Притомской набережной стоит угловой дом. Последний этаж этого дома, тоже угловой, но укороченный, был отдан художникам под мастерские. Там, в маленьких комнатках, корчилась от тесноты половина именитого товарищества. Даже летом не хватало живого солнечного света, а зимой во второй половине дня и вовсе были сумерки. Исключением были две крохотные комнатки: одна – у туалета, другая на входной площадке, отдельно от общего коридора.

Ну, конечно же, это были не монастырские кельи и обитатели – не иноки. Многие жизни обязаны своим происхождением этим гнездилищам. В комнате у туалета, бывшей одно время кирчановской кладовкой, обитал с молодой да ранней подружкой художник – архитектор города, выпускник Репинки. Потом свою подружку сплавил азотовскому немцу-инженеру, а тот увез ее на постоянное жительство в Германию. Однажды она приезжала в Кемерово уже из Канады, но на своего первого обольстителя была очень зла. Видно, германское и канадское благополучие было не каждому по нутру. С архитектора ничего не убывало в сердечном смысле. На месте бывшей, на лежанке, сидела новая – в прозрачных шальварах – достойная, по его понятиям. Художник – это не чиновник, и любовь у художника романтична, все точно на весовых амбициях. Разве что потом...

Но я увлекся. Цель моя – познакомить читателей с талантливым художником поколения победителей,

Крёков Виталий Артемьевич родился в 1946 году в Бийске. Работал на стройках. Печатался в журналах «Москва», «Наш современник», «День и ночь», «Сибирские Афины», «Сибирский тракт», «Огни Кузбасса». Автор четырёх поэтических сборников.

Член Союза писателей России. Живет в Кемерове.

рассказать о времени, в котором он творил, обогатить жизненное образование человека прекрасными деталями ушедшего во вселенские глубины времени. Это Николай Иванович Бачинин – певец стекляни ивовой, автор благородного пленэра, очарования сочной кисти.

Еще было время харьковских, ярославских художников. Среди них черным иеромонахом обозначился Суслов, художник нового поколения. Мы вежливо здороваемся. В глубине коридора звучит брань.

– Это что за шум-гам? – спрашиваю Суслова.

– Да это Бачинин с Кирчановым после вчерашнего выставкома ругаются.

Бачинин и Кирчанов – это Союз, это Олимп, но мы слышим звуки золотого простонародья.

– Ты не художник, – оскорбляет Кирчанова Бачинин. – Ты совсем барин стал. Я любыми маслами напишу и не потускнеет, а тебе, как барину, «тройку», льняное подавай.

Кирчанов в своей мастерской. Он молчит. Бачинин не унимается.

– Ты моего таракана задавил! – кричит Бачинин. – Он намного благороднее тебя и зла не делает. А тебе сбрей усы, так ты и на мужика не будешь похож. Да, да! Не будешь похож.

Это злит Кирчанова основательно.

– Я вот сейчас возьму палку, – кричит он, – и огрею тебя хорошенько за все хорошее. Ёкарный бабай!

И тут же звякает задвижкой своей мастерской-коммуналки. Бачинин подходит к его двери. Кричит:

– Ты меня не знаешь! Я тем, что в руки попадет, тем и огрею. А если ножичек подвернется, то и полосу!

Кирчанов молчит. Его молчание Бачинин принимает за капитуляцию и уходит в свою мастерскую.

Суслов жалуется, что тараканы поели левкас. Закрасил доски, уехал на неделю, приехал, а письмо словно водой смыло.

Бачинин, как церковная икона, но не апостольского разряда и не угодников и святителей. Он где-то среди блаженных, где-то из глубин рода пещерников, исполнитель самых насущных просьб. Сошелся я с ним просто. Пришел в гости к женолюбу-архитектору, а в его мастерской, бывшей кирчановской кладовке, уже комната отдыха Николая Ивановича Бачинина. Цветы герани, аквариум с мелкими рыбками. Сам Бачинин в грязной, точнее, закопченной майке, застиранных трусах.

– Проходи, – говорит.

Я сажусь на самодельное ложе – топчан – и еще раз осматриваюсь. На месте изображения пышногрудой бабы в неглиже, за пазуху которой архитектор клал нитки и иголки, висит этюд в глубоком белом багете. Я всматриваюсь в него, и сразу волной настроения окатывает меня.

Площадь этюда маленькая, а какой простор! Пара стожков на четвертинке зеленеющего отавой пойменного луга. Четвертинка холмов в уборе тайги и половина этюда – небо в тяжелых серых облаках, от которых на землю ложатся прохладные тени. Вершины холмов ясны, и в просветах облаков весенняя лазурь.

Бачинин любит поговорить. Еще больше любит, когда слушатель внимательный, а если задаешь вопросы, то это совсем хорошо. Мы вспоминаем город Омск. В нем я служил три года. Бачинин родился и провел там половину жизни. Так как я пишу стихи, он вспоминал и цитировал Леонида Мартынова. Помянули Кондратия Белова, улицы ремесленные, пороховые склады, водокачку... Бачинин хвалился, как ходил в детстве на базар подбирать ключья сена, а потом продавал охапки приезжим извозчикам. Выходило на пряники. Так он промышлял и во времена, когда учился в Омском художественном училище у Кондратия Белова. Конечно, во время беседы мы распивали бутылочку крепкого коньячного самогона, который я брал с разрешения Николая Ивановича в бывшей тогда пельменной.

Однажды, когда на месте пельменной уже было кафе-мороженое, а в моем кармане лежала книжка переводов китайских стихов, я, купив в кафе зеленого ликера, зашел в гости к Николаю Ивановичу. Мы читали стихи, вспоминали Леонида Мартынова. Бачинин пригласил меня по весне в Салтымаково на Тайдон вскопать огород и посадить картошку.

– Я тебе этюд подарю! – торжественно заявил он.

Я тут же взглянул на этюд в белом глубоком багете. Мои мысли живо вообразили его в комнатке моей избы, на Заречной.

– Я сейчас вниз спущусь по этому поводу, – заявил я Бачинину.

– Вниз-то спустись, а этюд я тебе подарю, когда ты выпустишь свою книжку. А это не этюд, это моя записная книжка. Может, что и выйдет. Эту книжечку ты оставь, я всегда любил китайскую поэзию.

До моей личной книжки стихов было ой как далеко, хотя она уже лежала на полке издательства

рукописью. А так как в ней было много слов о Боге, то поменять слова на безбожные было все равно что поменять жизнь. Я вспомнил, что не меньшей силы картонка лежала на выброс в коридоре. Я мог бы ее унести за пазухой, и никто бы и не вспомнил. На картонке был этюд: майская роща, черная пахота и зеленая низина с единственным глазком оранжевой купальницы. Я попросил Николая Ивановича: мол, подарите мне этот, чем выбрасывать.

– Ах, да! А я-то сослепу. Смотри, какой интересный мотивчик. Спасибо, что заметил, – и унес его в мастерскую.

Позже я его увидел уже оформленным в багет на стене в квартире моего знакомого писателя.

Спустя семь лет после заявления Николая Ивановича о том, что он подарит мне этюд, я подписал договор на издание моей рукописи. Стояли последние дни календарной осени. Выпал тонким слоем снег, и земля уже закалилась от первых морозов. Аванс за будущую книжку, по моим понятиям, был приличным. Плюс еще была сумма денег за подборку в коллективной книге «Дыхание земли родимой». Вся получка поместилась в одном из карманов моих брюк и упоительно бугрилась под толщей зимнего пальто. Бачинин после этюдов на Тайдоне вернулся давно в город. На Тайдоне он жил, как говорится, на подножном корме. Ловил в реке мелкую рыбешку, питался овсянкой, огородной зеленью, снытью. Писал маслом только по настроению. Николай Иванович угостил меня своим вареньем и «замазкой». Это свиное соленое сало, перекрученное с чесноком.

– У меня еды нет, у меня – жратва, – говорил он.

Про Бачинина ходило множество анекдотов. Например, действительный член польской академии художеств, будучи в гостях у Бачинина на Тайдоне, по большой нужде ходил в заросли с лопатой. Когда я спросил у Николая Ивановича, было ли это действительно так, он ответил: «В природе все должно быть стерильно». Я подарил ему книгу «Дыхание земли родимой». Он поблагодарил, но о малюсенькой картонке и речи не могло быть, пока не будет личной книги моих стихов. Бачинин пригласил меня в свою святая святых – мастерскую – и показал свое творение. Из брошенных динамиков, из радиорухлади был собран аппарат, который оживлял на грампластинке «Глорию» Вивальди. И мы, словно орлы, парили в божественных мелодиях. Я пообещал принести немецкий реквием Брамса.

И вот получены сигнальные экземпляры моей первой книги, выданы остатки гонорара. Бегу к Бачинину за этюдом. Конечно, я бы мог купить себе этюд, и не один, но когда этюд стоит месячного заработка, а живешь от получки до аванса, да и самое-то лучшее и не отдается, а хранится вроде записной книжки. Вон у Бачинина целая стена из замечательных этюдов, и поэтому мастерскую он зовет не иначе как собор. Что-то нутряное, заветное в его иконах. Вот на зеленом лугу на фоне цветущих верб дизельный трактор. Видно, по распутице, по самой грязи угораздило его попасть в эту трясины. Выбрался он из нее и сдох. Его бросили, и уже грязь проросла зеленой травкой на гусеницах и каретках, и видно, что этот богатырь никому не нужен, нет у него хозяина и нет никому до него дела. Судьба!

54

Бачинин был, как всегда, в прокопченной майке и в жиденьких от времени черных трусах. В его кандейке было чересчур тепло, но если открыть форточку, то был бы сквозняк, а если открыть дверь, то соседство немытого туалета – не совсем милое удовольствие. Я торжественно вынул книжку, поставил бутылку «Белого аиста» и закусочку, взглянул на этюд. «Теперь ты мой, голубчик, – подумал я. – Уже законно».

Бачинин захмелел после первой стопки. Вспомнили Леонида Мартынова, черт бы его побрал, Кирилла Белозерова, под горячую руку. Наконец Николай Иванович взял мою книжонку и точно дорогую купюру поднял на свет. Он по отдельным публикациям хорошо знал мою книгу, помнил мои стихи. Тут же разносил в пух и прах за оформление. Предлагал лучшие смысловые варианты. Я сидел как на самых строгих экзаменах, и этот разгоряченный вином и поэзией небольшой человек в изношенных черных трусах и прокопченной майке был родней и сладостней, вожаком всего-всего. Мы выпили коньяк. Бачинин походил на девственницу. Акт не состоялся. Этюд был редким по замыслу, картина по нему не была написана.

– Я тебе особенный, поэтический этюд напишу, когда будет у меня особое настроение, – заявил он.

За все время знакомства я никогда не видел, как работает маслом Николай Иванович. Мне казалось, что он пишет свои полотна под одеялом. Смотришь, появился холст на выставке, а где и когда писал, ему только одному и знамо. В самой мастерской стена с этюдами – собор, акустические колонки, радиодетали, по остальным плоскостям стен – афи-

ши известных фильмов: «Бродяга», «Ночи Кабирии», «Возраст любви».

Этюды Николай Иванович сам любит и ценит, потому что большие картины проданы, проедены. Да и половина этюдов раздарена, разворована. Поэтому я и смирился с мыслью, что не будет у меня никогда ничего хорошего. А я бы хотел видеть кедровый бор и зеленый луг с нашими сибирскими купальницами. Николай Иванович говорит, что не все напишешь, что видишь, что надо как узкому специалисту знать каждое в отдельности. Вот красноярцы – дураки, пишут поголовно кедры, а знать это дерево не знают. Вот и не видно их картин.

– А вы знаете душу кедра? – спрашиваю я.

– Ну, я-то, почитай, семь видов деревьев знаю и траву кое-какую могу писать. Знаю кедр, осину, березу, иву, – отвечает Бачинин.

Из разговоров с ним, из его рассказов я знаю, какой тяжелый путь прошел он к этому мастерству. Путь его – это классический пример чеховского Ваньки Жукова. Пришел в Омское художественное училище. Что ж, учись, учись бесплатно, но кормись сам. Научившись всему полезному, что могло дать Омское художественное заведение, уехал в Ленинград, в академию. И там тоже: что ж, учись, не жалко, денег не возьмем, но на еду не рассчитывай. Павел Афанасьевич Чернов там же занимался, у Иогансона. И в то время «новорусские» в академии ошивались.

– Бывало, в мастерских у них пару тараканов съешь, они и водки дадут, и до отвала накормят. А что сделаешь, если всё время дико хочется есть. Потом по ночам на ремонт трамвайных путей стал ходить, всё на хлеб да на жидкую похлебку.

В блокадном Ленинграде Николай Иванович нес службу в пожарных частях. Все познал, измерил руками и ногами бездну огня, ледяной стужи и осколочных взрывов. В Кемерово Николая Ивановича сосватал на одной из выставок Кирчанов. Поедем де Николай в Кузбасс. Там и природа на зависть, жилье будет, мастерскую добьемся. Свою де мужицкую симпатию в искусстве строить будем, а не блистательней блистательного, как в Москве, добиваться.

Приехал после академии и Чернов Павел Афанасьевич. И он, хоть и талантливая, хоть и светлая душа, а тоже не без гордости. Бывало, станут спорить. Павел Афанасьевич обзовет Бачинина босяком, недоучкой, а Бачинин ему тут же:

– А ты переучка! Своего-то мало!

В произведениях Бачинина красота сибирской природы и наше горькое родное бытие, которое так далеко от Москвы. Если в картине «Таежное озеро» чистая безлюдная красота нетронутой природы, то «Весна в Кузбассе» – это пересеченная местность, поросшая тальником, терриконы шахт, избы с огородами для скудного пропитания. Помню случай. Приехал откуда-то из Таштагола мужчина со свертком, спрашивает Бачинина. Конечно, Бачинин в мастерской. Мужчина говорит Николаю Ивановичу, что вот картина под вашей подписью, нашел ее, когда грузил мусор после ремонта учреждения. Подумал – хорошая вещь! Свернул полотно и по возможности привез автору. Незнакомец ушел, а Бачинин, прослезившись, собрался реставрировать несчастное произведение. Вошел Суслов. Давай, говорит, я ее от грязи избавлю.

55

– Что ты, что ты! – замахал руками Николай Иванович. – Посмотри какая фактура! Я по ней и напишу.

Так и была спасена картина «Весна на таежном полустанке», на которой было изображено много воды, тальников, таежных чащ, рельсы, составы, локомотивы и поле, засаженное картошкой.

И если у Чернова и Зевакина добротные дома, блестящие под дождем вишневой краской железных крыш, крепкие срубы хозяйственных построек, живность, прочность и достаток, то у Бачинина – городская избушка с небольшим огородиком для лука и редиса, голубые ставни, обрамляющие окна, за стеклами которых помидорная рассада и цветы герани. Все беднее бедного, на чем и держится человеческая душа. Я жил в этой жизни, в которой после войны рождались и умирали люди. Умирали в молодом возрасте и отвоевавшие солдаты, труженики тыла, и всегда скоропостижно. Еда-то была скудная, здоровье подорванное. Так и говорили: жизнь за горами, а смерть за плечами.

Однажды я пригласил Николая Ивановича сходить на утреннюю литургию в Кафедральный собор. Он был освящен и набирал жизненную силу.

– Какой собор?! Я комсомолец. Я им родился и им останусь...

– Но там ведь настоящее пение и, кстати, роспись твоего соседа Александра Работнова.

Бачинин отмахнулся.

– Это не жизнь! Не люблю поповщину. Как бы хорошо ни было, все равно поповщина. Не наше!

Да! Всю юность Бачинина грызла постоянно ед-

РЕКА ИОРДАН ПОХОДИЛА НА ИСКИТИМКУ

кая бедность, и поэтому все серебряное и золотое было чуждо его духу. Последнее написанное у Николая Ивановича, что я увидел в мастерской, было небольшое полотно с живым букетом цветущей вербы на кухонном столе и весной за окном, где единственный переплет, словно католический крест. У этой работы Николай Иванович походил на жениха. Работа была выставлена на продажу для помощи сиротскому делу.

Об этом этюде я Бачинину уже и намекал, после того как увидел маленькую катастрофу на турбазе «Юность». Там один пятиэтажный корпус разморозило. Ремонтировать не стали, хватало главного. Санная трасса, рассчитанная на большое посещение приезжих, была забракована, поэтому от недофинансирования корпус разрушался вовсю. Износилась мягкая кровля, потекла крыша, промерзли насквозь стены зимой, а летом пошли плесенью. В этом корпусе по гостиничным номерам пропадала бесхозно не одна сотня живописных работ на картоне и на холсте. Перед перестройкой все списали: и кровати, и картины – все выбросили. Тут, если не поимей совести, можно было ох как озолотиться. А так, сколько стекляни ивовой пропало!

Вспоминаю Бачинина последнего времени. Я читал ему свои стихи, подарил свою книгу «Цветы картофельных полей». Он торопил меня в Союз писателей. Вспоминали Александра Николаевича Кирчанова.

– Эх, – говорил Бачинин, – зачем он с этой мастерской связался? Зачем на ней последнее здоровье угроблял? Так бы жили рядом друг с дружкой по-стариковски. А теперь что? Хожу как сирота. – И он заплакал.

Я стал утешать. Говорю, что тут, допустим, не его личное своеволие, но по замыслу вселенского организма устроилось, вспомнив бесприютность и гибель произведений на турбазе «Юность».

– Ну-ка, где у меня ключики от собора? – сказал Бачинин. – Ах, вот они.

Из комнаты отдыха мы зашли в мастерскую. Он снял мой любимый этюд, раздел его и отдал мне заветную картонку, подписав ее. Через некоторое время заболел, а летом умер и был похоронен на кладбище за откормсовхозом. Всегда носивший только небольшие усы, он лежал в гробу старообрядцем с бородой цыганского барона. Видно, всегда понимал, что Господь не очень-то жалует бритоусов.

56

В моем детстве, когда в сколоченной из горбылей засыпке, крытой камышом, кое-где просвечивали дневным светом щели и застывала к утру вода в ведре, зимы казались очень долгими. Я начинал свой путь в Сухореченской начальной школе, и у меня было два бога: один государственный, а другой пасхальный.

Государственный бог был абсолютным победителем, носил белый китель с золотыми звездами героя, раздавал малоимущим раз в месяц сторулевые пособия и любил красный цвет от красных незакатных зорь до пионерских галстуков. Но вскоре он как человек умер, и мы в день его памяти нашивали на флаги и галстуки черные каемки траура. Государственного бога любили и боялись. Даже в нашем маленьком поселке был его потайной человек: глаза и уши. И если кто-то говорил, что вождь видит страну насквозь, то это было для меня абсолютной правдой.

За пасхальным богом были покров, Никола зимний, рождество, крещение, великий пост, вербное воскресенье, пасха, трица – земля травой покроеется. Скоро миленький приедет, сердце успокоится.

К пасхе я готовился, начиная с покрова. И как бы бедно мы не жили, но мать держала десяток кур и петуха. Передо мной стояла задача хорошо накормить птиц. Я при удобном случае собирал зерно: овес, ячмень, пшеницу. С карманным фонариком я ползал между каменных столбиков, поддерживающих зерновой склад, и там находил кучки зерна, просыпавшегося в недосмотренные щели. Я собирал зерно в мешочек, кормил кур и радовался тому, что гребешки у них красные.

Радовало первое снесенное яйцо. Мы открывали счет. Куры жили под столом, на котором стояли ведра с водой и домашняя посуда. Я вставал в шесть утра, умывался холодной водой с мылом, а потом пел песни, которые знал во множестве. И какая бы ни была погода, в свободное от занятий время ходил кататься на лыжах. А то с соседкой ходил на «гору» в лог, поросший тонкими березками и тальником. И, смотришь, пара палок – хорошее подспорье на растопку, хотя, конечно, и топор тупой, и соскакивает с топорща.

Уголь привозили в плетеных коробах с шахты «Ягуновская». Он был не просто плохой, а совсем

скверный, и когда тлел в топке, мы с сестрой сидели прямо на чугунной плите и читали интересную книжку. Я и не чувствовал, что меня окружает холодное, убогое, сирое. Правда, самое-самое постное – это тонкие, как картон, лепешки-тошнотики. Готовили их из перезимовавшей на полях картошки, хотя в погребках у всех водилось в достаточном количестве и картошки, и брюквы. Но, наверное, полная бесплатность и единственная безнаказанность этого промысла сделали лепешки-тошнотики ритуальной едой. Лепешки пахли самодельными, как после долгого пользования, стельками. И, в моем понимании ада, самые великие грешники, миллионеры и миллиардеры, после нежной жизни, изобилия и вкусовостей жуют под грозным и не прощающим Небом это единственное пропитание.

Но наступало светлое Христово воскресенье. В субботу, где-то после пяти часов, мать ставила опару на сдобное тесто. После священнодействовала – пекла сдобу с повидлом и изюмом, заводила в единственной глубокой сковороде яичницу с молоком. На молоке варила какао с сахаром. Самым главным было приготовление крашенных яиц, которые варили в шелухе красного лука. После варки цвет их откровенно напоминал кровь Христову.

В субботу вечером мать давала понемногу пробоовать яства, а уже утром я снова мог всюду петь песни, ходил смотреть, как играет радостное солнце, пил какао, угощался сдобой, кушал яйца. До обеда мы – дети – обменивались яйцами, ходили по Нахаловке, славил Христу, и взрослые с радостью подавали угощение. В некоторых домах молились на «ледяные» иконы. А свечей восковых было в обрез, и масла, чем затеплить лампаду. Какая уж тут полиграфия в гонимых церквях, какое иконное наследие в нищих поселках, где весь личный скот был переписан, и налоги брались молоком и мясом, а покосы давались в последнюю очередь, уже после государственной косовицы трав, что останется. Церковь была, по-моему, единственной в городе, деревенная, маленькая, похожая больше на жилой дом.

По Казачьему тракту часто ходили молеельщики-богомольцы. Старушки и старцы с заплечными сидорами и на весь свой рост черемуховыми палками. Шли из Новой деревни, Маручака, со станции Плотниково, Сыромолотного, Красного Ключа. Так как наша изба была самая низкая и бедная, то заходили к нам на ночлег, чтобы утром мирными поля-

ми прийти на раннюю обедню в Божий храм. Из рассказов богомольцев я уже знал, что Иисус Христос крестился в реке Иордан и за это пострадал крестивший его Иоанн Креститель, что правители измывались над ним как хотели, что крест нес Симон Киреянин, что Христос, когда его вели на смертную Голгофу, едва передвигался сам, истощенный страданием и голодом.

Богомолы шли на большие церковные праздники да на исповедь и причастие, и поэтому из еды у них были лук, огурцы, хлеб домашней выпечки, так как в тех местах, откуда они шли, были колхозы.

И конечно же, библейские предания я разворачивал мысленно на ландшафтах родной сибирской природы. Подъем на гриву, по которой проходил казачий тракт, сравнивал с Голгофой, а геодезический маяк превращался в знак вселенского страдания. Здесь формировался процесс образного мировоззрения. Когда я в первый раз посетил церковь, то убранство ее сравнил с живыми комнатными цветами в зимний день, когда за окном снег, стужа, а в стороне стоит фикус, цветет бегония, рядом геранька. Вот она радость. Но приходит вселенская весна и на ее просторах тысячи верб, миллионы цветов, и все любимо, пронзительно. Вот так и мы должны жить от церкви до царства Божия.

Все странники и странницы, отметившиеся ночлегом в нашей засыпухе, говорили о необходимости крещения. Река Иордан походила на речку Искитимку, и мы с товарищем решили покрестить друг друга в ее светлых водах. На горизонте, где стоял геодезический маяк и Казачий тракт смыкался с небом, колебались волны горячего воздуха. По пыльному проселку мы дошли до маяка. Открылись просторы полей с бело-зелеными березовыми рощами. До города было далеко. Босиком по горячей пыли с непокрытой головой, в одних трусах, я с товарищем шел креститься в речку Искитимку. Но там, где смыкались два массива берез, образуя коридор, где проходила избитая рытвинами дорога, в лес вошли двое в красных рубашках с сумками. Мысль дала знать о булатных ножах.

– А если в пожарном чане, что стоит на зверосушилке, искупаться? – предложил я своему товарищу.

Он моментально согласился, и мы во весь дух побежали в спасительную сторону. Время, как и всегда, было нехорошее. Много лихих людей болталось после всеобщей амнистии. Ведь вокруг города столько небольших поселков с мелким ско-

том, домашней птицей, молококанками. Народ после выдачи зарплаты в город пешком идет.

В этих же кустах, откуда мы с товарищем дали тёку, спустя неделю нашли убитого мужчину-мотоциклиста. Человека убили, сели на мотоцикл, на котором он ехал, – и были таковы. Убитый нашелся по запаху, а тех душегубов нашли по брошенному мотоциклу, а может быть, и по красным рубашкам. Событие это потрясло окрестные поселки. Для нас, мальчишек, и кусты, и ягодники были словно заминированы. Мир кишел убийцами. Происходило какое-то заиливание духа, отравление.

Но лето есть лето. И клубничники были полны ягод, душистых и сладких, хотя постоянно гонял объездчик, чтобы не топтали травостой. И кончина человека была как-то не совсем тяжкая. Кругом тепло, небо до самого рая распахнуто. Старых людей везут на телегах, усыпав полевыми цветами. Мужиков, которые сгорели от самогона, тоже на телегах возили, какдохлых телят или окочурившихся от чумки свиней на скотомогильник. Ну, слезно поплачет о горемыке зазнобушка: вроде, возьми меня под свое крылышко. И уйдут живые, и соберется гроза, и прольет животворящий дождь, и загорится семицветом влажная радуга.

Тут для меня ничего библейского не было. Библейское для меня происходило зимой, когда земля как кость, а на улице трескучий мороз. Люди гибли нелепо. Допустим, через замерзший пруд устроен конный проезд напрямую. А вот и трактор идет гусеничный с внушительными санями. Ему бы по плотине, там безопасно, а он напрямую, а там глубина, питаемая живыми ключами. Вот снова типичный случай. Прогребли по снежной целине путь шириною с тракторную лопату, прогребли, а разъездов не оставили. Едет человек на подводе, навстречу трактор. Человек на подводе лепится ближе к барьеру, загоняет лошадь в сугроб. Лошадь нервная, кошевка набекрень. Подходит трактор на полном ходу и, видно, от сотрясения, кошевка сваливается под трактор, ровно под топор палача.

На первых лошадях да в кошевках ездили люди, что-то значимые в этой жизни, и значимость их усиливала эту трагедию. Так погиб председатель ОРСа. Переступив порог страха и неизвестности, мы с товарищем накануне похорон ходили смотреть жертву трагедии. Жертва лежала в гробу на белом коленкоре в бумажных цветах с красными знаками беды. Горели тонкие свечи. В окончательную смерть

я не верил. Мне казалось, что человек очень-очень беспомощен, и где-то, замерев до полной неподвижности, тоже тихо-тихо переживает. Вроде, надо же, так вот случилось. И дома, перед сном, я переживал все виденное, а по громкоговорителю звучал вальс Хачатуряна из драмы «Маскарад».

На похороны приходит много народа. И какой бы ни был длинный путь, и какой бы ни стоял мороз, покойника до кладбища несли на плечах. Старушки пушкинского века пели духовные стихи, словно античные сирены. И я замечаю, что ради этого пения я хожу и переживаю этот грозный погребальный обряд, где впереди похоронной процессии сельский силач, словно Симон Киреянин, несет большой голгофский крест. И в этом была школа жизни. Я чувствовал, что дух становится тверже и душа обретает рудименты крыльев.

58

СЕРГИЕВ ПОСАД

В русском православии быть тёпленьким равно что попущение слобоумному. Православная вера – это крещенская прорубь. Яснее ясного, что из огненной бани легче в прорубь войти, чем из тёпленькой постельки в те же воды нырнуть. Тёпленький хочет особый почёт заработать, грамотку, так сказать, за то, что прочёл молитву, подал нищему, отказался от мясного, поставил в красном углу икону. Вот и цветёт садик золотистыми вербами в душе тёпленького. Дай Бог ему здоровья, если он православный! Будут ему и местечко, и золотистые вербы – много ли православному надо, если он не видел ни апельсиновых рощ, ни винограда.

С детства и юности я был среди сожителей Божьих: людей обиженных, страдающих от вечной нужды, от непосильной работы, которая едва одевала и кормила. Жил в беспредельной пустыне с чуточными знаками на церковность, вернее, намёка на слово, что всё, что нас окружает, есть Бог. Собранный букет полевых цветов, пусть даже не самый яркий, пусть даже из жёлтых и зелёных соцветий в стакане с водой на голом столе, символизировал о большом.

Я жил среди людей, которые редко крестились и не ходили в церковь (а храмов и не было), называли себя православными. Помню мать и ее подруг, обожаемых ими мужчин, конечно же, фронтовиков, собиравшихся на главные праздники страны: День революции – седьмого ноября и Первое мая. Под

капусту и студень они, осушив по гранёному стакану всклень злой водки, как смертную чашу, говорили, глядя на нас, отроков: «Вот не станет нас, сдохнем, кто за вас молиться будет?». Это были сожители Божьи.

И если божий свет пробивался сквозь щель обшивки моей избы как благодать грешнику в узилищах преисподней, как прощение нищему, то, очутившись в Троице-Сергиевой лавре, похोдив по Сергиеву Посаду, мне показалось, что я нахожусь на другой планете. И небосвод-то, проросший золотыми куполами соборов и малыми храмами, и кругом-то всё сплошь воскрешение. Зелень плакучих ив, и сверкание вод, и женщины-молитвенницы – все в чёрном. Сплошная любовь. Тонкие прозрачные святые тени. Такие в Сибири разве что у попов встречаются.

И ещё казалось мне, что у сергиевопосадских людей вечный пост, что сыромятную упряжь только по большим праздникам на вермишель крошат. Но и это не подвиг. Уже в первом столетии от Рождества Христова такая практика всюду существовала. Одним словом, православие – это тонкая планетарная культура одного сюжета, в котором большой ум и молитвенная сердечность.

В строениях соборов, больших и малых, в зданиях служб – везде сдержанность, чувственный элемент домашнего очага, излучающего духовное тепло и свет каждому. Ранний храм ближе к простому христианину. Ранний храм – это судьбинушка мученическая. Войдёшь вовнутрь, всюду сумрак, и только в куполе барабана узкие щели, просветы божьи.

Ставь свечу, оглашенный, тепли лампаду – и от страстной молитвы оживут на прокопчённых досках постные лица, худенькие тела великих спутников. Худенький – не морда. Худенькие легко входят в сознание разумеющего, становятся сомышленниками.

В соборе вдоль стен лязгающие дубовые места, как в самом дешёвом кинотеатре. И тут же два-три надгробия не выше сидений, сотворённых из известковых смесей на могилах угодников. Погребённому в храме угоднику, с одной стороны, есть почёт, некоторое отличие от простых верующих, а с другой стороны – полнейшее углубление под стопы грешников, постоянное поправление.

Внутри церковного храма – молитвы, покаяние, познание истины, учительные беседы, слёзы, жизнь наша беспросветная. А снаружи: вот он – облик стремящегося к Богу – Белый собор с золотыми главами под синью небесной, путь в царствие Божие, а может быть, и есть царство Божие при жизни нашей. И кинутся жаждущие бессмертия к райским вратам. Только праведник будет лежать под могильной плитой в осадках греховных, пока посланник Божий не освободит его.

Понимай, тёпленький!

В городе Сергиеве Посаде я легко приобретаю многовековую судьбу. Сама по себе лавра – это предприятие активное, вровень почти со сталелитейными гигантами. Сколько колокольного благовеста! Сколько молитв! Сколько духовных знаков!

И вижу я будничный день. Я в лавре подрядился на ремонт печей. Сегодня предстоит работа на крыше храма-трапезной, отремонтировать оголовья печных труб. Крыша – выше крепостной стены, а стена в десять саженей будет. Пока хлебал горячие щи с подручными послушниками, монахи навели подмости, на пеньковых канатах поднимают в лотках раствор. Я в лаптях, рогожном фартуке лезу по крутому деревянному скату. Для крепости духа поём псалмы. С крыши видно, как слободские бабы идут за ключевой водой в часовню над святым родником, как во дворе лавры монахи с узлами усаживаются по обе стороны линейки. Видать, в Гефсиманскую пустынь поехали.

Но пора в настоящее. Осень четвёртого года двадцать первого столетия. Проходя мимо светских учреждений и места производств, мне кажется, что работают тут люди, работают коллективом, а потом кто-нибудь скажет: «Ну что? Давайте помолимся». И молятся, погружаются в воды Господни. В нижней части Сергиева Посада много ручьёв, речушек, мосточки, переходы, зелень луговин.

На чистейшем газоне памятник погибшим землякам в годы лихолетья. Запечатлены письменами фамилии да символическими слепками рваного железа – как нарушенный мир.

Осенняя свежесть. Акварельная чернота ивовых, что одиночно и группами растут по берегам пруда, вдоль русла речушек. Зелень ещё стойкая. У меня дома часто бывает такое: подует ветер, ударит мороз, и после гоняет гремящую зелень по чёрному льду.

Иду плотиной. Её хрупкий архитектурный облик держит зеркало большого пруда. Пруд старый, со свободным доступом к воде в любой точке. Берега застроены основательными особняками в два этажа. Нижний – это подклет, кирпичное узорочье, верхний – теремное деревянное кружево. Улицы у пруда – на один порядок и называются: Левопрудная и Правопрудная. Середина пруда голубая, оттого что воды отражают небо от чистых глубин, захватывая в двойники пряничные строения с кронами кленовых, дубовых, липовых особей, завораживающих пурпурной, лимонной, ореховой лепниной листьев, осыпающихся в стихии времени листопадом. В плотине под бетонным проезжим полотном – горизонтальная щель и лоток, собирающий прозрачные гребни вод в упругий ручей.

От плотины иду вверх взвозом. В российских городах (с историей), состоящих из верхней и нижней частей, всегда есть взвоз, где по окончании подъёма стоит храм. Иду к храму вдоль ограды монастырского сада. Вернее, это не ограда, а целые укрепления из хорошо отформованного и отождённого красного кирпича. Возникает вопрос: от кого? зачем? в какое время построено? Стена с архитектурными финтифлюшками, без следов времени: свеженькая, гладкая. От созерцания её мысли летят далеко в Китай. Самые грозные тюрьмы, самые сверхсекретные производства не огораживались так бдительно, как этот монастырский сад, где всего-то была танцплощадка, комната смеха, гигантские шаги да летний кинотеатр.

Взвозом, проулками взбираюсь на возвышенность. На возвышенности – обилие лип, вётел, вязов, дубов, ясеней. Не бедно! Храм с высокой колокольней во главе и большое церковное займище с редкими могилами. Над могилами кресты распятий из тёмного мрамора. По подиумам – письма: «Отлетела...», «Представился...», «Скончался...» и чёрные высокие стволы с осыпающейся на суглинки мелкой листвой. Храм трёхпрестольный. У каждого престола – группа верующих, обилие горящих свечей, священное действо вовсю. Я выхожу из храма и наслаждаюсь далями духовной истории православия. И как-то странно становится, когда люди, надо же, говорят по-русски, когда в торце служебного барака пара открытых дверей и в глубинных

комнатах – сверкающая белая облицовка и унитазы, а по фронту барака – окна, двери, крылечки с палисадниками, в которых обилие роз и георгинов.

Я бродил по улицам Сергиева Посада, где дома добротные, с займищами вековых деревьев, и ду- мал, и печалился о том, что это город моего подлинного рождения, а я не жил в нём. Что здесь должны были пройти моя молодость и зрелый возраст, пусть даже где-нибудь на окраине, в самом захудалом углу. И ведь переселись в него сейчас – всего не наверстаешь, как после летаргического сна.

Жизнь я прожил в городе, где стремительная река со скальными возвышенностями и кедровыми рощами. Где дома частного сектора, построенные в начале пятидесятих годов двадцатого века, бодренькие в юности, сморщились и постарели, а начинателей, строителей этих гнёзд уже снесли в гробах, обитых красным ситцем и саржей, под плохую музыку духовых квартетов с барабаном, на кладбище, под красные звёзды на памятниках.

Я жил в городе с прекрасным центром и набережной, где театр драмы был внушительнее Парфенона и актёры были словно первосвященники. Они жили вблизи своего храма, чтобы не затеряться после вечернего спектакля, чтоб не помяло лица хулиганье. Жили в многокомнатных квартирах равно партийным начальникам и угольным генералам. В здании театра оперетты, немного уступающем театру драмы, тоже работали артисты, и самые ведущие жили где-то за Швейкой, в трёх-двухкомнатных хрущёвках.

Я жил в городе, где в большом, замечательном по архитектуре здании филармонии слушал фуги Баха в органном исполнении и ещё «Болеро» Равеля, произведения Моцарта, «Глорию» Вивальди, исполняемую хором мальчиков. Но здесь, в Сергиевом Посаде, в приходской церквушке на лугах, потрясала многоголосая молитвенная буроба, сладкозвучная крупа молящихся прихожан.

Ну ладно, что горевать. Где жил, там и доживать. Но есть надежда не на сожительство, а вера в то, что приду на суд Божий, встретят меня равноапостольные и скажут: «Ну что, душа грешная, морда замазученная, исполняем твоё желание. Иди! Слушай! Разглядывай свою любовь!»

Иван **МОРДОВИН**

ЧУВСТВУЮ ВОЛНЕНИЕ ВЕТВЕЙ

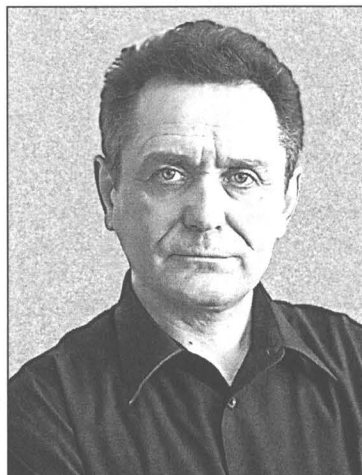
НАЧАЛО МАРТА

Начало марта. Солнце светит,
Как будто нам с тобою льстит.
Поэт какой-нибудь заметит,
Что речка подо льдом блестит,

Так хороши твои подружки
И ослепительны холмы,
Что на щеках твоих веснушки
Вот-вот проснутся от зимы.

Тают тени в сумраке вечернем,
Тонут звуки в тишине ночей.
Всё ж нет-нет, а вспомнится в деревне
Дом бревенчатый, настой
Лета сенокосного, усталость,
Звёзд сияние над головой...
И о чём нам только не мечталось
В той стране, где был ты молодой,
Неподкупный, сильный и красивый,
С правильной походкою прямой!..

Та деревня заросла крапивой,
В той стране под яркою звездой.



Я доброте учился у природы
И чувствую волнение ветвей.
Мне горло перехватывают воды
Из родников на родине моей.

Меня пьянят калина и крушина,
И в доме, что стоит среди села,
На вырост мне рубахи бабка шила,
Чтобы душа просторнее росла.

В СРОСТКАХ

Полночь. Думаю в тишине
О Василии Шукшине.

Над Катунью – гора Пикет
Бережёт наслоения лет.

Сердце родины чувствовал он,
Приходя сюда на поклон.

Голоса непокорных вод
Наполняют окрест небосвод.

Стон ли, скрежет, хрустальный смех?
Всё улавливал без помех.

61

Иван Федорович Мордовин родился 11 сентября 1948 года в селе Колыванском Павловского района Алтайского края. Выпускник Кемеровского медицинского института и Литературного института имени М. Горького. Работает преподавателем в Барнаульском медицинском колледже.

Его стихотворения публиковались в краевой, региональной, центральной периодике, коллективных сборниках и антологиях. Он автор трёх поэтических книг, дипломант Всесоюзного конкурса поэтов-верлибристов имени В. Хлебникова (1988 г.), лауреат премии имени Н. М. Черкасова (2005 г.). Член Союза писателей России. Живёт в Барнауле.

Словно в храме святом дыша,
Здесь его прозревала душа.

Сам с собою один на один
Слушал гул подземных глубин.

Молний видел кровавый блеск,
Воли разинской яркий всплеск.

Вдовьи слезы седых матерей,
Потрясения нынешних дней.

Стаи чёрного воронья
И Россию в плену вранья!

Сквозь крошечную темноту
Веря все-таки в доброту!

ПОРТРЕТ

В. Ф. Садовникову

...И вот художник кисть берёт
Небрежно мой портрет малюет.
И краски кисть его целует,
А, может быть, наоборот.

Он в мире красочном живёт,
С небесной радугой общаясь,
И ничему не удивляясь,
Он видит мир наоборот.

И струн цветных не оборвёт,
Он создает, не разрушает,
Задачи сложные решает,
А, может быть, наоборот.

Когда на тысячу лет вперёд
Лик на холсте вдруг проступает,
Он этого не понимает,
Он видит мир наоборот.

И всё же холст его сгниёт,
Пусть в вечность кисточки макает!
Он ничего не понимает...
А, может быть, наоборот.

Я женщине измены не прощу –
Горячего, мятущегося тела!..
Пусть жизнью несуразной отомщу,
Хотя по духу вовсе не Отелло.

Раскаянья отвергну словеса.
Слёз не приму
И заверений истых.
Иные буду слушать голоса,
Ожившие в пещерах сердца мгlistых.

Я не прощу распутства краткий миг –
Предательства любви моей и веры.
И даже став согбенным, как старик,
Не буду знать в своих проклятиях меры.

И если только не сойду с ума –
Единственной ей поклоняться буду,
Той женщине...
Да вот она сама
Идёт, не уступающая чуду!

СОН

Видишь, звезда ледяная
Над изголовьем висит.
Крикнешь – равнина пустая
В гулком безмолвии спит.

Не понимаю, какое
Время природы сейчас.
Разве хотел я покоя
Разве на скупость горазд?

Разве был сделан не мною
Дерзкий под звёзды бросок?
В непостижимом покое
Запад лежит и Восток.

Кости с камнями смешались,
Снежные горы глядят
В пустошь,
Где люди смеялись,
Где не поют, не грустят.

В этом не я ли повинен –
Мальчик, лукавый старик?
В чёрной оплывшей равнине
Мой задыхается крик.

В каждом желании малом,
Сам для себя господин, –
Как вымирающий мамонт,
И на планете один.

Что же такое случилось,
Что это стало со мной?
Только что солнце лучилось,
Ветер гулял над волной!

Это какая же сила
Стёрла улыбку с лица,
Словно лавиною смыла
Дом и щенка у крыльца?

КАЧЕЛИ

Открывались бескрайние дали,
И врывалась в глаза синева.
В поднебесье качели взлетали,
Не кружилась ничуть голова.

Над землёй замирали качели
В полсекунде от мёртвой петли...
Помнишь,
Как мы смеяться умели,
Всё отдать друг за друга могли?

Отчего же теперь в самом деле
Вдруг нахмурим тяжёлые лбы

И в раздумье глядим на качели,
Как на глупую шутку судьбы?

* * *

О. Д.

Эдемский сад не для меня,
И вздрагиванье нервной скрипки
Среди вселенского огня
Сквозь изморозь твоей улыбки.

Теряют розы лепестки,
И догорают георгины.
Шаги свободны и легки.
В просвет сентябрьской паутины.

Нам всем придётся уходить
В свой срок – не рано и не поздно,
Да что об этом говорить,
Нахмунив брови несерьёзно...

Не будем думать о плохом,
А будем – только о хорошем
Под первым ласковым снежком
И под колючею порошей.



Валерий ТИХОНОВ

Я БЕРЕГА СОЕДИНИЛ СОБОЮ

Вот и вымела осень с дороги
кутерьму разноцветной листвы.

...Мне б тогда не стоять на пороге
и не жать к косяку головы,
не жалеть сиротливые клёны...

Лишь сейчас мне октябрь подсказал,
что не лето, а поезд зелёный
опустевший покинул вокзал!

Птицы скорые ночью кричали.
И луна, пробираясь во мгле,
изогнулась прощально-печально –
как ладонь на оконном стекле.

Оксане Тихоновой

Всё обещало стать собою:
рекою – речка,
роща – лесом,
а всплеск подземного прибоя –
родник
под берегом отвесным –
звал нас к себе,
звал причаститься,
звал отраженьем уколотся,

64



и,
освежая наши лица,
всё ждал сравнения с колодцем.
Мечтала стать большой дорогой
тропинка к хлипкому мосточку...
Я первый раз увидел строгой
жену –
она хотела дочку.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Вечер выдохом ветра живёт.
День на запад уходит.
Ночь восточную песню поёт
о весенней погоде.

Поздний март обретает права –
он с зимою повздорил.
И суровые тают слова
на сибирском просторе.

Кто услышит мелодии слов,
пусть они и не в моде,
тот запеть свою песню готов
о весенней погоде.

Словно первые чувства пришли
или первые сказки...
Растревожат пространство земли
звуки, запахи, краски...

Валерий Евгеньевич Тихонов родился 4 августа 1961 года. Отслужил в армии, работал трактористом, электросварщиком, арматурщиком, журналистом. Выпускник филфака Барнаульского педагогического института. Три года работал в школе учителем русского языка и литературы. Участник всероссийских литературных совещаний и конференций. С 1993 года ведёт активную издательскую деятельность.

Автор трёх поэтических и трёх публицистических книг, изданных в Барнауле. Лауреат премии Демидовского фонда («Общественная деятельность», 1995 г.) и премии имени В. М. Шукшина (2003 г.). Член Союза писателей России. Живёт в Барнауле.

Я луга не вижу.
Но вижу коней на лугу.
Чем дальше, тем ближе –
я даже узнать их могу.

Они молчаливы.
Копыта в траве не стучат.
Плакучие ивы
у речки вечерней молчат...

Круг памяти ниже.
Летать я уже не могу.
Я луга не вижу.
Но вижу коней на лугу.

Разденутся леса пред зеркалами глаз.
Оденутся потом, когда они устанут.
Свершается обряд ничуть не напоказ,
а просто потому... Не знаю. В этом тайна.

Смотри, не прозевай, – теряется наряд.
Смотри, не прогадай, – на золото у ног.
За августом идут итоги сентября,
который от росы холодной занемог.

Но будет хорошо в дни бабьего тепла.
Покажется одним, что вновь вернулось лето.
И кто-то загрустит, мол, молодость прошла
(а, впрочем, виноват, банально чувство это)...

Глазами обнимать, в ладонях удерживать
пусть всем достанет сил, и чувств,
и междометий!
Торжественно леса уходят в зиму спать...
Кончается листок, а я и не заметил.

Сплошь под облаками – без границ –
в тающем порядке стаи птиц.
А с холмов посмотришь –
и село
поднимает осень на крыло.

Эх, если крикнуть у реки,
берега хватает за грудки.
Лишь в лесу желтеющем
без слов
паучки рыбачат меж стволов.

На ветру остыла красота –
выказала осень все цвета.
Скоро на постель
во всю Сибирь
сядет полыхающий снегирь.

До весны морозы и снега,
а потом уж лето и стога...
Вновь под облаками –
без границ –
в тающем порядке стаи птиц...

СВЕТ ЛЮБВИ

Ночью небо, самовозгораясь,
тлеет, что оставленный костёр.
Месяц, одиноко озираясь,
не рога, а руки к нам простёр.
Весь размах виниловой пластинки
онемел над осью бытия,
потому дороги и тропинки
не видны – скрутились, что змея.
Как не знать приливов и отливов,
что толкают бездну и пески,
если сердце планетарной сливой
гонит кровь в запястья и виски?!
И летит полярною совою
чувство на окаменевший лик,
чтобы там – за снегом и листвою –
молодость почувствовал старик.
Потому востока розовеет
лепесток и к западу летит,
что любовь преграды не имеет
и что жизнь никто не запретит.

Всё большей жертвы требуют года,
хотя уже у сил пора исхода –
так льдинами тиранится вода,
когда она во власти ледохода...

Воспоминанья – как вода в песок.
Но каждый день был чем-то очень важен.
...Спокойно! Надо плыть наискосок.
Ориентир – знакомые пейзажи.

В минуты напряженья говорю
себе о том, что надо быть отважным,
что я не просто реку покорю,
а вынесет меня течение дважды.

Всё это станет опытом моим.
Я берега соединил собою.
Жизнь – как заплыв, что был необходим
для испытания души судьбою.

Сергей КЛЮШНИКОВ

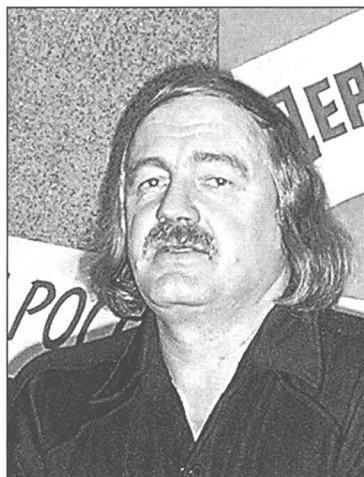
СЛОВА, ЖИВУЩИЕ ВО МНЕ

Сегодня и всегда – не надо умирать,
Поскольку не найти ни славы, ни покоя
В заоблачных делах, где только тишь да гладь,
А божья благодать – не нашего покроя.
Я прошлого себя к забвенью тороплю,
А прошлое в себе зачеркиваю с болью,
Чтоб завтра воскресить упрямое «люблю»
И музыку скрестить с последнею любовью.
31.07.2000

Сегодня снегопад – без признаков метели,
А просто – наугад волнуются снега.
Забылись холода. И скрипы отскрипели.
И время не спешит удариться в бега.
А завтра на пробор причешутся сугробы,
И лягут на тропу весёлые шаги.
И кончится диктат отчаянья и злобы.
Я всё перемогу. И ты перемоги.
Последний поцелуй, до губ не долетая,
Сорвётся в никуда, почти под небеса –
И музыка сойдёт, в потёмках различая
Слепые чудеса, немые голоса.
9.01.2001

За чертой покаяния –
То метель, то туман.

66



Как постичь расстояния
До реки Иордан?
С безутешною верою
Окунусь в холода.
Все пути мои – к северу,
А на юг – никогда.
Но бывшее смятение
Гасит музыка встреч.
Не зависит прощенье
От количества свеч.
Пахнут кровью венозною
Все святые места.
И молитвой морозною
Пламенеют уста.
19.01.2002

То ли броды молчат на пустынной реке бытия,
То ли время в тоске сочинило дырявую лодку...
Я молитвы шепчу без горячечных слов – и заря
Встанет сразу в полнеба, порушив
погодную сводку.
Между ночью и днём – тишина, тишина, тишина.
Только ангельский шёпот – в обгон
помрачённого слуха:
«Ты себя потеряешь в поисках райского дна,
Где второго пришествия жаждут
по слабости духа».

25.01.2002

Сергей Евгеньевич Ключников родился 4 октября 1955 года в селе Зудилове Первомайского района Алтайского края. Отслужил в армии. Окончил три курса Литературного института имени М. Горького. Работал в рыболовном флоте, на заводах и стройках Новоалтайска и Барнаула. В краевой и центральной периодике, в коллективных сборниках и антологиях публикуется с середины 70-х годов XX века. Он автор четырёх поэтических книг. Лауреат краевой премии имени Л. С. Мерзликина (2001 г.). Член Союза писателей России. Живёт в Барнауле.

Время всё переиначит –
И придумать не смогу,
Что для нас вчерашний значит
Договор на берегу.
Время всё переитожит,
Душу выстудит, а там
Холод внутренний умножит
Страстью к вешним холодам.
И тогда почти понятно,
Что судьба – не по судьбе.
А течение – возвратно,
Даже в медленной воде.

9.08.2002

Я лечился дорогой, как собака, травой,
И не пылью дорожной, от края до края.
Меня встречное небо, тряхнув синевою,
Ублажить норовило причудами рая.
Я лечился дорогой. Я в росах купал
Свою грешную поступь. И горечи запах
Шёл за мной по пятам. И закат полыхал
За моею спиной, опираясь на запад.
Я лечился дорогой. И бредили сны
Тишиной и покоем. Но звёзды вставали
В полный рост – и уже никакой тишины,
И уходит покой в запредельные дали.

17.08.2002

Навсегда забыто слово
И потерян след.
Для пришествия второго
Оправданий нет.
Здесь до самого заката
Сбита колея.
И трагедией чревата
Лёгкость бытия.

15.04.2003

Ходит прошлое моё по цепному кругу,
Если вырвется за круг – ходит по кольцу.
Невозможно заказать никакую вьюгу.
Силой воли козырять – тоже не к лицу.

Песня выплачется вслух – и беда отстанет.
Слово нежное шепнешь – и почти прощён.
Только прошлое хрипеть вряд ли перестанет
За спиной – в обход иных, ласковых времён.
А иные времена – где, когда, откуда?
На какой крутой волне, по какой цене?
Пропадая, пропадёт ожиданье чуда,
И последняя черта вспомнит обо мне.

1.06.2003

Ждешь какого совета?
Всё – как вечность назад:
Доживи до рассвета
И шагай на закат.
Знаю, знаю: не ново,
Да новей не найти.
Заповедное слово
Огрубело в пути.
Никакие законы
С нами не ужились.
Но зовёт сквозь кордоны
Запредельные стоны
В запредельную высь.

28.09.2004

Ещё не выстроены в ряд,
Не обесточены строкою,
Ещё отвагою горят
И не наполнены тоскою
Слова, живущие во мне.

12.12.2004

Своё прошепчет снегопад –
И тишина. Чего же ради
Я весь – признаниям не рад,
И мне – признания не рады.
А если – кроме? Замолчу.
По тишине, по снегопаду,
По неокрепшему лучу
Свою прощальную досаду,
В себе скрывая, пронесу,
И расплещу, и не запомню...

6.01.2005

Виктор АРНАУТОВ

ПРОКЛЯТИЕ ГРЕЧАНКИ

ПОВЕСТЬ

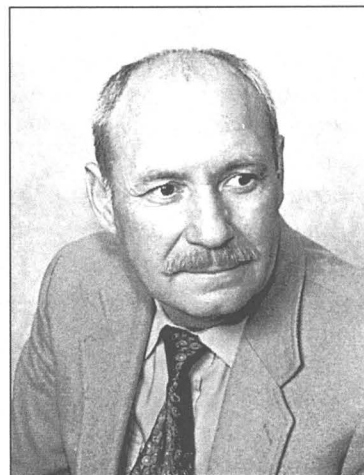
1

Тёмными земными ночами Творец всякий раз заново карточным пасьянсом неумоимо рассыпал по Вселенной миллиарды звёзд, предначертывая ими судьбы человеческие. И как звёзды сплетались в созвездия, так и судьбы людские пересекались, образуя семьи, племена, малые и большие народы, создавая поселения, города, мегаполисы, государства, союзы. И уже будучи относительно самостоятельными, они неразделимо зависели друг от друга.

Весна восьмидесятого года прошлого столетия в сибирской Сосновке особо ничем не отличалась от других вёсен. Уже на восьмое марта, к полудню, стали появляться на дороге первые талые лужицы. А через неделю, на Евдокию, приморозило – воробы и тому напиться негде, не то что голубю испустаться. По давним приметам – жди весну затяжную...

Только вот приметы в последнее время всё чаще подводить стали. Быть бы лету засушливому – лёт беспросветно, сено скошенное поиспреет всё в рядах да валках. Быть бы по приметам зиме холодной – пуржит снегопадами, не успевают деревенские чистить свои ограды, сугробы намечает вровень с крышами. Осени стоять бы долгой и тёплой – снег уже с середины октября ложится да так и не тает до самой весны. А который раз – и вовсе, на Рождество или на Крещение, вместо прежних морозов, дождь зарядит дня на три.

В народе слухи ходят, будто виной тому ракеты всякие да спутники, которые всё перебаламутили. А ещё радиация. На болоте уже клюква попадает



68

величиной с голубиное яйцо, да грибы – размером с колесо от легковушки. Будто бы в болотах, в верховьях Чазанки, какие-то могильники устроили: прямо с вертолетов сбрасывают в трясины ящики-контейнеры с радиационными отходами. Оттого будто бы и люди помирать стали от рака, что ни месяц – покойник...

Братья-подростки вошли в проулок. Поверх вылинялых фуфаяк, сзади, вороньем отливали стволы охотничьих ружей. Пояс одного из них был перехвачен полным патронташем и латунно поблескивал гильзами. На ногах обоих ребят обуты болотники с небрежно, на два раза, закатанными голенищами. Подростки миновали магазин и поравнялись с первым жилым домом проулка, возле которого грудой валялись в желтых опилках березовые чурки. В калитке из штакетника появился третий паренек, лет четырнадцати.

– Илья, айда с нами на охоту! Утка пошла перелетная, – предложил ему Кадик, останавливаясь напротив.

– Не-е, – с сожалением протянул тот в ответ, переводя свой взгляд на дрова. – Сегодня некогда, колоть надо...

– Куда они денутся, твои дрова?! – поддержал Кадика Лёха Кум. – Я вчера после школы на Чазанке двух чернетей да крохалю подстрелил.

– А сегодня мы на Лудинские озёра надумали, там у нас лодка ещё с осени припрятана. Прямушкой дойдём. Постреляем на озёрах, а оттуда спла-

Арнаут Виктор Степанович родился в 1951 году в селе Пудино Томской области. Окончил Кемеровский институт культуры. Автор многих книг прозы. Печатался в журналах «Огни Кузбасса», «Сибирские огни» (Новосибирск), «Южная звезда» (Ставрополь). В настоящее время сотрудник службы безопасности ОАО «Кемвод». Член Союза писателей России. Живет в Кемерове.

вимся по Чазанке, – продолжал агитировать Илью Кадик.

– Да я бы и сам... Мамка вот наказала, чтобы колоть начал...

Илья опять кивнул на березовые чурки с желтыми срезами по бокам. Чурки напоминали сотни полных лун, сваленных на небе в кучу, которые предстояло расколоть на тысячи крупных звёзд и уложить в созвездья... Помолчав, он продолжил:

– И так уже заветривать стали, плохо колются... Дня через три, может, и сходим ещё, поохотимся.

– Ну, как знаешь, – примирительно бросил Кадик, – опосля пожалеешь. Обратно пойдём – посмотришь, сколько настреляем!

– А через три дня, может, утка и вовсе пройдёт. Будешь тогда на лыжах из своего скрадка одних чирков стрелять. А тут – крупная валом прёт!

– Не-ет! Сегодня уже никак не получится! – с сожалением, но уже твёрдо, уверенно отрезал Илья.

Илья с Лёхой Кумом учились в восьмом классе, Кадик – седьмой заканчивал; ходили пешком уже который год из своей Сосновки в Завьяловскую школу за пять километров каждый день и были друзьями. Чернявый, остроносенький, с живыми голубыми глазками Илья выглядел помоложе своих сверстников. Он и росточком был поменьше остальных. Илье и пятнадцать-то исполнится только в сентябре. А совсем недавно он впервые сфотографировался на документ – на комсомольский билет. Совсем махонькая карточка получилась. На ней Илья в своем школьном тёмно-синем костюмчике, и в первый раз галстук взрослый повязал вместо привычного пионерского.

Лёха Кум с Кадиком – братья, двоюродные. Внешне, однако, мало чем и похожи друг на друга, видать, материнские крови верховодили в них над родными, отцовскими. К тому же, Лёха Кум старше Ильки с Аркашкой. Выше всех Лёха. Белобрыс, с длинными волосами, скрывающими даже уши. А в последний год у него над верхней губой стал пробиваться рыжеватый пушок, будто кто жиденькой акварельной краской во сне разукрасил. И нос у Лёхи стал вдруг непомерно расти и горбатиться. На левой щеке Кума шрам розоватый красуется – след от драки с завьяловскими.

Среди троих друзей самый заводной – Аркашка-Кадик. Хоть и моложе их, хоть и учился похуже Лёхи с Илькой – подбить их на какую авантюру или с последнего урока уговорить сбежать – плевое дело для Кадика. И верховодит, как ни странно, в тройке этой он. Вот и недавняя отметина на щеке Лёхи тоже не без его, Кадикова, участия появилась. А сами и виноваты, нечего на рожон против интернатских переть да заедать.

Сосновка – деревушка небольшенькая, дворов сорок наберется ли в ней. Да и те – хиреют год от года. Разъезжается из Сосновки народ кто куда, а всё больше на материк, на большую землю, за болото.

Болото! Будь оно неладно! Ни пройти через него летом, ни обойти, ни объехать. Зимой разве что – зимником санным. Трактора гусеничные да колесные «Кировцы» завозят на больших широких низких санях целые горы семенного зерна, комбикормов, минеральных удобрений, сельхозтехнику и всякий прочий нужный в деревне груз.

Весной, с приходом полной воды, разливаются мутноватая Чазанка в необозримые просторы – успевай тогда в низовьях паузок снаряжать да вверх завозить буксирными баржами всякий ширпотреб. Ну и самолет остается. Он круглый год летает до областного Томска да райцентра Тарбика. Если только поле аэропортовское не расквасит дождями или ливнями.

69

Позастревали в довоенные годы по берегам Чазанки, словно молевые бревна, с десятков деревень спецпереселенцев на все три сотни километров, да так и остались стареть никому ненужные. Лесозаготовками, пихтовым маслом да прочим лесным промыслом пробавлялись. Планы выполняли и перевыполняли. Поля раскорчевали на островках суши, сеяли, урожаи собирали, хоть и небогатые, – тем и жили. С конца пятидесятих годов партии экспедиций стали бороздить согры да болота: топографы, сейсмологи, разведчики-бурильщики. Нефть с газом отыскивали. Стали поговаривать, что добывать скоро будут, дорогу через болото с материка проложить собираются. Оживляться стали деревеньки в ожиданиях перемен. А те пока всё не наступали.

Самая большая из деревень – Завьялово, что ниже по Чазанке, в пяти километрах от Сосновки; когда-то даже райцентром была. В Завьялове есть всё: и школа средняя, и сельсовет с почтой, и аэропорт, и клуб большой, и больница, и контора совхозная, и даже плотина, перегородившая Чазанку. От плотины, правда, одно лишь название осталось после того, как высоковольтка прошла через Завьялово. Завьялово – оно и есть Завьялово! Куда до него какой-то там Сосновке, Горохову, Белояру, Язевке или Настасьину?!

В Сосновке, к примеру, лишь магазинчик остался. Клубишко и тот весь разваливается. В школе начальной сперва детсад устроили, потом и вовсе в курятник превратили. Негде оставшейся молодежи зимними вечерами и собраться-то. Потому и навешиваются к завьяловским; потому и кучкуются у себя возле конторы, что стоит на отшибе, рядышком с

тремя длинными и низкими коровниками. Летом, правда, на площадке волейбольной собираются не遠далеке от заброшенного клуба, там и костерок, в сторонке, поближе к ночи, разжигают всякий раз, разбирая на дрова пересошные, почерневшие жердины ставших ненужными изгородей.

Нынче, ещё в начале апреля, Илья со своими дружками на омуте, где впадает в Чазанку Ульгаречка, из-под льда крупных пескарей с чебаками тягали сотнями на зимние удочки. После десятого числа вода из незамерзающих лунок поперла, потом приморозило. Да ненадолго. С пятнадцатого апреля ноздреватый рыхлый лёд на Чазанке вспучивать стало, а двадцатого – и вовсе унесло весь. Редкие запоздалые льдинки из мелководных болотных речушек пестрели на стремнине разбушевавшейся Чазанки, да косячки отдыхающих перелетных уток темнели на поверхности. Вода вплотную подступила к самой Митькиной горе, затопив и полянку, и все ложбины, и кочкарниковую согру. Мосток через Ульгу, как легонький поплавок, вертикально поставила.

И утка ранняя, перелетная, с юга пошла на север целыми косяками. Да не какие-нибудь чирки-недоморки – кряковые, чернеть, свиязи, гоголи, шилохвостые! Кого тут дома удержишь?! Разве что послушного Илью.

Только канитель у охотников обозначилась в последние годы: егерь Зотов Семён да участковый из Завьялова, Дымов, – уж очень ревностно следить стали, наезжать на охотный люд со своими законами. Сколько ружей-дробовиков поотбирали уже у подростков, сколько штрафов понавывписывали родителям недорослей – кто бы посчитал. Шныряют по Чазанке и её притокам на скорой дюральке с тридцатисильным мотором. Сети снимают в заливных озёрах да курьях; охотников спешно прятаться по кустам вынуждают, трофеи где попало бросать – не больно-то и поохотишься. В скрадках, на лужах, – и то с опаской вечерами да ночами сидеть приходится.

Только издавна ведётся в Сосновке, со времен охотников-старожилов, что всякий пацан с десятилетнего возраста уже самостоятельно ружье в руки брал, добытчиком становился. И ни Зотову, ни капитану Дымову никак не совладать с этим. Правда, до безобразия дело не доходило. На всю жизнь, незыблемо, усваивал всякий охотничьи законы: на чужое не зарься, в зимовье не пакости, попусту не стреляй, два патрона на одну птицу не трать, ружья на человека не поднимай, даже незаряженного! Так что не было пока ни в Сосновке, ни в Завьялове случая, чтобы там пострелял кто кого из охотников или сам невзначай поранился.

Стефку-смуглянку в Сосновку привёз Гриня-моряк. Сразу после приезда в их края переселенцев-новоселов из Чувашии. Ещё весной шестьдесят первого – в год денежной реформы в стране и образования совхоза в Завьялове.

Гриня Лукач и сам из завьяловских. Точнее, вырос там, хотя родом из Белоруссии, из Гродно. Пятилетнего Гриню накануне войны выслали с матерью Яниной в далекую Сибирь, разлучив с отцом.

Отца Грини, Василя Лукача, арестовали. Быстро осудили по пятьдесят восьмой статье и определили на десять лет без права переписки. За что – ни мать, ни Гриня знать не знали, ведать не ведали. Уж каким таким врагом народа был пан инженер-путеец Лукач – Гриня так и не узнал, даже получив справку о его посмертной реабилитации.

Зато на всю жизнь врезались в память картинки: как плакала мать, как сидели они с сестренкой Ганкой на тощеньких узлах где-то на шумном вокзале, как потом долго ехали в душном тесном вагоне под охраной солдат... Все говорили про какую-то загадочную Сибирь... В дороге старшенькая сестра Грини Ганка захворала и померла. Гриня так и не понял, куда она девалась. И опять плакала-убивалась его мать Янина, а Грине досталась Ганкина игрушка – тряпичная кукла с большими нарисованными глазами на широком плоском лице. Потом они плыли на пароходе по большущей реке с низкими берегами в какой-то Нарым, опять мыкались на толкучей пристани. И он, Гриня, всё хныкал, потому что его, перевязанного крест-накрест мамкиным платком, всё равно кусали комары и всё время хотелось есть. И снова они плыли на маленькой тархтящей лодке, но уже по неширокой речке с заросшими берегами, которую все называли почему-то Чазанкой. Так и очутился Гриня Лукач в Завьялове.

Пять классов одолел Гриня за шесть зим, а папка всё не возвращался. В двенадцать лет учиться ему наскучило, и он стал ходить иногда днем на ферму помогать мамке управляться. Его мать каждое утро поднималась раным-рано, в самую темень, когда ему снились вкусные сны. Возвращалась она уже посветлу, кормила Гриню скороспелым завтраком, и от неё всегда пахло фермой – чем-то кисло-навозным и коровье-молочным.

Бросив школу, Гриня стал помогать матери уже каждый день: почистить, выбросить из коровника навоз, привезти с весовой на санях сена и силоса; разложить корм по кормушкам, сгонять зимой к прорубям скотину на водопой. Вот только коров доить он не приобщился, потому как считал это немужским делом – сидеть под коровой. А уж летом – тут

Гриня всю жизнь зарабатывал самостоятельно: топтал верхом на лошади свежую траву в силосных ямах, греб сено на конных граблях, возил копы к зародам. И по-взрослому научился курить и материться. Правда, когда мамы рядом не было.

В пятнадцать лет подался он на пихтовый завод, рубщиком лапки. Изю дня в день, без выходных, он взбирался на высоченные лохматые пихты и, оставив, как учили, пятиметровую макушку, спускаясь вниз, начинал рубить у ствола большим тесаком пихтовые сучья. Внизу его напарница с тех сучьев обрезала веточки, не толще карандаша, и укладывала в прямоугольные пачки-кубы. Попервости он боялся высоты, но потом привык. После него дерево выглядело навряд ли лазового телеграфного столба, только на верхушке, вместо поперечных траверсов, высилась зеленая мохнатая пика. Сколько пихт оставил Гриня без одежек – разве сосчитаешь?! План со своей напарницей они выполняли всегда, а то и полторы нормы выдавали. За то им как-то, к годовщине Октября, премию вырешали, отрезывали: ему на рубаху, ей на новое платьишко. А с семнадцати годочков Григорий Васильевич Лукач уже в бригадах хаживал.

Однако надоедать стала парню такая бродячелесная житуха: вечно на гнусах, под открытым небом, невымытым, залепленным липкой пихтовой смолой, не выезжая домой месяцами, в бараке на жестких общих нарах с завшивленными соломенными матрасовками...

Зимой, когда объявили в Завьялове набор желающих на курсы трактористов, записался и Гриня. Учился с интересом, не то что в школе. И экзамены сдал хорошо, и удостоверение получил.

Только трактор давать ему пока что не торопились. В МТС определили, в ремонтную бригаду. И опять: работа, работа, работа, с утра до позднего вечера, особенно в посевную да уборочную доставалось. Домой появлялся – хуже, чем после пихтового завода: весь в мазуте, пропахший соляжкой, с неотмывающимися ничем руками и вечно черными ободками под обкусанными ногтями.

В армию Григория Лукача призвали, как и положено, в девятнадцать лет, когда сняли с них клеймо спецпереселенцев да членов семьи врага народа. Из завьяловской глухомани угодила он сразу же в город, в солнечную Одессу! В моряки попал, на линкор, в корабельные маслосупы, машинисты стало быть по-корабельному. И опять, как у себя на пихтовом заводе или в МТС, – вольной жизни не видел матрос Лукач: то на вахте у тархтящих двигателей в полутесном машинном отделении, то в тесном матросском кубрике – будь то в плавание походе дальнем или на рейде в порту.

Одессу-мату старший матрос Григорий Лукач рассмотрел лишь на третьем году службы, когда на берег, в увольнения стали отпускать. Принарядится в белоснежную голландку с проветренным и выцветшим голубоватым гюйсом, на голове белая бескозырка с гвардейской ленточкой; нагладит расклеванные черные брюки – стрелка на них, что лезвие ножа; надраит до глянца ботинки ваксой, асидолом желтую бляху отполирует, хоть смотришь в неё как в зеркало – и на берег!

Попервости всё по улочкам одесским группками бродили, как выводки цыплят инкубаторских, балуясь мороженым эскимо на палочках да газводой с сиропом. Удивлялись каким-то странным названиям улиц, непривычным для сибирского уха: Дерибасовская, Решильевская, Лонжерона, Арнаутская... Как истинные моряки, словно по корабельным трапам, на одном дыхании избегали на самый верх по знаменитой широкой Потёмкинской лестнице. Забрели и на Привоз, покупая у молдаванок дешевые жерделы, вишни или яблоки, а у толстых хохлушек – копеечные семечки и втихаря пропускали по стакашку терпковатого темно-вишневого сухого каберне.

Как-то раз на пляже, в Аркадии, среди десятков тысяч полуголых, стройных и не очень, отдыхающих, бросилась в глаза матросу девушка лет шестнадцати – смуглая, темноокая, фигуристая. Стеснительный от природы, Гриня не сразу решился на знакомство. К тому же стыдился он своих уставных военно-морских трусов, доходивших почти до самых колен. На плавки тогда у него денег не оставалось от невеликого матросского жалованья, хотя в загранке можно было бы и приобрести.

Выбравшись из ласковой воды, он отделился от своих корешей и оказался рядом с той самой девушкой в дешевеньком закрытом купальнике, которая ему так понравилась. Девушка-смуглянка, отжав свои длинные волосы, озорно глянула на него и первой заговорила с легким, едва уловимым акцентом:

– Ты, наверное, матрос?

– Моряк, – гордо подтвердил Гриня.

– Моряк – с печки бряк! – хохотнула она.

– А как это ты догадалась? – смущенно поддержал он разговор.

– По форме, – опять хохотнула смуглянка.

– Что ж в ней особенного?

– Форма раз: трусы, противогаз и тельник в скатку!

Гриня смутился ещё сильнее, покраснел и, одергивая мокрые прилипающие трусы, стал закатывать их от колен на бедра – на манер плавок.

– А тебя как звать-то? – опять спросила первая девушка.

– Григорием, – ответил морячок.

– А меня – Стефания, можно Стефкой, так меня все домашние называют.

– Странное какое-то имя, – отозвался Гриня.

– Фамилия ещё странней. Сказать? Смеяться не будешь?

– Скажи.

– Попандопулос... Отец у нас грек.

– Так ты, – Гриня замялся, – так вы из Греции, что ли?

– Нет, мы одесситы, коренные. И я, и отец, и бабушка – все мы тут родились. А мама – украинка.

– А это, вера у вас какая? – поинтересовался морячок.

– Да какая теперь вера? Ты комсомолец?

– Комсомолец, – подтвердил Гриня.

– Вот и я – тоже комсомолка. Стало быть, неверующая. Мама вот в церковь православную ходит по праздникам. А папашка – тот иногда и про своих богов вспоминает. Это когда сердится, ругается выпивши или проклинает кого...

– И какие же, интересно, у него боги?

– Разные, – ответила, смеясь, Стефка, – и Зевса-громовержца вспоминает, и Афины Палладу с Фемидой, и Ареса с Гермесом. Ещё какая-то Немезида... Слышал про таких?

– Не-а, – признался Гриня.

– Не учил что ли историю древнего мира в школе?

– Проходили в пятом классе. Дак когда это было...

– А мы пьесу про них разыгрывали в школе ещё... Да ну их, богов этих. Идем лучше поплаваем, – предложила Стефка.

И до того легко, удобно вдруг сделалось старшему матросу Григорию Лукачу с этой хохотушкой-гречанкой – как ни с одной из девушек, даже напарниц с пихтового, будто были они с ней уже давным-давно знакомы. Выискивая проходы между лежащими и сидящими загорелыми и бледно-розовыми телами, осторожно ступая, они двинулись к воде. Зашли в неё и, когда сделалось по грудь, поплыли. Плавал Гриня хорошо, научили и кролем, и брассом, моряк как-никак! Не отставала от него и Стефка. Отделились от гомонливой прибрежной толпы, дальше в море поплыли. Теперь лишь одинокие головы купающихся пловцов виднелись впереди них, за буйками.

– А ты хорошо плаваешь, – отфыркиваясь, сказал Гриня, перевернувшись на спину.

– Так я ж выросла у моря, – ответила Стефка.

Они лежали навзничь на колеблющейся лазурной поверхности моря, распластав руки и ноги, и жмурились от слепящего солнца. Отдышавшись, поплыли назад. И уже на мелководье, в гущине ку-

пальщиков, принялись дурачиться: брызгаться друг в дружку, подныривать, как бы ненароком касаясь ног и животов, и хохотать.

Из Аркадии провожал моряк девушку до самой Молдаванки. Карандашом записал в книжечку её адрес и договорился встретиться с ней в следующее воскресенье.

Запала, ох как запала в душу Грини смуглая Стефка-гречанка. Так и мнились ему повсюду сверкающие капельки морской воды на её теле, длинные ноги, тонкая талия, наливающиеся волнующие бугорки груди с сосочками, проступающими сквозь мокрый купальник. А ещё – смеющиеся карие глаза, черные брови коромыслом, небольшой прямой носик и соблазнительные тонкие губы...

Встретиться, как договаривались, не получилось. В поход вышли моряки, на целых полгода, в Карибское море, к берегам восставшей Кубы. Вернулись из похода – в первое же увольнение, с трепетом в груди, направился старшина второй статьи Григорий Лукач к Стефке прямо домой, по записанному адресу. «Только застать бы её дома, только бы застать дома!» – как волны прибоя, накатывало на него одно желание.

Семья Попандопулос, к удивлению моряка, оказалась большой. Стефка его в ней – третья по счету, да после неё ещё четверо, младшенькой самой всего-то годика три. Отец Стефки, Микис Попандопулос, докером в порту работал. Домой возвращался с работы уставшим и, как всегда, угрюмым. Матери Стефки – и работать некогда, рожай-успевай да ребятню воспитывай. Вот и теперь Стефка украдкой косилась на округляющийся живот матери, а мать стыдливо отводила от понимающей повзрослевшей дочери свой взгляд. Какая уж тут учеба в школе для Стефки? Помогать матери надо ребятню на ноги ставить. Школу Стефка бросила после шестого класса. Пока Гриня в походе был – в ФЗО подалась, на швею-портниху приняли учиться.

И запуржила цветом белых акаций да высоченных каштанов чистая любовь семнадцатилетней фэззошницы одесситки Стефании Попандопулос и старшины второй статьи сибиряка Григория Лукача...

А вскоре и конец службе Грининой подошел. Как ни оставлял его командир крейсера, как ни агитировал замполит остаться мичманом на сверхсрочную – отказался Гриня. По дому, по Сибири, ставшей родною, заскучал.

А тут ещё письмо из дома пришло, совсем тревожное. Соседка отписала. Дескать, мать Грини плохая вовсе, дотянет ли до его возвращения?

Прибыл домой в Завьялово уволенный в запас гвардии старшина первой статьи Григорий Лукач в

парадной форме – любо-дорого поглядеть: в черном бушлате, суконных наглаженных флотских брюках, в ботиночках и бескозырке с гвардейскими ленточками. А на дворе уже морозы стояли ноябрьские всюю.

Чёрная форма моряка – под стать ситуации оказалась. Холодом сиротским встретил демобилизованного флотского старшину материнский домишко. Опоздал Гриня. На деревенском завьяловском кладбище свежий коричневый холмик снежок припорошить успел. Лишь грубо отесанный кедровый крест с повязанным на нем полотенцем выделялся на фоне мрачноватых застаревших пирамидок со звездочками наверху.

Корявая надпись на косой перекладине «Раба Божия Лукач Янина Олесевна» перехватила дыхание, колом застряла в груди моряка. Гриня опустился на колени, снял с головы бескозырку, и из его глаз потекли слёзы...

Зайдя после кладбища в ставший разом чужим дом матери, Гриня Лукач запил горькую. Сперва не один – с дружками-товарищами да сердобольными старушками-соседками: мать поминали да за встречу, возвращение со службы; потом уж и в одиночку пил – весь в мрачных раздумиях и для тяжело забытья.

Через две недели, продав домишко и материнское барахло, собрав семейные фотографии и реликвии (латунное распятие-крест, шкатулочку с немудрыми побрякушками матери, разные справки, в том числе и о смерти отца в лагере да о посмертной его реабилитации), всё в том же бушлате, но уже в кожаной шапке, подался Гриня назад, в Одессу, к Стефке-невесте, что ждять обещалась.

Сосватал Григорий податливую Стефку, свадьбу сыграли – едва той восемнадцать исполнилось. Да только не заладилась жизнь молодоженов в переполненном доме Попандопулос на Молдаванке. Чужаком-примаком чувствовал себя сибиряк Гриня в тестевой хате. Скандалы пошли. Беременная уже Стефка, не доучившись в ФЗО, на работу до родов устраиваться не стала. Гриня в докеры, как и тесть, ломовым подался. Да недолго и проработал: надорвался, видать, с непривычки, животом маяться стал. Какой из него после этого докер?!

После получки, с попойкой и непременно скандалом с папашкой-греком, психанул Гриня. Сгробастал беременную Стефку, побросали в два чемодана нехитрые пожитки и на оставшиеся деньги в Сибирь завирютели...

Домишко материн продал Гриня новоселам-чувавам ещё тогда, а зря, выходит, поторопился. Назад теперь его не воротить, новоселов из него не

выселить, деньги им за дом не вернуть. К тому же, пустовавшие в Завьялове хибарки, оказывается, позанимали всё те же многолетние чуваша-переселенцы. Где селиться, куда податься?! Вот приехали так приехали...

Ладно, знакомый подвернулся, на порту в Томске ещё – вместе оттуда и летели на самолете, – молдаван Митря Кочару. Привёз прямо с порта в кошеве Гриню с беременной Стефкой в свою хатёнку. А в ней – не в Молдавии, касамар лишних не сыскать – две комнатёшки всего. И в них – своих четверо, кроме самого с женою.

Так и оказалась одесситка Стефания Попандопулос-Лукач в заболотной сибирской Сосновке. Надолго поселилась.

3

Проводив завистливым взглядом друзей, покуда те не скрылись под горой, Илька вернулся в ограду. Под навесом он отыскал колун, вышел за калитку и, тоскливо окинув кучу чуряков, принялся колотить дрова.

Кадик с Лёхой Кумом спустились с Митькиной горы – вода пошла на убыль; сняли с цепи непримкнутую чужую дюралку без мотора и, гребя палками, переплыли через разлившуюся Ульгу.

Сотни тысяч золотистых комочков, величиной с ягоду крупного шиповника, улепили затопленные прибрежные вербы. На поляне, в мокряди и мусоре отступившей воды, проступали первые робкие росточки зеленеющей травы. Насосавшимися до предела клещами сизовели почки на рябинах и черёмухах. Кроны обнаженных берез приобрели темно-коричневый оттенок – вот-вот заселадонятся. Из корявых черных ранок белых стволов там и сям сочились слезинки сладковатого пахучего сока. Запах сырой талой земли перемешивался с хвойным и приобретал неповторимый весенне-радостный аромат. Где-то невдалеке, фурюкая, бурундучиха подзывала самцов. Слышалось весеннее щебетание мелких птишек.

Двадцать девятого апреля небо ещё косматилось низкими тучами, но настроение у подростков было радостно-возбужденным, как у тех самых бурундучих с чирикающими пташками.

Охотники подтянули на берег лодку, замотнув её цепью за пенек и, зарядив ружья, двинулись по раскисшей дороге. Пройдя метров триста, вышли к первой старице и сквозь голые ветки деревьев и кустарников стали высматривать уток. Уток на ней видно не было. Утратив охотничью бдительность, подростки вышли из укрытия. И тут же, от самого берега, с шумом и всплесками воды поднялась стайка. Лёха

Кум взвел курок своей одностволки, вскинул ружье и, выцелив, стрельнул по улетающим птицам. Утки продолжали лететь в сторону Чазанки.

– Мазила, – оценил выстрел Лёха Кадик.

– Завысил, – виновато отозвался тот.

До Лудинских озер братья добирались прямушкой – болотистым кочкарником – минут пятьдесят. Откатав голенища болотников, срезав по палке, осторожно ступая, они продвигались через согру. Между кочек всё было заполнено талой водой, а внизу, под ногами, лежал скользкий лёд, в который твердо упирались палки, будто в мёрзлую землю. Дважды из небольших лужиц поднимались табунки уток, и оба раза оставляли охотников без трофеев.

Лудинские поляны уже обнажились от снега и начинали помаленьку просыхать от заливной воды. На самих озёрках ещё лежал вспученный лёд, поднятый половодной Чазанкой. Однако в конце одного озера виднелась чистая вода, метров сто. На ней спокойно плавали с десятка черно-белых гоголей. Крадучись, друг за дружкой, охотники стали приближаться к уткам.

– Я буду первым стрелять по сидячим, – шепнул Кадик Кум. – А ты влёт...

Подобравшись метров на сорок – ближе было не подойти, – Кум стал выцеливать с колена. Стрелять он не торопился, ждал, когда утки собьются в кучку, чтобы зацепить сразу парочку.

– Стреляй же, – шипел сзади Кадик, – вспугнём...

Наконец прогремел выстрел. Одна утка с воды не поднялась. Остальные гоголи, прочертив по воде дорожки, набирали высоту, уходя вправо. Дважды, почти дуплетом, выстрелил Кадик. И ещё одна утка упала метрах в десяти от самого края продолговатого озера.

– Есть! – радостно вскричали оба подростка, переламывая ружья и перезаряжая их.

– Надо за лодкой идти, доставать птицу, – произнес младший.

– Давай, перекурим сперва, – отозвался Лёха Кум.

Он достал из кармана куртки пачку «Примы», вытряс сигарету себе, протянул напарнику. Щелкнул зажигалкой, прикурили, затянулись.

– А здорово я срезал влёт, скажи! – напрашивался на комплимент Кадик.

– Похоже, ранил, – отозвался Кум. – Глянь-ка, утка твоя ожила. Добывать надо!

И впрямь, утка, подстреленная Кадиком, перевернулась со спины, подняла голову и улепетывала по воде от охотников. Пригнувшись, незадачливый стрелок спешно направился к подранку, держа ружье наперевес. Метров с тридцати он прицелился и

выстрелил. Дробь кучно хлестанула по воде, где только что сидела утка. Самой же утки, к удивлению охотника, на месте не оказалось. Не было её видно нигде и в воздухе. Лишь через минуту перескопом высунулась на поверхности воды голова гоголя, уже метрах в пятидесяти от Кадика.

– Заходи с того берега, – крикнул Кадик Лёхе.

С обеих сторон неширокого озера братья взяли утку под перекрестный прицел. По три выстрела уже попеременно сделали охотники, а гоголь всё уходил и уходил от них, успевая нырнуть ещё до того, как дробь шваркнет по воде.

– Вот это реакция! – восхищались братья. – Нам бы такую!

Лишь восьмой выстрел прекратил агонию подранка.

– Этаким макарон станем палить – нечем будет на Чазанке стрелять, – сетовал Лёха Кум. – Я уже половину своих патронов израсходовал.

Братья отыскиали в кустах обласок, лёгонькое весло под ним, перевернули долбленку, осмотрели – нет ли где трещин. Всё было в порядке. Перетащили легкую лодчонку на озеро, подобрали подстреленных уток. На берегу Чазанки нарубили пихтового лапника и навтыкали ветки за набойные борта обласка. В носу лодки так и вовсе укрепили целую вершинку пихты. Замаскировались под плывущий вывороток.

В корму сел Лёха Кум. На носу, лёжа на животе, устроился Кадик со своей двухстволкой. Быстрая вода Чазанки подхватила суденышко и понесла по течению. Лишь иногда кормчий легким движением весла направлял её мимо затопленных кустов да валежника.

– Справа по борту утки, – шепнул Лёха, берясь за ружьё.

– Вижу, – так же тихо отозвался Кадик, взводя курки.

Впереди черными комьями то сближались, то расплывались друг от друга кряковые. Вода скрадывала расстояние до них, особенно для Кадика, лежащего под острым углом к цели. Он первым выстрелил и промахнулся. Дробь легла ниже, не долетев до уток. Промазал влёт и Лёха – утки пошли почему-то прямо на них. На следующем повороте, за омутом, охотники снова заметили табунок.

– Не торопись стрелять, – посоветовал белобрысый Лёха, – утка ещё непуганая, должна близко подпускать.

И точно, метров с двадцати пяти Кадик снял на сей раз сразу парочку. Охотники подобрали уток, догнав их.

– В курью будем заходить? – спросил Лёха.

– До курьи ещё километра два отсюда, – ответил Кадик.

Откуда-то снизу донеслись до них нарастающие звуки моторной лодки. Братья переглянулись, вслушиваясь.

– Однако, Зотов с Дымовым, – произнес Лёха Кум. – Тикать надо...

Повторяя изгиб Чазанки, прямо на них летели утки, низко. Оба выстрелили влёт. Лёха бил уже с разворотом назад по удаляющимся от них свиязам. Он и не заметил впопыхах, как зацепил весло, и то оказалось в воде. Две утки после выстрелов упали: одна спереди лодки, другая уже позади.

– Кум, притормози, греби к своей, пока не ушла. Кажись, опять подранок.

Лёха схватился было за весло – весла в лодке не оказалось. Оно уже плыло метрах в трех от них. Он попытался подгрести к нему руками, не получилось. Весло всё дальше относилось от лодки.

– Ты чего там вошкаешься? – встревоженно спросил Кадик.

– Весло уплыло...

– Нас на топляк несет, – завопил уже младший, – выгребай прикладом! Влево бери, влево!

Увидев испуганные глаза Лёхи, он осекся. Лодку неотвратимо тащило течением прямо на корягую вывороток. Кадик попытался подняться с живота на колени. Лево́й рукой он оперся на замаскированный борт лодки. Предательски хрустнула ветка пихты, и рука соскользнула за борт. Его, как непонятым магнитом, мгновенно потянуло к воде. Он боком вывалился за борт. В лодке оставались лишь ноги, запутавшиеся отворотами голенищ за лапник. Вода обожгла Кадика своей студеной плотью, перехватила дыхание. В следующее мгновение уже лодку затянуло на топляк и опрокинуло.

Вываливаясь из лодки, Кадик инстинктивно схватился за ружье правой рукой. Спасать оружие на охоте – первейшее дело. Рядом с ним в ледяной купели барахтался уже и Лёха. И он держал в одной руке над водой свой дробовик. Второй рукой он хватался за склизкое мокрое брюхо перевернутого обласка. Болотные сапоги теперь свинцовыми гирями тянули подростков, барахтающихся в воде и среди веток топляка-коряжины. На плаву какое-то время им помогали держаться надувшиеся пузырьки фуфайки. Но вскоре и они уже стали намочать...

Первое состояние мгновенного испуга стало меняться нарастающим паническим страхом гибнущих. Кадик удалось сбросить со своих ног болотники, на пару размеров больше положенного. Потом он, цепляясь за ветки топляка, умудрился перекинуть за спину ружье. Сделав это, он инстин-

ктивно поплыл к своему берегу, до которого было чуть больше десяти метров. Он барахтался в воде, выбиваясь из сил, метр за метром отвоёвывая у реки пространство до спасительного берега. Наконец ноги его коснулись дна, а руки уже тянулись к затопленным прибрежным веткам. Он выбрался на берег, сбросил с себя мокрую фуфайку. Изнутри её спина, как ни странно, была почти сухой, ненамокнувшей – это и помогло спастись молодому охотнику. С трудом он стащил с себя мокрые брюки, куртку, рубаху и принялся прыгать на одном месте, растирая мокрые окоченевшие руки и ноги.

Оседлав верхом спасительный топляк, цепко держась за него, испуганно сидел в воде Лёха Кум.

– С-сей-час м-мо-тор-ка п-при-дет. Д-дер-жись, Л-лё-ха, – выбивал дрожь зубами Кадик.

– Замерзаю, – в испуге отвечал тот, – ног под собой не чувю.

Нарастающее было рычание моторки, ставшей одной из причин их вынужденного купания, стало затихать, удаляться. Потом и вовсе смолкло.

– В ку-рю во-шли, – прокричал Кадик. – Сети бу-дут сни-мать, гады... Теперь эт-то на-дол-го...

– Кадик, спасай, – молил его Лёха. – Не могу больше.

– Как я тебя спа-су?! – с надрывом ответил тот. – Сам в-выби-райся. Сни-май с-сапоги, фу-файку. Плы-ви сюда!

– Боюсь, – орал в ответ Лёха Кум, – не доплыть мне. Заколел весь уже...

– Плыви! А то точно не доплывёшь. Сейчас я тебе палку подам, – приказывал Кадик, начиная согреваться и потихоньку отходить от страха.

Балансируя верхом на топляке, Лёха стянул сапог.

– Лови! – крикнул он Кадик, размахнулся и что было сил бросил.

Сапог спружинил от затопленных веток и упал в воду. Второй сапог не достиг цели метра три. Лёха все ещё никак не решался расстаться с топляком. Обхватив его ногами в замок под водой, он стащил фуфайку.

– Цепляй ружье за ветки, – советовал ему с берега Кадик, опосля достанем. Плыви!

Кадик отыскал на берегу сушину метров пяти и стоял наизготове у самой воды. Их перевернутая лодка, словно всплывшая субмарина, застряла в кустах почти на повороте, метрах в трёхстах от них. Унесло течением и всех убитых уток.

Оставшись налегке, Лёха ахнул, погружаясь в воду, и, молотя по-собачьи руками и ногами, поплыл. Его сносило течением, но Кадик, учтя это, стоял метрах в семи ниже. Каснувшись верхушки

сушины Кадика, Лёха намертво вцепился в неё обеими руками, а тот уже, пятясь, волок его к берегу. Выбравшись на берег, он тут же рухнул, отключившись на какую-то секунду. Кадик затормошил его:

– Поднимайся! Сбрасывай всё с себя, бегай, бегай!

Сам он уже отжимал куртку, брюки, рубаху, оставаясь в одних носках. Отжимая рубаху, он почувствовал под рукой что-то твердое – оказалось зажигалка! Он вынул её из мокрого кармана, надавил большим пальцем на колёсико и кнопку. Зажигалка вжикнула, и появилось маленькое пламя.

– Лёха, живём! – обрадованно завопил Кадик.

Через десять минут они уже отогревались и сушились у костра, в который раз пересказывая друг другу и переживая случившееся.

– Ох, и перебздел же я, – произнес Лёха. – Ду-мал, всё – кранты нам...

– Думаешь, я нет?! – признался и Кадик.

– Где, интересно, наши утки?

– Дымову с Зотовым достанутся... Кабы не они – может, и не перевернулись бы.

– Почему они-то?!

– Ты же сам говорил, что тикать надо...

– Ну и что?

– Уток-то тех они спугнули... Ты и засуетился...

4

В конце шестьдесят первого года Сосновка была ещё о-го-го! Можно сказать, переживала своё второе рождение. Усадьбы бывших спецпереселенцев, уезжавших на родину, тут же занимались новоселами. Из соседних деревень сюда съезжались по причине укрупнения сёл и близости к Завьялову. К тому же, четыре многодетных семьи переселенцев-чужах, подавшихся на богатые сибирские хлеба, тут же залатали демографические дыры Сосновки.

Дома в Сосновке, стало быть, не пустовали. Любая гнилушка-завалюшка в дело шла. Немало и перевозили ещё добротных домов из опустевших селений, ставили на новый фундамент да поднимали снизу на один-два венца из листвяга. Что-то подновляли, что-то надстраивали, обшивали досками, красили; меняли почерневшие тесовые да дерновые крыши на шиферные. Обновилась Сосновка, словно природа весной, живым вновь затеплелась.

И ребятни в Сосновке стало – хоть отбавляй! За деревней, на переставшем родить поле, разровняли площадку под футбольные баталии, ворота по краям поставили и даже сетки на них натянули. Там же и баскетбольную площадку обустроили с самодельными кольцами-обручами. А рядом с клубом

вечерами – в волейбол, перед началом кино и после него, даже взрослые мужики по мячу колотили. По полной команде с каждой стороны набиралось, да запасная – на вылет.

После окончания своей, Сосновской, начальной школы пешком в Завьялово разом человек по сорок с гаком учеников хаживало.

К старому клубу пристройку сделали под библиотеку. Из областного Томского культпросветучилища прислали к ним специалиста-выпускника, правда, из своих же, завьяловских. Закипела и культурная жизнь в Сосновке!

Колхоз «Сосновский» упразднили, сделав его отделением Завьяловского совхоза. Коровники новые строить стали, контору перенесли на другое место. Брусовые дома, двухквартирники, начали в моду входить. На завьяловской лесопилне сами и брус изготавливали из стройных сосен, благо – бор рядом. В Сосновке аж четыре новых дома заложили: два в одном краю деревни, два в другом.

Технику из расформированной межколхозной МТС по совхозным отделениям распределили. Не обидели и Сосновку. Два почти новых гусеничных трактора ДТ-54 достались братьям Кумовым – Тимофею да Матюшке.

Матюшка Кумов кривоног, ходит по-медвежь, левый глаз слегка косит, моложе брата двумя годками. Старшему, Тимофею, тридцать уже исполнилось.

Последышем рода рос Матюшка в семье Кумовых. А поскрёбыш – он и есть поскрёбыш: росточком помельче остальных, здоровьишком поплоче. Матюшку и в армию-то не призвали по причине слабого здоровья да неисправимого плоскостопия. Однако, пока старший армейскую лямку тянул, худосочный поскрёбыш Матюшка жениться успел да курсы трактористов в числе первых завьяловских закончить. Баба Матюшке досталась ядреная, любвеобильная и плодovitая – Антонина, Тося по-простому. К возвращению в Сосновку Тимофея из армии у Матюши с Тосей уже двое девчушек кашу наворачивали, теревя отца за реденькую рыжую бороденку.

Тимофей, в отличие от младшего брата, жениться не торопился. Всё ждал, когда девки подрастут – те, что голышом ещё в Чазанке купались в то время, как он уже погоны на себя примерял. Только и Тимофей своего дождался, женился на молоденькой, худенькой, симпатичной Дарёнке Семёновой.

Первый сосновский брусовый дом принял новоселов осенью шестьдесят четвертого. С одной стороны Лукачи поселились, с другой – Тимофей Кумов с молодой женой. На половине Лукачей девчушка уже самостоятельно шлёпала босыми ножонками по крашеному половицам, Наташкой назвали.

Через год Стефка-гречанка вторым разрешилась, Илькой.

А в зыбке Кумовых первенец Арканя спустя восемь месяцев завякал; хлебные жёвки наяривал сквозь редкую марлю.

Годом раньше, у младшего брата Кумовых, Матюшки, третий народился – белокрысы Лёнька-наследник.

Дружбы большой соседи нового брусowego дома меж собой не водили, однако и ссор крупных тоже никогда не бывало. Ребятня тех и других летом вместе в песочнице пурхалась. Так подустраиваются – по головёшкам только и отличались: Кумовы все белокрысы, Лукачи – черноголовые.

В Сосновке Лукачи всё больше с семьёй Митри Кочару хороводились. Старшой Митри, Колька, уже фотоаппарат в руки взял – «Смену», щёлкал им кого ни попадя; всё консультировался у «опытного» в этом деле дяди Гриня; фотобумагу, химикаты, фотобачок перехватывал, а попервости и печатал карточки даже у него дома. Гриня, глядя на проявленную, ещё мокрую, плёнку Кольки, посмеиваясь, приговаривал: «Всё дым, дым, дым сплошной... А ты говоришь – лучшие кадры...»

Не могли забыть Стефка с Гриней добро Митрино. Месяца три, почитай, жили Лукачи у Кочару, как приехали из Одессы. От них Гриня и Стефку свою увез в кошеве в Завьялово, в роддом.

Вернулась Стефка с запелёной дочкой уже в свою избушку, рядом с домишком Кочару – помог Грине Митря подлатать полуразвалившуюся ничейную мазанку. Из немудрящего своего скарба столик старенький да парочку стульев выделили Лукачам, люлька перекочевала с чердака Кочару в хатёнку Стефки с Гриней. В той люльке до Наташки четверо мальцов Митри перебивали.

И жена Митри, Дука, к покладистой Стефке-веселушке прикипела. Уж очень та напоминала Дуке схороненную пять лет назад сестру-близняшку. Так сестричкой и называла меж собой гречанку Стефку молдаванка Дука. Хоть и разнились в возрасте прилично.

Митрю Кочару бригадиром полеводов назначили в Сосновском отделении совхоза. Дука – в садике воспитателем устроилась.

Грине-моряку почти сразу колёсник дали. И как бывший корабельный машинист-маслопуп обиходил Гриня свой МТЗ, насколько мог. Блестело на нем всё, что могло блестеть на замасленном и заляпанном грязью тракторишке. И имя придумал Гриня своему колёснику морское, женское – *Чайка*. Иначе и не называл. Белой масляной краской вывел он это имя на обеих дверках кабины. А на стек-

ле лобовом, в самом верху, белую чайку изобразил – точно такую же, как синяя накладка на его левом плече. Оттого и летал Гриня на своей *Чайке* по полям да дорогам, что птица морская над безмерными просторами.

Только вот никак не удавалось Грине на быстрой *Чайке* угнаться за своими вечными соперниками – братьями Кумовыми. Те на своих гусеничных завсегда по пахоте его обходили и засеивали больше Гринино. А осенью с тракторов на комбайны пересаживались, подрисовывая на бункерах новые звёздочки с каждой тысячей центнеров намолоченного зерна.

Стефке-гречанке молодняк в сосновском телятнике определили, пообещав взять портнихой, как только в Завьялово новый КБО откроют.

А через десять лет Григорий Лукач с семьёй из казенного двухквартирника в новый, свой дом, переселился, рядом с магазином, в проулке.

Вот так и жили не тужили сосновские лет двадцать без малого, во времена, которые мудрые историки да политологи называли позднее периодом Брежневского застоя. Работали, гуляли, песни пели, детей рожали и растили. Среди них – семьи Кумовых, Лукачей, Кочару.

До поры до времени. Пока врагами не стали. Надолго...

77

5

Километров пять, не меньше, бежали братья берегом вдоль петляющей Чазанки – до самой Ульгиречки, где они оставили дюралевую лодку. От обоих подростков шел пар, парила непросохшая одежда, согреваемая теплом бегущих. Вот только ноги законеченели у обоих. Хорошо хоть носки на ногах остались. У Кадика – шерстяные, у Лёхи Кума – тонюсенькие бумажные, да и те все в дырках. Сапоги – тю-тю... Чазанку хлебуют...

Солнышко выглянуло, уже на западе неба синева стала просвечиваться. Тучи из косматых в округлые превратились, в причудливые, будто кто лепил их из голубой глины, перемешанной с гипсом.

Запахавшись, братья наконец-то добежали до лодки. Переплыли Ульгу, в подножье Митькиной горы ткнулись. Здесь как часовые выстроились в рядок с полдюжины сейфов-контейнеров, куда забирали сосновские свои лодочные моторы.

За время охоты часа четыре прошло, не меньше – вода отступила ещё немного, оставив по пологим краям мокрую ленту из мелких веточек, щепок и прочего травяного мусора. От выглянувшего солнышка принялась парить и обнаженная земля.

– А чья это лодка, интересно? – спросил Лёха.

– Ты чё придируешься, – ответил Кадик, – дяди Грини, Илькиного отца. Будто не знаешь...

– А давай у него и мотор попросим. Ещё не поздно, успеем сгонять и за обласом, и за ружьем...

– Ага, так тебе и дали мотор, – возразил напарник.

– Может, уток наших по пути бы подобрали... Только дядя Гриня ведь в больнице, в Завьялове, аппендицит ему на той неделе вырезали.

– О! И точно! Тогда у Ильки попросим. Он-то, поди, нам не откажет, – озарило Кадика.

– Домой бы сбегать сперва, переобуться хотя бы, – сказал Лёха.

– Да и в сухое переодеться не помешает, – согласился с ним брательник. – Как бы не простыть. Что-то нехорошо мне...

Поднявшись в гору, они ещё издали заприметили Ильку. Тот всё ещё колот дрова, и рядом с кучей напиленных чурок громадилась уже приличная горка колотых поленьев. Увидев приближающихся охотников, Илька опустил колун и поставил его возле лежащей чурки.

– Ну, и как охота? Чё-то вы быстро... Много уток настреляли?

– Много, – ответил Кадик, – донести не могли, надо на моторке ехать. Поедешь с нами?

Илька усмехнулся, поняв, что братья разыгрывают его.

– Нет, правда, а чё это вы такие... вроде как мокрые? И без сапогов?

– Жарко стало, наперегонки с Лёхой бежали. Кто первый добежит до Ульги с Лудинских – тому и все утки достанутся, – прикалывался Кадик.

– Да не слушай ты его, – сказал Лёха Кум. – Перевернулись мы на обласе. Дымова с Зотовым напугались... Кое-как спаслись.

– Да вы чё, правда что ли?! – изумился Илька.

– Вот те и – чё! – передразнил Ильку Кадик. – Ну, пойдёшь с нами? Там и ружьё Лёхино, в воде...

Илька молчал в нерешительности.

– Дай нам тогда ключи от своего мотора, – попросил Кум. – И бензина литров пять. После отдадим.

– Да я не знаю, где ключи. Папка куда-то подевал ещё с осени, – искренне ответил паренек. – Он сам ведь в больнице... Потому и дрова мамка колоть наказала мне.

– А сама-то она дома, нет? – поинтересовался Лёха.

– Нет, на ферму ушла, скоро вернуться должна.

– У-у, жмоты! Греки упрямые, – в сердцах прекнул Ильку Кадик.

– Да мне и не жалко вовсе. Только я всё одно не знаю, где ключи.

– А если поискать получше? – нахально спросил Кадик, будто у остановленного толпой прохожего в ответ на отказ дать закурить. – Вот я тебя сейчас...

Кадик снял из-за спины двухстволку, взвёл курки, наставил ружьё на Ильку. До Ильки было всего метров пять. Лёха с удивлением смотрел на брата, не понимая, что тот собирается делать.

– Так дашь или нет, в последний раз спрашиваем.

– Ну, вы чё такие-то?! Я ж вам русским языком говорю: не знаю я, где ключи.

– Ах, не знаешь?! – смеясь, сказал Кадик. – Получай тогда.

Он нажал указательным пальцем первый спусковой крючок. Раздался щелчок.

– Чё, сдрейфил?! – загоготал Кадик.

Илька улыбнулся своей доверчивой улыбкой.

Кадик, всё ещё посмеиваясь, надавил средним пальцем второй спусковой крючок. К изумлению всех, раздался выстрел, и Илька упал на колотые поленья, по желтоватым сколам которых сразу же заалела кровь.

– Ты чё, офонарел?! Козёл! – завопил Лёха Кум на Кадика. – Идиот!

– Оно же незаряженное, – перепуганно оправдывался Кадик, никак не в силах поверить в произошедшее.

– Ты сколько раз стрелял по уткам, когда перевернулись?

– Кажись, раз всего...

– Раз всего... Идиот безмозглый! – заходился в истерике Лёха Кум.

Братья бросились к лежащему в крови Ильке.

– Илька, Илька, вставай, – тормозили они его.

– Илька, я не хотел, – захныкал Кадик, – не хотел я. Я же понарошку... Илька, понарошку я...

На выстрел из соседнего магазина высыпало с пяток любопытных баб. Загалдели:

– Что случилось?

– Кто стрелял?

– В кого стреляли?

И тут же чей-то всезнающий голос:

– Ильку Лукача убили! Братовья Кумовы...

А Лёха Кум уже бежал с перепуганным лицом и перепачканными кровью руками в контору, звонить в Завьялово да вызывать «скорую».

Материнское вещун-сердце тревожило Стефанию Лукач с самого утра. Ну, просто места себе не находила она – и всё тут. За что ни возьмется – всё из рук валится.

«Может, с Гриней что случилось в больнице? Так

нет, вчера ещё навещала его. Дело, вроде, на поправку шло, никаких осложнений не было. И врач обещал денька через два-три, на праздники, уже домой его выписать. А тут ещё дров неколотых – прорва целая. Перепилить-то их Гриня перепилил, а переколоть не успел, долежались... Заветривать уже стали. Гриня-то теперь, поди, месяца три колун в руки взять не сможет. Ещё немного пролежат в чурках – все руки поотобьешь потом пока исколешь. Надо колоть, край как надо. Ничего, с Илькой-помощником дня за три переколем».

Нарадоваться не могла Стефания на подрастающего помощника. И учился-то Илька всегда хорошо, и не курил, как теперь многие из молодёжи, и помочь по хозяйству никогда ни в чем не отказывался. Нет, правда, хорошего они с Гриней сына воспитали!

А накануне, недели за две до этого, сон Стефании приснился. Будто бы щелкала она кедровые орехи. И всё горькие почему-то попадались. Какую скорлупку ни расщелкнет – там горечь одна, аж плесневело-зеленый дымок идёт... Вот возьми зуб-то у неё и обломись. Да коренной оказался. Щелкала-то она ведь боковыми зубами, клыками, а обломился коренной. И больно так сделалось. И кровь пошла, даже ощущала её солонатовую.

Проснулась тогда Стефания в нехорошем предчувствии – плохой сон, ой, плохой! А через день Гриню-то аппендицит и прихватил. В больницу увезли в Завьялово, операцию сделали, как будто без осложнений всё обошлось. Обошлось ли?

Поуспокоилась тогда, вроде, Стефания, забывать стала про сон этот. А сегодня, раздавая комбикорма телятам, опять почему-то ей тот сон вспомнился. Да так отчетливо – зуб обломленный коренной, с кровью...

Управилась с горем пополам да необъяснимо тревогой; домой поспешила Стефания Лукач. Почти возле самой конторы пацана бегущего увидала, Лёньку Кумова. В глаза ей руки его, перепачканные чем-то красным, бросились. «Ой, нехорошо что-то, беда какая-то приключилась...»

Свернув налево, в проулок, усмотрела Стефания возле своего дома столпившийся народ, с десятка, должно быть. Как воронё слетелись. Ёкнуло сердце: «Гриня!?!» И побежала, ещё не ведая о случившемся.

Узрела окровавленного сына возле кучи колотых дров, ноги у нее подкосились. «Топором поранился! Будь они неладны, дрова эти!», – мелькнула догадка. Упала перед ним на колени, принялась тормошить его трясушимися руками, гладить по лицу. И, как сквозь какую-то пелену, чьи-то слова: «Ар-

кашка Кумов это из ружья стрелил в него...» Потом она упала, закрыв собою сына, как хохлатка накрывает собою цыпушку от ястреба. Заголосила. Запричитала...

После уже в сознании её всё перемешалось, хуже, чем в бессвязном кошмарном сне, который не сбросить с себя; не освободиться от него, не проснуться с невероятным облегчением: и то, как приехала «скорая», и как пытались врачи привести сына в сознание, оказывая первую помощь, и то, как везли его в Завьялово в больницу. Потом она с Гриней маялась по коридорам больницы – пока сын в операционной лежал. Часа три, должно быть, не меньше.

Время для неё будто остановилось. И всё надеялась на врачей, на то, что всё ещё обойдётся. Ну не может ведь быть такого, чтобы её кровиночки, сыночка Иленьки не стало! Ну не укладывалось всё это в её сознании! И Гриня, придерживаясь ещё рукою за правый бок, пряча своё внутреннее волнение, всё успокаивал её. И становилось Стефании чуточку полегче. Надежда в ней теплилась. Вера жила.

А ещё молила она Бога о помощи, о милосердии, о спасении сына.

После операции Илька так и не очнулся. Лежал всё под капельницей с кровью. И под вечер, второго мая, тихо скончался в больничной палате в присутствии отца и совсем обезумевшей матери.

Пошатнулась у Стефании Лукач вера в Спасителя рода человеческого. «Ну за что, за какие грехи?! Что плохого кому сделал её сын?! Или она сама? Или её Гриня?!...»

Бесновалась Стефания в отчаянии. Сама была готова вместо сына Ильки лечь. Казалось, будь возможным, случись чудо – всё что угодно отдала бы взамен живого сына: и хозяйство, и мотоцикл с моторной лодкой, и весь скарб нажитый вместе с новым домом...

Замены такой, однако, никто ей не предлагал.

И возненавидела в тот час гречанка Стефания бывших дружков её сына: Аркашку-убийца да Лёньку носатого! Лютой ненавистью. И никакого прощения им не желала. Отмщения алкала она и всему роду-племени Кумовых – пока молча, про себя; опять же, взывая к Всевышнему, Всевидящему и Справедливому. И уже здесь – непременно на этом свете, а не на том, – не дожидаясь какого-то там Страшного Суда...

Похоронили Ильку на Сосновском кладбище, в тени густого молодого сосняка, где, цвиркая, носились по деревьям почти ручные белки, и так беззастенчиво перекликались пичуги. Свежая крашеная пи-

рамидка выросла над холмиком, увенчанная красной жестяной звездочкой. На пирамидке – Илькина фотокарточка в самодельной деревянной рамочке под стеклом, с комсомольского билета переснятая и увеличенная...

По факту смерти Ильясa Григорьевича Лукача, тысяча девятьсот шестьдесят пятого года рождения, возбудили уголовное дело на Кумовых – Аркадия да Леонида.

Из районного Тарбика следователь приехал. Аркашку Кумова взял под стражу милиционер Дымов, увез из Сосновки в Завьялово подальше от греха и посадил в пустую каталажку под замок.

Следствие шло недолго, дней десять всего. Как-дик с Лёхой Кумом во всём признались. Без утайки поведали следователю обо всём: и про то, как охотиться пошли на уток, как звали с собой Ильку; и про то, как на лодке плыли, боясь встретиться с инспекцией, как второпях стреляли по летящим на них уткам; и про то, как перевернулась лодка, и они сами едва спаслись от смерти в ледяной воде; и про патрон злополучный, что остался в ружье, а они про него забыли, что они вовсе и не собирались убивать дружка своего, а хотели вроде как попугать его, подшутить над ним...

Учитывая чистосердечные признания и раскаяния подсудимых, суд признал вину младшего доказанной. Лёха Кум даже в соучастники не попал. Но потому, как Аркадию Тимофеевичу Кумову на момент преступления не исполнилось ещё четырнадцать лет, – от наказания освободили.

Зато решено было привлечь к ответственности отца Аркашки Кумова – Тимофея. Квалифицировали это как небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условие для его использования другим лицом, повлекшее тяжкие последствия. И мера наказания – год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии общего режима.

И посыпались проклятия гречанки Стефании Лукач на головушки всех Кумовых – прямо тут же, после оглашения приговора суда.

Бившуюся в истерике и проклятиях Стефанию едва вывели из здания, где заседал суд. Но ни там, ни дома – нигде не удавалось успокоить её.

– Стефа, сестричка, да успокойся же ты, – пыталась утешить её, как могла, молдаванка Дука Кочару. – Ну, понимаю, тяжело тебе... Сына не вернёшь... Так ведь и им нелегко... Осудили ведь их. И Тимофея... за сына непутёвого...

– Да будь они прокляты все, убийцы! Весь род их такой! Отольются им мои слёзы материнские!

– Тимофей-то тут при чём? Суд ведь был...

– Да разве это суд?! Убийцы на свободе разгуливают, а сыночка мне никто не вернёт... И этого – тоже выпустят. Разве это справедливо? Разве это суд?! Проклинаю их всех!

– Стефа, бойся Бога. Не бери грех на душу. Бог им судия, – пыталась остановить её Дука.

– Да какого бога? Вашего?! Где, где он, ваш бог? Какой у нас грех перед ним? Бог...

– Не говори так, он всё видит...

– Ничего ваш бог не видит! – в сердцах стенала Стефания.

И вспомнилось гречанке, как в Одессе ещё разыгрывали они «Медею», как в отчаянии призывала та к отмщению богиню Немезиду.

– К своим богам взываю! К Фемиде-правосуднице! К Немезиде – отмщения молю! Да не знать моему материнскому сердцу покоя, пока не дожусь возмездия! Троекратного!...

Смерть Ильки, суд над Кумовыми и слухи о проклятиях Стефки-гречанки ещё долгое время будоражили не только Сосновку, но и Завьялово. Потом постепенно всё это стало утихать, забываться, делаться привычным – как притупляется острота всего нового, становясь неизбежно-обыденным.

Тимофей Кумов, отсидев в Колпашеве весь срок, вернулся в Сосновку худым, постаревшим сразу лет на десять, с крупными щербатинами во рту – мрачным, серым и замкнутым. О том, где ему и как пришлось *чалиться*, Тимофей Кумов вспоминать не любил. Да и внешне-то его пребывание там ни в чем особо не проявлялось: ни наколки тебе нигде, ни эковской манеры разговаривать и жестикулировать. Мужиком был – мужиком и остался. Разве что докуривать стал каждую цигарку до кончиков желтых ногтей да цифирём баловаться дома из большой жестяной кружки. Как и прежде, дали ему в Сосновке трактор, теперь уже ДТ-75, правда, старенький совсем. Но и на нем Тимофей ни в чем не уступал ни брату Матвею, ни Григорию Лукачу.

Стефания Лукач из совхоза уволилась, пошла работать в комбинат бытового обслуживания, портнихой в Завьялово. Каждый день, кроме выходных и праздников, она проходила по улице Сосновки туда и обратно поникшей и молчаливой, тихо и как бы обиженно здороваясь со своими сельчанами. И лишь с семьей Митри Кочару продолжала оставаться общительной и откровенной.

Ни с кем из Кумовых она не здоровалась и не отвечала на их попытки первыми приветствовать её. По возможности и вовсе старалась не встречаться

с ними. И если узнавала, что у кого в гостях из приглашенных будет кто из Кумовых – находила сотни причин, чтобы не пойти или отказаться от приглашения. Густые черные волосы гречанки там и сям простреливала ранняя седина, которую она даже и не пыталась ни от кого скрывать.

И у Грини – тоже седина добавилось на его круглой аккуратной голове. К тому же он начал стремительно лысеть. По-прежнему он работал в Сосновском отделении совхоза. На смену его вконец одряхлевшей Чайке появился новенький «Беларусь» – МТЗ-80. И снова Гриня называл его ласково, по-женски, но уже *Ласточкой*.

Чтобы не беречь лишней раз ни свою душу, ни Стефкину, – надумал Гриня, пока ещё были силы, поставить новый дом, на поляне за бывшей Сосновской начальной школой. Он и место уже там облюбовал, и сосен из бора волоком навозил на своей *Ласточке* – для бруса.

На семейном совете Кумовых Аркашку решено было куда-нибудь сплавить от греха подальше. Уж шибко гречанка грозилась самолично расправиться с ним, коли суд поступил так несправедливо. Сошлись на том, что лучше всего ему будет в Тарбике, у двоюродной сестры Тимофея да Матюшки.

Закончив седьмой класс, отгуляв в Сосновке лето, подался Кадик осенью в райцентр Тарбик, как и было решено, в ПТУ, учиться на электрика.

Да ему и самому от этого было только легче: ведь не считал же он самого себя ни отъявленным злодеем, ни убийцей. Уж так получилось. Виноват, конечно, кто спорит? Так что ж теперь, самому, что ли, вслед за Илькой отправляться? Смерть своего дружка Кадик переживал тяжело и мучительно. Особенно там, в одиночной завьяловской кутузке, во время следствия и суда. И перед отцом своим тоже чувствовал себя виновным...

Постепенно, однако, он стал свыкаться со своим положением и клеймом *убийцы*, как и привык он к своей новой кличке Стрелок. Да если бы можно было хоть на минуту, на полминутки, на пять секунд повернуть время вспять до того злополучного выстрела... И как только он оплошал тогда? Всегда ведь, всегда после охоты, подходя к деревне, он переламывал ружьё, проверяя – нет ли там случайного патрона. А в тот раз... Конечно же, причиной тому, считал Кадик, их злополучное купание в ледяной Чазанке. Эта смертоносная купель, которую они с Лёхой Кумом ещё долго бы вспоминали и переживали, смазалась, затушеввалась почти сразу после выстрела и его последствий. Примерно так же, как забывается досадный промах на охоте уже после её завершения с добычливым исходом...

Молва о Кадиковом «геройстве» быстренько долетела и до Тарбика. В группе, где он учился на электрика, среди отпетых деревенских хулиганов и неисправимых школьных двоечников Аркашку Кумова лишней раз старались не задевать. Мало ли что ещё отмочит этот чокнутый? Зато вместе с молвою перекочевала в Тарбик и его кличка Стрелок. Она прочно приклеилась к нему в среде пэтэушников вместо имени и фамилии.

Учиться на электрика Стрелку нравилось: не то что в школе, где забивали мозги всякими там немецкими, химиями, историей или русским языком. Предметы эти Аркашка считал бесполезными и в жизни никогда не пригодящимися. Ему было абсолютно всё равно: где и в каком веке кто правил; гетмана Мазепу ему ни в жизнь было не отличить от Пилсудского, а Павла Первого от Николая Второго. Тут же было совсем иначе. Не по-школьному взросло воспринимал он и изучал всевозможные электрические цепи, соединения, трансформаторы, конденсаторы, прерыватели и реле. Электротехника его зачаровывала так же, как новенький мопед или мотоцикл «Восход» – какой-нибудь ещё год назад. Потому что была она не только голой теорией, но и подтверждалась наглядной и интересной практикой.

Отработав год после окончания ПТУ, попал Аркашка Кумов в армию, в Забайкалье. В небольшой части, обнесённой со всех сторон высоким забором да загадочными сопками, уже через призыв, доверили ему электрическую подстанцию и всё электроснабжение части. Даже кандеечка у него своя была, где помимо всякого нужного и ненужного барахла оборудовал он себе и уютный лежачок. В ней он проводил многие часы своей службы, за исключением ночного сна, утренних и вечерних поветок, построений и прочих ротно-казарменных мероприятий.

Его иногда видели лазающим по высоким деревянным столбам на бетонных пасынках. На его ногах, как у хищной птицы, красовались цепкие когти. Талия была перехвачена широким монтажным ремнём, на который со спины он цеплял небольшой ящичек со всякими причиндалами: отвертками-индикаторами, пассатижами, кусачками, изолянткой, кусочками проволоки и проводков. За пазухой неизменно топорщились резиновые краги-перчатки.

Повзрослел Аркашка, остепенился. Лишний раз ни командирам, ни старослужащим не перечил. За умелые руки и не особую строптивость характера рядового Аркадия Кумова в части уважали. Во всех праздничных приказах значилась среди других и его фамилия на поощрения. А на *дембель* ему даже ефрейтора присвоили. Про тот кошмарный случай,

произошедший с ним на *гражданке*, здесь никто не знал, за исключением командования части, а сам он про него никому не рассказывал, даже своим самым близким корешам. А зачем им про это было знать?! Да и ему самому лишний раз про это вспоминать не хотелось. Разве что дважды за всю службу, двадцать девятого апреля, будто кто в памяти его делал короткое замыкание...

После демобилизации вернулся Аркашка Кумов в Сосновку, в родительский дом – заматеревшим, в новой форме с иголочки (у молодого, как и положено *дембелю*, позаимствовал), весь увешанный блестящими значками да дембельскими побрякушками. Даже аксельбант сплёл себе и сержантские лычки нацепил на погоны. Герой-защитник, одним словом!

Проходя мимо этого разодетого «героя», в первую же встречу, смело глянула ему прямо в глаза мать Ильки – у того аж мурашки по коже побежали. А та сквозь зубы, кратко процедила:

– Вернулся, убивец?! Вернулся... Будь же ты проклят!

Не отгуляв и положенного месяца, после того как снял армейские погоны, Аркашка Кумов уж как-то поспешно женился. На приезжей, в Завьялове. Туда и переселился. А через семь месяцев пацанчик родился у молодоженов. Поговаривали, будто не от Аркашки. Колюнькой назвали.

И завертелись-закружились в Завьялове и его окрестностях вихри перемен! Месторождения нефти и газоконденсатов стали разрабатывать менее чем в ста километрах от них. Людей всяких понаехало – тьма! Контор, гаражей, складов, общежитий понастроили. Аэропорт Завьяловский едва справлялся с грузоперевозками. Над его небом постоянно стрекотали *вертушки* и грузо-пассажирские самолетики АН-2.

А главное – дорогу к ним повели! Широкою, просторною – через то самое проклятое непроходимое болото, от самого Тарбика. Техники понагнали – уйму! Столько Аркашке Кумову и в армии-то видеть не доводилось. Устроился он в ДРСУ, но по специальности, электриком. Хорошо зарабатывал! Деньги рекой текли – вкладывались в строительство дороги – и из областного бюджета, и из министерского, и даже из федерального. Прилипали, конечно, и к нечистоплотным рукам местных загребущих комбинаторов, однако и рабочих не обижали.

В Завьялове молодая семья Аркашки Кумова квартиру получила в новом брусовом доме. Как весенний скворец, тащил в неё Аркашка всё новень-

кое, обустроивал своё гнёздышко. Дефицитные по тем временам, на талоны, ковры устилали прохладный пол, собирали пыль на стенах спальни и детской. Стенка полированная стояла в зале, на кухне – новенький гарнитур. Из ОРСовских магазинов в дом Аркашки перекочевывали ящики и коробки со сгущенкой, тушенкой, компотами-ассорти и марочными винами. И на машину, в очередь, встали уже, денегжата прикапывали...

Только начал замечать Аркашка, что женушка его, Любаша, всё чаще навеселе появляться моду взяла. А то и вовсе, – приедет Аркашка запоздало с работы – в квартире бардак-кавардак, горы посуды немытой, на столе объедки неубранные и пустые бутылки валяются. И сынок, Колюнька малолетний, всё чаще у дедов в Сосновке оказывался.

Не понравилось такое Аркашке, а кому понравится? Раз-другой поговорили с Любашей *по душам* – не помогло.

82

Вернулся как-то с работы – Любашу застал среди хмельной компании разбитных шалав да ухарей из экспедиции. Колюнька сопливый изревелся уже весь, колготки мокрые. К папке на грудь бросился, ручонками шею обвил и плачет взахлёб.

Разогнал Аркашка Кумов из своего дома собутыльников женушки своей. Парочку раз зафитиленил Любаше в целях воспитания-профилактики. Фингал у той засветился под правым глазом дней на десять, хоть потемну без фонарика хаживай.

Дальше – больше. Перевели всех работающих в ДРСУ на строительстве дороги на двухсменную вахту. По полмесяца и работали, и жили прямо в вагончиках-балочках, на самом краю болота, в девяносто километрах от Завьялова.

Воротился домой Аркашка Кумов после первой такой вахты – бабу свою, Любашу, с каким-то хахалем из управления разведывательного бурения застукал. Сморчок, не хахаль против Аркашки, а поди ж ты... Ладно, хоть исподнее на себя напялить успели, пока он в двери колотился. Только постель, всё одно, красноречиво говорила хозяину о совсем недавних баталиях на ней.

Рассвиrepел, заклокотал Аркашка, как забайкальская Селенга после ливня, где он служил. Хахалю Любашиного подвернувшейся бутылкой по башке оглоушил. Да сам испугался, когда у того ноги подкосились. Почему-то тут же окровавленный Илька ему вспомнился. Любашу бить не стал.

– Где Колюнька?! – спросил у неё.

– В Сосновке, – пьяно ответила та. – Ну, бей и меня! Чего не бьёшь, убивец?! Тебе ведь не привыкать, бей, Стрелок!

Скрежетнул Аркашка зубами, хлопнул дверью, к родителям в Сосновку подался. И почти полмесяца пил, не просыхая.

В первый же день следующей вахты повис Аркашка Кумов на высоковольтной опоре. Аж обуглил весь – смотреть было страшно...

Скорое следствие установило: суицид.

И впервые за восемь последних лет гречанка Стефания Лукач, услышав про Аркашку Кумова, лицом просияла. Даже в новое модное платье вырядилась.

– Ты чего это сегодня такая? – удивился Гриня, придя домой после работы. – Про Аркашку Кумова слыхала?

– Ещё бы! – злорадно отозвалась Стефка. – Это ему за нашего Иленьку...

– Парнишонку его жалко... Безотцовщиной вырастет.

– Тебе-то какая забота?!

8

Покидать родную Сосновку или Завьялово для местной молодежи было не модой, скорее необходимостью. Парням – тем проще. Как-никак, а в Завьяловской школе, ещё с середины шестидесятых годов, почти всем ребятам вместе с аттестатами зрелости выдавали и удостоверения тракториста-машиниста широкого профиля. Не хочешь дальше учиться – иди механизатором в совхоз. Или трактористом в экспедицию устраивайся. К тому же, если годен по состоянию здоровья, непременно призовут на службу, куда-нибудь на Дальний Восток, а то и за границу: в Чехословакию, Польшу, Германию, Монголию на худой конец. Лёха Кум, так тот в восемьдесят четвертом году в Афганистан угодил. Лучше бы уж такой заграницы и не видеть ему, а всё же...

Девкам – этим похуже. И завсегда так было. Не уедешь в город – одна дорога: на ферму, дояркой. Или, как теперь стали называть, оператором машинного доения. А суть-то одна остаётся. Изю дня в день, изю дня в день – вставай ни свет ни заря: здоровая или больная, рано легла спать или поздно, трезвая или с похмелья... Идти всё одно надо. Подойти, управиться утром и вечером. Да дома ещё – те же корова, овцы, свиньи, куры. И за всеми уход нужен. А рук-то – всего две! Можно, конечно, и голытьбой пробавляться, ни кола ни двора не имея, но такое пока в деревне не поощрялось.

Вот и Вика Кумова, самая младшенькая из куста

Матюшки, сестричка родная Лёхи Кума, после школы, в семнадцать лет, в Томск подалась на учебу.

Времена наступили в стране тревожные. Забастовки-голодовки среди рабочих да прочего населения. На их волне всякой пены наверх навывбрасывало – якобы, радетелей народных, демократов. Те из митинговых крикунов как-то разом в народных избранных превратились. Депутатами всех рангов и уровней стали. И очень даже быстренько смекнули, что на этом деле кроме мандатов да красивых значков можно и капиталом заработать, карман свой набить. А народу... Да зачем это ему, народу?! Какие-такие обещания?!

Все беды-промахи новоявленные демократы на коммунистов свалили. Да и сами лидеры-коммунисты, что попы-расстриги, в демократов окрашиваться стали. И опять больше о себе думали, чем о народе. И народ понять не успел: как же это вдруг всё из *нашего общего* в ненашенское превратилось? Наживали-то всем миром, почти семьдесят лет...

83

В Томске Вика Кумова в техникум поступила. Точнее, в колледж – теперь так стали их называть. В фармацевтический. Вывеску-то там сменить успели, а так – всё по-прежнему осталось. Даже общежитие в стареньком крашеном двухэтажном доме, построенном ещё в середине прошлого века. В комнате ихней аж десять человек поселили. Вместе с первокурсниками парочка разбитых третьекурсниц оказалась.

И повадились к ним в общагу парни-ухажеры. Да все какие-то наглые, нахальные, приставучие. Глаза у которых – так и вовсе мутно-стеклянные.

– Тюня ужаленный сегодня был, – поведала как-то Вике третьекурсница Ольга.

– Как это? – удивилась та. – Шоршни его, что ли, покусали?

– Сама ты – шоршень! Оттопыренный он...

Вика поглядела на новую подружку, будто с иностранкой разговаривала.

– Чё, не понимаешь? Иль тормозом прикидываешься?

– Нет, – честно призналась Вика. – А что это такое?

– Да какая тебе разница? – отмахнулась было Ольга.

– Нет, ты всё-таки скажи мне, – настаивала Вика, которую одолевало любопытство.

– А что, у вас в деревне ещё такого нет?

– Чего – такого?

– Ну... не кумарят? А мак у вас ещё растёт в огородах?

– Вроде как растёт, – пожала плечами первокурсница, не понимая, куда клонит подруга. – А чего ему не расти-то?

– Ладно, проехали. Потом поймёшь. Короче, этот Тюня косушку зарядит и тащится... А то – ляпками ширяются...

– Ты нормально, по-русски мне объяснить можешь? – с раздражением спросила Вика.

– Наркоманы это! Поняла? Ты чё такая-то! А Тюня, между прочим, на тебя глаз положил...

– Да мне-то до него – как-то... до лампочки, короче...

– Да ты не бойсь. Так-то он ничего, прикольный! И дружок его, Саня – крутой! А остальные – стрёмные все. Саня, правда, алкаш. Ему наркота по фигу. Ему бы выпить да потрахаться... Предки у него классные! В командировке, в загранке уже третий год. Знаешь, какие прикиды ему шлют оттуда?! – Ольга аж зажмурилась от зависти. – У него и видак есть. А давай как-нибудь сходим к нему? Хрустики как появятся – завалим к нему. А у вас в деревне видик есть у кого?

– В клубе стоял. Вечерами у нас в Сосновке крутили. А теперь вроде как и клуб там совсем закрыли.

– А чё крутили-то? Небось, ужастики с боевиками? Я их не обожаю. Мультки мне больше нравятся. А больше всего эротика. Или порнушка. Ты там у себя смотрела что-нибудь?

– «Греческую смоковницу» смотрела, – будто по секрету, признаваясь в большом грехе, ответила Вика.

– И всё?! Прикольно, но не круто! Ладно, тут ещё насмотришься. К Сане сходим. Там у него порнушку крутят почти каждый раз. А потом... Хотя, если тебе не нравится, никто тебя не принудит... Только после порнушки – знаешь как разбирает?! Да ты, поди, у нас девочка ещё?! Иль нет? – лукаво поинтересовалась Ольга.

Вика засмущалась ещё сильнее, сразу вспомнив, как в самом конце десятого класса она с Юркой-бурильщиком в бане оказалась ночью, после вечернего костра. Там-то всё впервые и случилось, на коротком скользком полке... Потом он ей сам даже замуж предлагал. А какое там замужество, когда одиннадцатый класс заканчивать надо, год ещё в школе учиться? Потом было ещё три раза. И Вика всё боялась *залететь* – понимала, что это вовсе не такие уж и безобидные игры. А Юрка всякий раз доставал из какого-то кармашка продолговатые пакетики, «проверенные электроникой»...

Сызмальства росла Вика Кумова покладистой и спокойной. К тому же – красивой. Уж что-что, а пар-

ни на неё заглядывались. И не только в ихней Сосновке, но и в Завьялове. Все подружки её ещё в пятых-шестых классах волосы коротко пообстригали. А она лишь в десятом классе решилась на это, жалела свою длинную косу. Тогда же и уши проколола, вставив золотые сережки, что подарил ей брат Лёнька, вернувшись из Афганистана.

Как и брат Лёнька, была она светловолосой, но не в пример ему – с аккуратным небольшим носиком и живыми, с хитринкой, голубыми глазами. А уж как ресницы свои накрасит да бровки подведет...

Старшие сёстры Кумовы, Галинка да Татьяна, давно уж замуж повыскакивали. Вика тогда ещё и в школу-то не ходила. Как уехали учиться в Новосибирск, так и выпорхнули из родительского гнезда. Мужья у них – оба военные. Галинкин – уже майор, в Уссурийске служит, а у Танюшки – аж подполковник. Тех на Камчатку занесло. Галина в школе работает, в начальных классах, Татьяна – сейсмологом. Рыбу Кумовым красную да икру посылками высылают или привозят, когда сами в гости навещаются в Сосновку. Аркашку, брата двоюродного, когда хоронили, – телеграммы соболезнования от них получали. Вот и брат Лёня в Афганистане почти год отслужил. Ранен был. Прапорщиком оставался на сверхсрочную, потом домой, в Сосновку вернулся. В экспедиции работает. А ещё есть брат Валентин, пятью годами старше Вики. Тот в Омске, сельскохозяйственный институт заканчивает.

Учеба в колледже Вике с трудом давалась. Особенно химия и латынь. Ну не понимала она химию – хоть убей! А латынь... В школе немецкий изучала, с двойки на тройку перебивалась. А тут латынь... И к языкам у неё не лежит душа. Каждый день зубрить приходится. И зачем только она подалась в эту фармочку? Ведь советовал же ей Валик на экономиста учиться. Можно было бы и в ихнем же, сельхозе. Всё убеждал её, что экономисты будут скоро самыми востребованными и оплачиваемыми работниками. Да откуда только Валентину знать было про это?

А тут ещё эти кавалеры достали. Что ни вечер – как к себе домой, к ним в комнату так и прутся. И не скроешься от них никак, не выгонишь. Уже и вахтерам жаловались, чтобы не пропускали тех к ним больше, и коменданту общежития – толку никакого. Саня хвалился, что вахтерам он суёт, а комендант-ше они пригрозили. Припрутся человека три-четыре со своим двухкассетником, врубят на полную катушку, понакурят прямо в комнате. И девчонок лапают.

И Тюня этот – приставучий. К ней, Вике, всё клеится. Сперва, вроде, Саня был, а теперь Тюня. Вообще-то его Вадиком зовут по-настоящему, только

так его никто из друзей не называет: Тюня да Тюня. То ли потому, что фамилия у него Тюнин, то ли ещё почему. Сам он тощий и длинный, как глист. Волосянки русые, редкие на голове. Спереди, правда, чубчик топорщится. Лицо у Тюни худощавое, серые глаза глубоко западали; нос длинный с горбинкой – словно топорик туристский, а ещё такие заострившиеся носы у покойников бывают. Уши торчат лохоторами, и говорит врасстяжку, нараспев, только тихо и как бы через силу. Двадцать два года ему уже. Говорит, что в политехническом учился, теперь в академе... Если не восстановится после зимней сессии – в армию грозятся забрить. Только ему эта армия – как молодоженам постоялец в спальне.

Приставать к Вике стал Тюня после того, как Ольга уговорила-таки сходить её к Сане домой. Собрались там вшестером: трое их, из фармочки, да трое парней. Кроме Тюни с Саней ещё какой-то незнакомый был, с волосами-хвостиком, перехваченными сзади резинкой. Сперва выпили все. Кроме Тюни – тот сразу травкой раскумарился. Потом видак включили. Порнуху, разумеется. И как только такое можно смотреть всем вместе?! Это, если бы ещё в одиночку или на парочку... Девчонок принялись лапать. В основном, Саня с длиннохвостым. И к Вике – само собою. Едва вырвалась тогда она, без подружек. После этого почти всю ночь заснуть не могла. Подружки её лишь утром в общагу вернулись...

Ну, и какая после всего этого может быть учеба?! Какая химия с латынью в голову полезут?!

Подошел новый 1992 год.

Встретила его Вика прямо в общаге, в комнате, девичником. И хорошо так было без этих противных забулдыг, вроде Тюни с Саней. Вина выпили, песни попели, потанцевали. Потом телевизор в холле смотрели – новогодний вечер. Вика тогда ещё с надеждой подумала: «Может, и отвяжутся от них эти наглецы?» Зря надеялась.

Почти сразу после нового года Вике с Камчатки перевод пришел, сестра выслала ей на куртку. Ольга тогда ещё и квиток-извещение принесла:

– С тебя причитается, подружка!

Она же, видно, и Тюне с Саней про перевод проболталась. В первый же вечер те явились не запылились, ужаленно-поддатые, как обычно. Стали у Вики деньги выманивать, как та лиса у вороны сыр. Сперва займы просили, хотя бы с полсотни, на недельку всего. Только знала Вика, как они займы берут на недельку. В прошлый раз заняла им двадцатку – до сих пор отдают.

На следующий день возвращались они с Ольгой

в общежитие – долго в библиотеке просидели, к зачетам готовились. Встретили их недалеко от общаги трое, в безлюдном темном местечке, видать, поджидали. У всех троих чулки капроновые на головы натянуты были. Деньги требовали. Грозилась даже расправой, если добровольно не принесут. В одном из них Вика вроде как Тюню признала, хотя тот и молчал всё время. А один, явно незнакомый, не то предложил остальным, не то пригрозил Вике:

– На иглу подсадим... Ширнём парочку раз – наша будет, никуда не денется. Собачонкой сама за нами гоняться станет...

А через три дня и вовсе избили Виду. Да так, что она и сознание потеряла. Когда очнулась – почему-то была уже у себя в комнате, в общаге. Девчонки хотели уже и «скорую» вызывать, Вика сама их отговорила. И в милицию никуда заявлять не стала.

Слегка поправившись, запустив сессию, бросила всё Вика Кумова: и учебу эту бестолковую, и непутёвую фармочку с её общагой, и город чужой, злой. В Завьялово улетела на самолёте, денег только на билет и осталось от перевода.

– Всё, выучилась! – вызывающе призналась она отцу с матерью. – Больше в город не поеду!

– Да ты чё, в своем уме? – укорял её рыжебородый отец Матвей.

– Коровам дойки дергать всю жизнь, как я, здесь будешь?! – поддержала было Матвея и мать Вики. – Ты только посмотри на мои руки – все пальцы артритом поисковерканы...

Вика стояла молча, не ожидая такой встречи дома.

– Ладно, мать, не шуми, – первым сдался отец, зажимая в горсть большую бороду, косолазю поглядывая на обеих. – Будем думать, как здесь нам её устроить. К Леньке пусть идет, в экспедицию. Диспетчером там каким-нибудь или секретарём...

– К этим жеребцам?! – вспыхнула мать.

– Ну, так уж там все и жеребцы?! Будто в городе их нет...

Так и осталась Вика Кумова, самая последняя дочь Матюшки, в Сосновке.

А тут – как понеслось... Словно в пропасть какую падали все. И незнакомое ране слово *инфляция* стало разом важнее всяких сообщений. Прежде-то кто и слышал про такое, думал, что это явление исключительно для дикого Запада.

Народ злым сделался, встревоженным, напуганным, дерганным. Улыбки на лице не встретишь, будто в большом доме покойник лежал.

Все накопления-сбережения, какие у кого были: кто на машину копил, кто на квартиру, кто на мебель, а кто и на последнее пристанище – в одно

мгновение в тар-тарары провалились. Всё прахом сделалось. В этой канители и зарплата у всех в сплошные бумажки превращаться стала. Стоило ли Вику куда и на работу устраивать заради каких-то бумажек?

И сама она как будто с лица спадать стала, никнуть. Жаловалась частенько матери: болит, дескать, голова. А что и где – непонятно. Про то, как избили её в городе, сперва Вика никому дома не обмолвилась. Потом как-то Лёнке призналась. А тот уж и матери рассказал.

Забеспокоились родители, глядя на увядающую дочь. К врачам, в амбулаторию, в Завьялово отвезли Вику. Там, осмотрев, в больницу положили. Дескать, анализы надо бы сделать. Только и анализы ничего не показали.

Пока то да сё – весна подошла. Вике бы ожить тут, как кандычку весёлому, а она наоборот, что ни день, то всё хуже и хуже.

Прознала про те злоключения в городе да про болезнь Вики Кумовой Стефания Лукач. Вроде и пожалела девчущку, только у самой те проклятия в уме захоронились.

В Тарбик, в больницу районную отправили Вику в августе, когда ничего уже в Завьялове сделать не могли. Полагали: раз больница районная, значит и врачи там опытнее. А главное – диагностика совершеннее.

Оттуда уже весть дошла до Кумовых да и всех деревенских. Весть нехорошая, страшная, как приговор судьи: злокачественная опухоль головного мозга. Рак, стало быть. Сказались последствия побоев... Хуже того – последняя стадия. Тут уже ни химии, ни радиации делать нечего. Да и на операцию надежды мало – разве что безошибочно подтвердить жестокий диагноз. Домой выписали Вику – ясное дело зачем...

И стала из Завьялова в Сосновку, что ни день, «скорая» наведываться. Приедут, укол поставят Вике, та поуспокоится вроде. «Вот и подсадили на иглу», – со слезами вспоминались ей угрозы того, что был с чулком на лице. Забудется на час-другой, а потом опять – боли, как поднимающаяся вода в Чазанке во время половодья. Криком исходит Вика от болей. Прописали ей морфий врачи. Сами Кумовы и кололи уже Вику, то мать, то отец. Мучались, глядя на то, как первой из всех детей никнет их последний любимый цветочек.

Померла Вика осенью. На Покров. Снега, правда, ещё не было. Спешно съехались на похороны младшенькой Кумовы: и Галина с Татьяной – самолетом прилетели из такой дали, и Валентин (уже аспирант) из Омска, и Лёха – с вахты выдернули...

Ну и двоюродные, Тимофеевы, какие по близости, тоже собрались.

Похоронили Вику рядышком с Аркашкой, на Сосновском кладбище.

– Это им всем мои слёзы отливается, – говорила гречанка Стефания соседям своим да мужу Грине. – Пусть и они поймут материнское горюшко...

– Вике-то за что, девчонка ведь безобидная? – возражали бабы Стефании.

– А наш Иленька кого обидел?

– Грех это – беды желать другим, ой грех. Не похристиански это, – роптали соседки стареющей уже гречанки.

9

После восьми классов Лёха Кум ни в какое ПТУ не поехал, остался доучиваться в Завьялове. Ходил попервости, стараясь быть незаметным. Ему постоянно казалось, что его сверстники и однокашники всё шушукуются, умолкая при его появлении, говорят именно о нём. И осуждают их с Кадиком. Да он бы и сам осуждал, окажись на их месте кто другой.

И он никак не мог поверить в реальность той нелепицы. Ну не хотели ведь они убивать Ильку! Даже Кадик. Про себя уж и говорить не стоило. Будь они неладны – и эта охота, и заряженное ружьё, и «шутка» Кадика...

Через два года в его аттестате зрелости троек было гораздо больше, чем остальных отметок. Какой уж тут институт?! В техникум бы куда поступить.

Как и все сосновские с завьяловскими, направился Лёха Кум после окончания школы в город, ловить за хвост удачу – в железнодорожный техникум. Хотел на машиниста выучиться, поезда водить по необъятным просторам, Россию-матушку поглядеть. А если удастся, и за границей побывать.

Только удача та для Лёхи юркой ящеркой мелькнула, оставив ему лишь оборванный хвостик. На первом же экзамене по сочинению срезался он подчистую. Оставался, правда, ещё один шанс – поступить на заочное, но ждать повторных экзаменов он не стал. Подался к себе в Сосновку, к родителям. Худо-бедно, а удостоверение тракториста-машиниста у него уже было. Только идти в совхоз, как дядька Тимофей или отец, ему не хотелось.

Прослышал он про экспедицию. На буровые стали молодых мужиков вербовать, обещая хорошие заработки и возможность выучиться заочно на бурового мастера. Однако стать бурильщиком Лёхе не пофартило – вакансии в тот момент не подвернулось. Усадили его всё на тот же трактор.

Год отработал Лёха на нём, матерей и входя в мускулатуру – кость-то у него природная, широкая, хотя и от матери досталась.

За второй год дважды в резервной команде оказывался, получая отсрочки от службы в армии. Только не забыли там и про него. Да Лёха и не прятался, не боялся армейской службы: мало ли кто там баблонит про какую-то дедовщину и мордобои. Неужто он, сибиряк, да не постоит за себя?!

Служить попал Кумов Леонид попервости в небольшой городок Юргу, за Томском, в танковую часть. Оттуда его в учебку направили, в Омск. Через полгода надели на плечи Кумова сержантские погоны. Только к себе в часть по стечению обстоятельств он не вернулся, а угодил аж в Среднюю Азию, с берегов желто-мутного вальяжного Иртыша на строптивый Вахш, под Курган-Тюбе, что в Таджикистане. И должность молодому сержанту определили нешуточную – командир бронетранспортера.

Войска советского ограниченного контингента уже пятый год глотали пыль и жарились в пекле Афганистана, выполняя интернациональный долг и теряя людей с боевой техникой. Туда, как на заклинание, требовались всё новые и новые жертвоприношения.

В части, где оказался сержант Кумов, объявили набор добровольцев. Попал в число добровольцев и Лёха. А куда деваться, если вся их рота в тех самых «добровольцах» числится? Да кабы только одна рота – вся часть, считай, – весь их отдельный инженерно-саперный батальон. Мало кому тогда удалось от интернациональной миссии устраниваться.

Афганистан – не Сибирь. Даже и не Таджикистан, где Лёхе всё было в новинку. Афган – страна чужая и, как говаривал красноармеец Сухов, – тонкая.

Лёха не переставал удивляться и поражаться увиденному. Но пуще всего – царившей там нищете, особенно в кишлаках, в многодетных забитых семьях. Блестящие, как недосушенные черносливы, глазенки ребятишек с испугом и любопытством смотрели на советских воинов-освободителей. И не понимали того: кого эти дяденьки, в сапогах, пыльных афганках и с автоматами, приехали здесь освобождать?! И от кого? Кто их позвал сюда?

Худые грязные ручонки, как у цыганят, которых Лёха видел на вокзалах Томска и Омска, с тревогой и надеждой тянулись к солдатам. И те понимали: просили есть. И солдаты не скупились, раздавали из своих сухих пайков галеты, кусочки рафинада, банки со сгущенкой, тушенкой и кашей. Возле полевых кухонь всегда кучковались эти оборвыши с пустыми черепушками в руках. Не обходили их и здесь...

Закутанные в паранджу, женщины прятались от чужеземцев, стараясь отсидеться в сложенных из серого камня строениях. Седобородые смуглые старики, поджав ноги под себя, в рваных замызганных халатах и тюрбанах, истуканами сидели, куря из длинных кальянов опий. Все взрослые мужчины будто повымерли разом, встречались в кишлаках крайне редко.

За полгода службы на чужбине сержант Кумов из своего расчета потерял двоих солдат. Увёз «Чёрный тюльпан» в Союз и командира их взвода лейтенанта Спицына – совсем молоденького худенького офицера, почти ровесника Лёхи.

И какая-то неудержимая, необъяснимая злость накатывала на Лёху, необузданное чувство мести этим длиннополым и бородатым чмо-духам! А ещё – на своих. Тех, кто послал их сюда, отсиживаясь в безопасных штабах и роскошных московских квартирах под персональной охраной!

87

Чтобы успокоиться и как-то отвлечься, пробовал сержант Кумов, и не раз, курить травку. И как будто помогало на время, отступало от него, накачивала эйфория и прострация. И становилось абсолютно по фигу: и эта непонятная война, и те, кому всё это выгодно...

Два раза попадал сержант Кумов в засады, сопровождая колонны. Словно в тиски зажимали их горы. И с них, из укрытий, поливали по колоннам духи. И не поймёшь – откуда лупят! Стрелял и он из своего автомата, прикладывался к станковому пулемёту, ухал гранатомётом – бил наугад, по тем местам, откуда стреляли. Будто из самого себя выплёскивал ту самую злобу и ненависть! Попадали в кого – кто его знает... А хотелось попадать, ох как хотелось!

Под Гератом их снова зажали. Горная река Герируд клочкотала, сливаясь с очередями выстрелов и разрывами снарядов.

Будто шершень-девятитьник жогнул Лёху в левую руку, повыше локтя. Только навывлет, вырвав с другой стороны клочьями кожу и ошметья мышц. И кровь заструилась вниз, к кисти, пропитывая потную, выбеленную афганским солнцем, гимнастерку. Совсем как тогда, пять лет назад, по Ильке...

И было до банального просто: всё равно что трижды наступить ногой на одни и те же грабли. Вели колонну. БТР Лёхи шел в голове. Первому и досталось. Сперва лязгнули гусеницы, потом шарахнуло так, что голова загудела колоколом. Сообразить, однако, успел: подбили, выбираться надо из этой братской могилы, пока не рвануло. Прихватив автомат, суетно покинул горящий уже бронетранспортер. Горела и последняя машина колонны. Осталь-

ных расстреливали методично, будто на учениях. Как охотники на номерах... Уж и не чаял живым выбраться из этой мясорубки сибиряк сержант Кумов. Хорошо, подмога подоспела – вертушки да десантники. Вертушкой же и вывезли с места боя раненого Лёху.

Случилось то 1 июня 1985 года. В Международный день защиты детей. А ещё, конечно же, по случайному совпадению, именно в этот день, пять лет назад, был суд и оглашение приговора в далеком отсюда Завьялове по факту убийства Ильаса Лукача...

Только на такое совпадение обратил внимание Лёха Кум много дней спустя, уже в госпитале, проснувшись от кошмарного сна. Во сне он всё ещё отстреливался от духов. И он хорошо видел, как бородач, очерившись гнилыми зубами, почти в упор целился в него из автомата. А у него кончились все патроны. И ему некуда было даже спрятаться и хотелось притвориться уже убитым...

В Афган сержант Кумов больше не попал. Да и часть их вывели, точнее то, что от неё оталось, на формирование. Два года армейской лямки позади остались. И две отметины: одна на руке от ранения, другая на груди – медалью «За отвагу».

Ему бы домой в Сосновку героем вернуться и передать братьям да племяншам свои армейские значки да форму – ан нет. Видать, и впрямь – есть упоение в бою! А может, кровь Ильки невинно пролитая или проклятия его матери, гречанки Стефании, не давали покоя Лёхе...

Стал подумывать сержант Кумов остаться на сверхсрочную, податься в школу прапорщиков. Учлище военное ему вряд ли потянуть – не те знания, да и годы упущены. А на прапора можно! Почему ж нельзя попробовать?! Ведь не на всю же жизнь.

Окончив школу прапорщиков, попал Лёха Кум по контракту на север, в заполярный Норильск, там год службы за два засчитывался, как и в Афгане. Только пули не свистели, мины не рвались, друзья не гибли. Ротным старшиной отбарабанил прапорщик Кумов, частенько и ночуя в казарменной каптерке, напиваясь и матерясь.

Семейная жизнь у него не сложилась, а может, и не стремился он к ней вовсе. Нет, шалавами на ночь другую Кумов обделен никогда не был. Но чтобы на всё время – семья, дети...

За семь лет армейской лямки лишь дважды побывал Лёха Кум в Сосновке, как-то особо и не тянуло. Получал, правда, нечастые письма из дома от родителей да от младшенькой сестренки Вики. С Кадиком ещё во времена действительной перебрасывались конвертами с треугольными штемпелями.

Уже в Норильск Вика первой написала про смерть Аркашки совсем детским почерком. Подробности от родителей узнал. И защемило у Лёхи в груди, будто в Афгане потерял проверенного боевого кореша.

И снова, в который раз, с каким-то укором и доверчиво-наивным удивленным взглядом, взирал на него Илька. Тот Илька, четырнадцатилетний, на него – широкоплечего, заматеревшего, многое повидавшего...

Распростившись с Заполярьем и армейскими корешами, нарисовался старший прапорщик запаса Леонид Кумов в Сосновке. В его белёсых волосах ловко маскировалась седина, словно афганские духи в зеленке.

Вернулся без семьи, без нажитого капитала, без гражданской специальности, как одиночный поставивший бирюк, случайно забредший во владения своих родичей. Как и восемь лет назад, в совхоз его не тянуло: насмотрелся в детстве до изжоги на каторжную крестьянскую долю родителей и сельчан.

88

Устроился Леонид Кумов опять в экспедицию. Сел за знакомые рычаги АТС-вездехода. Работали вахтами по полмесяца. Улетали на точки вертушками из Завьяловского порта в болотистые урманы: на изнуряющий гнус, зной и бездорожье – летом, сорокоградусные морозы и глубооченные снега – зимою.

Год прошел, другой, третий. Одно и то же, одно и то же. Из вахты в вахту, из смены в смену. Полмесяца на вахте мантулят, полмесяца хмельным бездельем маются. Попервости, пока рубль ещё в цене был, частенько выбирался на Большую землю: то в Томске поразвлечься, то в Тарбике гульнуть. Разок даже в Москву маханул – к афганским корешкам на встречу.

Только и дома, и на вахте, и в городе чувствовал он себя вроде кукушки, не свившей своё гнездо. Куковать – куковал, брачные игрища устраивал, просыпался с головной болью рядом с незнакомыми, чужими, разившими перегаром, бабёнками – и ещё тоскливее становилось.

Особенно задурил Лёха после того, как опустил собственноручно на Сосновском кладбище в глубокую коричневую могилу свою любимицу – младшенькую Виду. Почти рядом с Кадиком – брательником и другом.

И всё порывался разыскать в Томске тех мерзавцев, про которых как-то призналась ему Вика. Даже в общагу, в фармочку, разок заглянул. Разыскал и подружек Вики. Понабрал дефицитных дорогих продуктов, вина – помянули, как принято. Те уже ему всю правду подробненько и выложили: и про

Ольгу, и про Тюню, и про Саню. Только сказали, что искать их теперь уже бесполезно. Ольга окончила колледж и куда-то уехала, Тюня вроде как откинулся от передозы, а Саня сидит за грабёж...

И опять – тоска и безысходность, хоть волком вой на луну в зимнюю морозную ночь.

На Кавказе, в Чечне, заваруха приключилась.

Смекнул Лёха Кумов почти сразу, что это надолго! Уж очень похоже всё было на Афган, на тот чужой, далёкий Афган, где только и почувствовал он себя в настоящей мужской работе.

Во время очередной послевахтовой вылазки в Тарбик бросилось в глаза Лёхи Кума объявление о наборе добровольцев, механиков-водителей и саперов, для борьбы с террористами в Чечне.

И зачесалось-зазудилось у старшего прапорщика запаса Леонида Кумова где-то внутри. Сначала чуть-чуть, потом всё сильнее и сильнее, будто рана на непогоду.

Подался в райвоенкомат узнать об условиях контракта. Деньги пообещали, хоть и небольшие, но разом, по возвращении. Не то что нынешние, вахтовые, – вроде как и зарабатывал неплохо, а на руки *пшик* выходило. Всё задерживали, выплачивая в месяц по десять-пятнадцать процентов от задолженности, вынуждали выбирать у коммерсантов залежалые бартерные продукты втридорога. К тому же у Лёхи была мечта, хоть и совсем недавно появилась, но мечта – купить на материке квартиру. Пусть небольшую, однокомнатную, но свою. Да и жениться пора бы – родители уже ему все уши прожужжали этой женитьбой.

И опять, как в Афганистане, старший прапорщик Кумов – среди бойцов в камуфляжной форме. И в засадах отстреливался, и сослуживцев терял, не успев толком привыкнуть и подружиться. И горы, и зелёнка, и мины-ловушки...

И привыкание к опасности. А вот это – уже плохо! Кто только не поплатился на войне, утратив бдительность?! Только войной всё это, как и там, никто официально не хотел называть: боевые операции, зачистки, борьба с террористами.

Полгода всего и провоевал в Чечне старший прапорщик Леонид Кумов. Ну, сколько же можно с судьбой в рулетку играть? Шли по зелёнке, в районе Шали. Кумов группу вел из пяти человек. Зацепил ногой за растяжку. Вот уж кто бы мог подумать такое про него самого?! Не какой-нибудь там необстрелянный солдатик-ушан, он, Лёха Кум – и за растяжку?! Шандарахнуло – собирали прапора по зелёнке. Точнее, то, что от него осталось.

А случилось то, надо же такому, как раз 1 июня

1995 года. День в день, как десять лет назад, когда его ранило в Афгане. И ещё...

За время боевых действий в Чечне старшего прапорщика Кумова к ордену Мужества представили. Командир части вечером, на поверке, вручить ему собирался этот непривычный на вид эмалевый крест...

Вместо вручения пришлось снаряжать груз под страшным номером 200. Запаяли в цинковом гробу всё, что удалось собрать от Лёхи Кума, – обрядили в «парадный мундир». Поверх него – ещё один – «деревянный бушлат» одели.

Офицера, старшего лейтенанта, да двух солдат – в сопровождение номерного груза командировали, до самой Сосновки. А ещё: наградной приказ и маленькую бархатную коробочку с орденом-крестом.

Через неделю в Сосновке, в доме Матвея Кумова, в изголовье запечатанного груза, меж двух горящих свечей, стояла фотография Лёхи Кума в траурной рамочке.

На другой день – салют и встревоженная выстрелами стая воронья на Сосновском кладбище. Потом венки, цветы, цветы, цветы на песчаный бугорок...

И совсем рядом со свежей – две пирамидки: Аркашки с Викой Кумовых, уже за железными оградками.

10

Слухи об угрозах Стефки-гречанки извести обидчиков разползлись, как тараканы, по избам Сосновки и Завьялова – сразу же после похорон Ильки и суда над Кумовыми. Посудачили, почесали языки сельчане об этом и постепенно стали забывать. Успокаивалось село, словно вода в озере от брошенного камня. Да мало ли кто чего не наговорит в сердцах или обиде, понажелает чего кому?..

Да и сама Стефания особых поводов лишней раз не давала: не любила на людях душу свою выворачивать наизнанку. Замкнулась в себе, словно улитка в раковине. Разве что дома – Грине да подружке-сестричке Дуке Кочару. Только Дука вроде как и сочувствовала ей всегда и старалась утешить как могла, но не одобряла её желаний худа другим людям.

Будто затаившийся до поры до времени вулкан, хранила её душа-жерло бессильную злобную энергию. Нет-нет да и взвёт она про себя всё к той же богине отмщения Немезиде. Особенно на сороковины да годовщину Иленьки-сыночка. А ещё на кладбище, в одиночку, когда *попроведоваться* с сыном приходила.

Впервые прорвалось из неё малым протуберанцем, когда узнала она о ранении Лёхи Кума в Афганистане, через пять лет после её проклятий. Долго ждала, однако дождалась!

– Так ему и надо, змею носатому! Ещё и мало! Дошли до богов мои молитвы!

– Стефа, Лёньку-то за что?! – пыталась было урезонить подружку Дука. – Он что ли стрелял по Ильке?

– Они! Они, Кумовы – все из одного рода-племени! – не унималась Стефания. – Слава тебе, Немезида!

Ладно, чего только не бывает в жизни. Однако незнакомые для сосновцев и завьяловцев имена богинь Фемиды с Немезидой запорхали по их устам навроде болтливых сорок. И стали они такими же примелькавшимися, как несслыханные прежде *ускорение и перестройка*. Ни в то, ни в другое по-серьезному никто не верил и особого значения не придавал. Так себе – звон один!

Эра *гласности* тем не менее открыла шлюзы и деревенским болтушкам да кумушкам. Оно и прежде-то мало кто мог накинуть платок на чужой роток, а ныне – и вовсе: говори что вздумается, делай что взбредет в голову... И в первую очередь касалось это бытовых сплетен, слухов да пересудов.

Семейные скандалы и неурядицы Аркашки Кумова, к примеру, смаковались не меньше чем пространные выступления самого *Меченого* по телевизору и радио – главного Прораба невидимой Перестройки.

А тут – бац! «Аркашку Кумова с проводов обгорелого сняли!..» Событие это для сосновцев с завьяловцами было не менее значимым, чем вывод советских войск из Афганистана. Правда, о последнем пока только судачили.

И опять деревенские закивали на гречанку. Дескать, ликовала она, узнав про Аркашку. Ох как ликовала! И богов своих славил! И даже будто бы в открытую радовалась, видя слёзы да горе Кумовых-старших.

Уж кто пустил слухи по деревне, что Стефания-гречанка колдунья – поди теперь разберись, – гласность потому как. И стали на Стефанию деревенские поглядывать с опаскою: кто её знает, а вдруг и впрямь она что может?! В Завьялове вон тоже, бабка Матюшиха – упаси Боже с нею связаться иль чем перечить. Такого понаколдует... Запросто обезножить можно или чирьями человек весь изойдет, хворь напустит непонятную – зачахнет человек. Сгинуть даже запросто может. Про скотину уж и говорить не стоит...

Особенно ребятня к тётке Стефании с опаской

относилась. Такого впотьмах друг дружке понаговоряют, понастрашают – сами себя пугаться начинают. И слов своих. Завидят который раз ещё издали тётку Стефанию, зашушукаются сперва: колдунья идёт, колдунья идёт! Потом примолкнут, словно стайка воробышек перед ненастьем.

И та – всё чаще молчком мимо проходила по деревне, работая в Завьялове портнихой. И шить-то у неё, заказы делать попервости сосновцы побаивались: мало ли чего ещё наворожить посмеет, не бывает ведь дыма без огня...

Зато от завьяловцев да из экспедиции заказы сыпались на Стефанию, как кедровые шишки в сентябрьскую бурю. А шила гречанка хорошо. Даже больше того – могла из любого материала и на любой фасон пошить – любо-дорого поглядеть потом! Делала всё это она быстро и красиво. Потому и деньжата у Лукачей водились, в отличие от большинства сосновских, много ли в совхозе заработаешь? Получив готовое изделие после окончательной примерки, заказчики искренне благодарили Стефанию. А та как будто оживала, распускаясь весенним неказистым цветочком: искорки в черных глазах начинали плясать, ямочки на щеках обозначались от легкой улыбки:

– Носите на здоровье, – говаривала она в ответ на благодарности. И ведь впрямь – носилось на загляденье, не то что магазинное.

Какой бы ни была глубокой рана, какими бы ни были горькими утраты и потери, но ведь и верно: время – лучший лекарь!

Десять годочков с лишком миновало в Сосновке с того злополучного дня. Сколько воды утекло за это время в неутомимой Чазанке, сколько перемен свершилось в стране Советов и в мире...

В новом доме Грини и Стефании (хорошо успели отстроиться как раз накануне инфляции) трое внуков заполняли пустоту комнат детскими голосами: смехом, ссорами, плачем со слезами. Глядя на них, лишь улыбались Гриня со Стефанией, особо не вмешиваясь в детские разборки и шалости. И родители детворы, старшая дочь с зятем, навещали их по праздникам или когда деньжата требовались.

Пуще всех внуков Ванятка радовал Стефанию. В школу уже пошел, в Завьялово. В Сосновке-то свою начальную уже давненько закрыли. Куда деваться? Не отдавать же в интернат на всю неделю?! Вот и приходилось частенько водить его самой Стефании до школы, а то и дедушка Гриня на мотоцикле подбросит, когда не очень холодно или нет грязи. Уж шибко Ванятка на Ильку смахивал! И обличием, и норовом.

...Позабытые было шепотки о Стефании-колду-

ные стали вновь раздаваться и усиливаться, когда Кумова Вика из города вернулась. И чахнуть стала на глазах сельчан да родителей.

– Это она, она наколдовала... Ейных рук дело! – шептались старухи летом, сидя вечерами на лавочках перед палисадниками.

– Ага! Всё каку-то Мизиду молит и молит, говорят...

– Так-так-так... Грит, покудова троих, або четырёх Кумовых не изведу, в землю не уложу – не будет им прощения.

– Кабы троих... Всех Кумовых грозила порешить. Таперича вот и Вика... Така девка была! Чё бы ей ни с того ни с сего хворать?

– Чё деется, чё деется! Дык, уезжать из Сосновки Кумовым надоть...

– Куда поедешь!? В городах всё дорого ноне. Денюжки-то наши – тю-тю... Грят, Гальдар всё енто.

– Не-е-ет! Ельцин это. Он, антихрист! С ентим, как ево... Ну, рыжий еще такой... На Гитлера смахивает...

– Чубальс чё ли?! И впрямь Гитлер!

– Во-во, он самый.

– Да и не уехать теперя Кумовым никуда. Неуж и вправду поизведет их тут всех Стефка?!

– А я так думаю: раз она их проклала, то хошь где достанет.

Только Стефании Лукач и самой уже те проклятия порой стали мниться каким-то бременем. Будто сама от них начинала задыхаться. Вроде как телегу под горку пустили без лошади – вот она и катит сама по себе, и остановить её никто не посмеет, пока не завалится или не наткнется на что-либо.

И как будто пожалела она даже про себя Вику Кумову. Впервые в неё закралась какая-то незнакомая и непонятная робкая жалость иль сострадание к Кумовым. Нет, не к тем иродам, что Ильку сгубили, – к Вике, девчонке ещё, лиха никому в деревне не причинившей.

А когда свершилось и с Викой, словно бес какой изнутри, вопреки воле гречанки, вслух наружу про rvalся: дескать, это им, Кумовым, её да Гринины слёзоньки отливаются! И кровь сыночки...

Два года спустя с небольшим в Сосновке трое военных объявились. Нет, не зятя Матюшки Кумова, что приезжали иногда летом погостить с Дальнего Востока. Тех уже все сельчане знали в лицо. Эти трое были совсем незнакомыми. И с невиданным грузом, который почему-то называли непонятной цифрой 200. Под той цифрой Лёнька Кумов оказался. Довоевался всё-таки головушка бедовая!

В день похорон гречанка, сама того не желая и не ведая, оказалась на кладбище. Стояла в сторон-

ке, смотрела и на необычный гроб, и на военных с салютом, и на рыдающих родственников Лёхи Кума. Стояла, словно вся оцепеневшая.

Пугаться стала гречанка своих черных мыслей да проклятий. Трое Кумовых отправились уже вслед за Илькой.

А ребятня, сначала сосновская, потом и завьяловская, всё чаще на неё украдкой пальцами показывали да кивали: «Тётка Стефания – колдунья! Бабка Стефка – колдунья!..»

И впрямь, род Кумовых, словно ветки на живом дереве, что ни год-другой – засыхают, отмирают. Да всё больше почему-то на Матюшкином стволе.

Не прошло и полгода как Лёньку привезли, – ещё одна беда – старшую дочь Матюшки парализовало. На Камчатке. Мужик от неё отказался, видать, неважнецки жили друг с дружкой. И детям оказалась ненужной обузой. Пришлось рыжебородому косолапому Матюшке ехать такую даль, забирать к себе. А у той – как зациклило: «Ка-на-на, ка-на-на... Вот она...» – поди, пойми попробуй, чего она говорит или что ей надо. Вставать, правда, с постели начала. И под себя ходить перестала. До окошка дошкандыбаёт и сидит, пялится целыми днями на улице, кананакая.

Вот вам и Стефания-гречанка! Вот вам – не колдунья ли?!

Ладно бы ребятня несмышлёная, взрослые стали в то уверовать уже. Только сама Стефания таковой себя никогда не считала. Ну, какая из неё колдунья?! Выдумают тоже!

Ну было, взывала к своим богам в неутешимом материнском горе. А к кому ещё обратиться, если нету справедливости на земле?! Правды хотелось, справедливости. И непременно здесь, в Сосновке, в Завьялове. А где она, эта правда?! Где закон, где справедливость?! Кто её Вершитель и Судия?! Здесь – на земле, или там – наверху?! Да какая разница – где. Лишь бы была эта самая справедливость. За что безвинные страдают, за какие грехи? За какие дела? И кто расплачивается? Опять же невинные?!

Думы, сомнения бередили Стефанию всё чаще и чаще. Особенно по ночам, в бессонницу. А тут ещё Дука-молдаванка.

Огрузла Дука, хотя и нестарая ещё, шестьдесят с небольшим хвостиком всего. Митря помер уже лет десять назад. Дети разъехались по разным городам, повиучились, обособились своими мирками: семьями, работой, друзьями, увлечениями. К себе всё зовут – не хочет пока в примачи да в чужой дом. А у самой – гипертония, руки-ноги болят, да помимо того – целый букет болячек насобирала. А всё одно – уны-

нию не поддается. На все праздники в Завьялово ходит, в играх-затях призы берёт.

Соберутся который раз вместе. Нет-нет да и забредут опять на ту тропинку разговора – про проклятия Стефании. И Дука своё:

– Ой грех это, Стефа! Бо-о-о-льшой грех! Ты ведь не к своим богам взывала молитвою. Ты к самому сатане обратилась... Он тебя услышал. Ему ты продала свою душу... Ой нехорошо это. Покайся. Молись. Проси у Христа прощения... Как бы тебе самой всё это бедой не обернулось...

Как в воду глядела Дука-молдаванка.

11

После смерти мужа Аркашки Любаша Кумова, что называется, по рукам пошла. Ладно бы – только с чужаками из экспедиций таскалась – со своими местными путаться взялась. И наплевать ей на то было: молодой мужик или нешибко, холостой или женатик. Никому отказа не было. Прямо-таки патология какая-то на женской почве развиваться стала. Поговаривали в народе, всячески осуждая, будто бы у неё какое-то там бешенство матки открылось.

Мужики, что кобели вокруг сучонки в потребное время, принялись Любашу охаживать. Бабы-соседки, и те не раз Любаше трёпку задавали из-за своих мужиков. Всё возмущались, негодуя: и чем таким берёт эта вертихвостка, чего такого своим кобелям дома не хватает?

Ну и пьянки, разумеется, – как без этого?! Любаша квартира в притон превратилась для всякого сброда. Из неё быстрёхонько принялась исчезать всякая мебель и утварь, нажитая Аркашкой-Стрелком. Голые стены, считай, уже через полгода остались. Из убранства посреди зала стоял обшарпанный стол, три колченогих табуретки да расшатанный стул – кто-то обменял на добротные. То же и в спальне. Вместо мягкого дивана да деревянной кровати – скрипучая старая железная полуторка с провисшей панцирной сеткой. Портьеры со шторами на окнах заменили старые пожелтевшие газеты. Исчезли люстры, бра, светильники, стыдливо обнажив тусклые, засиженные мухами лампочки под потолком. Половицы с облупившейся краской уже не застилались коврами – не мылись месяцами. Окурки, грязь, мусор лишь раз в неделю подметались ишорканым почти до основания просяным веником.

И в таком бедламе, между матерью и пьяными забулдыгами, рос Колюня до пяти лет, попадая время от времени, словно в рай, в Сосновку к дедам, Тимофею с Дарьей.

Как-то под осень, смурная с похмелья, с отечным лицом и кругами под глазами, притащила Любаша Колюньку в Сосновку, сообщив, что собирается на работу устраиваться, на вахту.

– Пусть Колюнька у вас пока поживёт, – хрипато выдавила она.

– Сама-то чё, так и будешь по вахтам мотаться всю жизнь? – с укором спросил Тимофей.

– Сперва осматрюсь. Может, там какую комнатёшку в общежитии дадут, переедем с ним насовсем.

– А квартира как же в Завьялово?

– Договорилась уже с покупателями.

– Ну, гляди, тебе виднее, – отозвался Тимофей. – Испортишь там парнишонку. Чего путёвого там он увидит? И здесь-то...

– Кому бы говорить, только не вам, – оборвала свёкра Любаша, – вы своего хорошо воспитали, вырастили... Стрелка!

И осёкся Тимофей, словно ведром холодной воды окатили.

92

Оставила Колюньку Любаша в Сосновке и как в воду канула. Полмесяца прошло – не возвратилась, месяц – хоть бы весточка какая, два, три, полгода, год...

Колюня поначалу всё хныкал, мамку вспоминая:

– Ну когда мамка за мной приедет?! Не хочу с вами жить!

– Тебе разве у нас плохо? – вопросом на вопрос отвечала Дарья.

– Мамка гостинцев привезёт: конфет, жувачки, батончиков шоколадных... Никому вам не дам.

– Чё жадный-то такой? – усмехалась Дарья. – Мы ж тебе покупаем.

– Ага, покупаете... А пошто мне «Пепси» не принесла из Завьялово? Обещала вчера и не принесла...

– Магазины были закрыты, – оправдывалась бабушка Дарья. – Да и дорого ведь всё. Тысячи стоит...

– Ага, магазины... Мамкины дяденьки всегда мне «Пепси» покупали. А ещё жувачку со «Сникерсом» и батончики всякие...

Через год-другой Колюня вспоминать про мамку перестал. Перестал и ждать, когда она вернётся за ним с гостинцами. Деда Тимофея как-то само собою стал *папой* называть, а Дарью – *старенькой мамой*.

И те прикипели к внуку. Вроде как и сомневаться даже перестали: внук ли он им родной на самом-то деле или нагулянный Любашей. Какой-никакой, а достаток в доме Кумовых был. И дочери хватало, что училась уже в Колпашеве, в педучилище. Голодом Колюньку не морили и куском хлеба не попрекали. Да и ходил внук обутым-одетым не хуже других деревенских.

Так и притёрся Колюня Кумов среди исконно сосновских. Соседями-друзьями обзавёлся быстро. На велике-«школьнике» гонял по деревне, что *папа* Тимоша подарил ему на день рождения в семь лет. И старенькая мама не обижала Колюню. Тётка Надя, приезжая на каникулы, всегда привозила Колюне со своей стипендии то какую-нибудь рубашонку, то штанишки, то кроссовочки. Ну и *жувачку*, разумеется рекламную, в яркой упаковке.

В школу пошел Колюня Кумов в Завьялово. В одном классе с Ваняткой Мироновым оказался – внуком Лукачей. Как и Колюня, Ванятка всё больше у деда с бабушкой пропадал, хотя родители его жили там же, в Сосновке, в прежнем доме Лукачей.

Нет-нет да и забегал Ванятка к Колюне Кумову домой, по-взрослому наказывая ему, чтобы тот не проболтался деду Грине или бабушке Стефе, что он у них бывал. К себе как-то было пригласил Колюню, в ограду к Лукачам. Бабка Стефа как увидела в своем доме дружка внука, с лица разом спала и выпроводила обоих, наказав Ванятке, чтобы байстрюка этого сюда больше никогда не приводил. И приклеилась к Колюне в Сосновке обидная кличка Байстрюк.

Подросли Колюня с Ваняткой – когда и заметить не успели, по десятому годочку обоим побежало.

Зима с девяносто шестого на девяносто седьмой год в Сосновке с Завьяловым выдалась лютая. С осени ещё снегу навалило, без лыж никуда по целине и не пробраться. А с декабря морозы со снегопадами, словно по недельному вахтовому графику, чехарду учинили до самого Рождества. Рождественские морозы крещенским эстафету передали. Да такие заворачивали, что тридцать градусов едва ли не оттепелью считались.

Ребятне школьной и той уже дома сидеть надоело. Куда податься? Клуба в Сосновке не осталось, библиотеку в Завьялово передали. Хорошо хоть телевизоры цветные, считай, в каждом доме да видики появились. А всё одно – на улицу, как магнитом, тянуло.

В Завьяловскую школу учеников возили всего неделю, сразу после зимних каникул, потом перестали: горючка для автобуса кончилась, выбрали кварталный лимит, а по новому ещё не отпускали. И на покупку горючего денег не было, спонсоры – нефтяники с газовиками – не больно-то спешили раскошелиться на подрастающую смену.

Чем заняться? Вот и придумывали забавы, кто на что способен.

Ещё с лета за Чазанским омутом, куда впадает Ульга-речка, в километре от него, в бору сосновом, была вырыта просторная и глубокая землянка. Всё

свободное летнее время пропадала там ребятня из Сосновки, переплывая омут на лодках.

Ловили в Чазанке рыбу, уху варили в котелке, жарили на масле растительном. Потом грибы пошли, ягода всякая боровая. Печку железную, навряд буржуйки, где-то откопали и в землянке установили. Стены с потолком из соснового молодого кругляша обиходили. Стол со скамейками соорудили; нары-лежанки, на них старые матрасы с разным хламом понабросали. Лампа керосиновая со свечами тускло освещала внутренность землянки с одним лазом и без окошек. Даже туалет соорудили метрах в десяти от землянки – вот уж излишество в лесу! И почти от самой землянки, с верхотуры и под гору, натянули длинный, метров на сто, трос. По нему, держась руками за кольцо, висячими, вниз скатывались. Хозяйничала в землянке ребятня сосновская, навряд своего клуба у них тут было. И взрослые на их суверенность не посягали.

Вот и теперь, зимой, была протоптана дорожка от самого омута и до землянки. Понаберут дома продуктов – что у кого имелось, – и вместо школы в самые морозюки в землянке отсиживаются. Печку раскочегарят, чай вскипятят – и в карты дуются до самой темени.

К февралю солнышко на небе стало подольше задерживаться, отбрасывая от заснеженных сосен черные контрастные тени. А под вечер и ночью зима уже в который раз будто всю свою последнюю злобу заряжала в морозную пушку и выстреливала из неё далеко за сорокаградусную отметину.

– Баб, собери мне чего-нибудь поесть с собой, – попросил Стефанию Ванятка.

– Так ты ж недавно пообедал, – удивилась та.

– Мы с ребятёшками в землянку собрались.

– Чё так поздно-то сегодня? Скоро уж темнеть начнет, – сердилась Стефания, – и не ходили бы ночью уж никуда.

– Баб, ну а чё дома-то делать?

– Уроки все выполнил?

– Так в школу ведь завтра не идти, выходной.

– Телевизор бы поглядел или книжку какую почитал.

– Да надоело уже, – отговаривался внук.

– Тогда одевайся хоть потеплее, померзнете ещё там в своей землянке. Мороз опять обещают.

– Не-ет, мы там печку раскочегарим! Знаешь, как там у нас жарко бывает! Прямо, как в бане!

– Погорите ещё когда-нибудь в своей землянке или задохнётесь от дыма с угаром.

– Баб, ну чё мы – маленькие?..

– Мать знает?

– Ну, я же тебе сказал... Мамка бы отпустила.

– Кто идет-то хоть с вами?

– Ну... я, – замялся было Ванятка, – Колюнька Кумов, Эдик Сидоров, Сёмка Быков...

– Ладно, раз Сёмка с вами, тогда идите. Да не шалите там шибко.

Сёмке Быкову уже четырнадцать исполнилось. Вымахал за прошлое лето как порядочный девятиклассник. Курит уже вовсю и на охоту с отцом своим хаживает. За прошлую осень по чернотропу добыли аж пять соболей, три десятка белок да рябчиков с глухарями – полным-полно.

А зимой по большому снегу Сёмка за забытый было совсем промысел взялся: зайцев петлями ловить. И зайцев, как никогда, множество по тропам носилось в морозные ночи.

Лыжи у Сёмки широкие, «лесные». Два круга-лыжни у него нарезаны в одну и другую стороны от Сосновки, километров по десять-пятнадцать, вдоль кромок полей да по ельникам. С полсотни петель на тропах расставлены. Ходи, не ленись, проверяй, приноси домой охотничьи трофеи.

Километрах в восьми от Сосновки избушка-зимовье срублена у Быковых на берегу небольшой, но рыбной речушки. Частенько там заночевывают отец с сыном во время охоты. Раза три туда уже Сёмка и ребятню сосновскую водил, а однажды и с ночевой получилось, всем места хватило.

Вот и теперь, 30 января 1997 года, удумал Сёмка податься по дальнему кругу-лыжне аж до самого зимовья. Да там и заночевать, если припозднится. Только одному в зимовье боязно ночевать. И собака, Рогдай, куда-то запропастилась. А тут Ванятка с Байстрюком и подвернулись.

– Чё делать собираетесь? – поинтересовался Сёмка.

– В землянку хотим, за Чазанку сходить, – ответил Колюня.

– В землянке неинтересно, – стал отговаривать их Сёмка. – Айда лучше со мной петли проверять. До нашего зимовья дойдём.

– Далековато ведь, – засомневался было Ванятка.

– Да нас, поди, и не отпустят туда, – поддержал дружка Колюня.

– А вы и не говорите никому про зимовье. Скажите дома, что в землянку идете. Только еды с собой прихватите чего-нибудь. На всякий случай. А ещё соли и спичек. Заяц попадетсЯ в петлю – в избушке его сварим или зажарим. Знаете, какая вкуснятина! Это вам не баранина какая-нибудь или куриные окорочка. Вкуснее всякой колбасы даже. Мы с батей сколько их там уже пережарили... А вечером, потемну, и вернуться можно. Если не забойтесь в темноте идти. Если что – заночуем там. Завтра всё одно

выходной. Зато отдохнем – не то что в вонючей землянке...

Уговорил-таки Сёмка Колюню с Ваняткой пойти с ним до зимовья-избушки.

– А у меня лыж нету, – пожаловался было Колюня.

– Да зачем они вам? Сперва по дороге белоярской пойдём до Третьей Ульги, а дальше по моей лыжне.

– Проваливаться не будем? – задал резонный вопрос Колюня.

– Да вы чё! Знаете, какая она торная! Пойдёте по ней не хуже чем по дороге. Только про хлеб не забудьте. Можете и сахару прихватить со сгущенкой. И чаю-заварки. Только воду никакую не берите, не донесём, замерзнет.

На том и порешили.

12

94

Сразу после обеда мороз стал усиливаться. Ко времени выхода путников за сосновские околичные ворота опустился ниже тридцати пяти градусов.

Все трое были обуты в валенки. На Ванятке с Колюней одеты пестрые курточки на синтепоне, у Сёмки – пуховик китайский. На головах младших – крашенные кроличьи шапки. Голову Сёмки венчала черная шапочка толстой домашней двойной вязки. Да в рюкзаке запаска: магазинный цветной «петушок», фланелевая рубаша в клетку и старенький шерстяной свитерок. Сёмка знал, куда и как идти и одеваться, не то что салажата.

Шагали ходко, мороз подстёгивал.

Подходя к краю Сосновки, повстречали Шухову Анну с коромыслом и пустыми ведрами, шла к колодцу по воду. Она шаркала валенками в резиновых калошах тяжелой неторопливой походкой. Поравнявшись, глянула на ребятшек, прошла молча, лишь кивнула в ответ на приветствие: по давним неписаным деревенским правилам желать путникам дороги или охотникам удачи – худая примета.

Морозное послепопуденное солнце стало заходить на посадку, оставаясь ещё на расстоянии, навроде прибывшего в Завьялово самолёта из Томска, делающего круг над аэропортом.

Сёмка Быков нёс на плечах свои широкие лыжи, перекладывая их с одной стороны на другую. Он рассказывал Ванятке с Колюней про то, как они с отцом охотились весной и осенью.

– Видите, сколько тут заячьих следов?! – говорил он возбужденно ребятам, кивая на придорожное редколесье.

Там и впрямь весь снег был испещрен заячьими стежками. Местами виднелись обглоданные ветки

и стволы молодых осинки и тальника. Светло-коричневые шарики помёта, размером с ружейную пулю, были повсюду растеряны возле мест заячьей трапезы.

– Должен хоть один да попасться в петли. Холод не тётка, греться заставит! Сами-то ещё не засохли?! – переключился Сёмка с зайцев на пацанов.

– Малость есть, – признался Колюня.

– И у меня чего-то ноги стынют. Дырки в пимах на подошвах прошоркались... Деда Гриня сегодня вечером подшивать мне их хотел.

– Тогда побежали! До Первой Ульги, – предложил Сёмка.

И ребяташки поскакали по укатанной дороге, вроде греющихся на морозе зайцев. Пробежали метров двести до заметенной снегом Ульги, спустились под горку, миновали мосток. На горе, запыхавшись, опять перешли на шаг.

Почти сразу, за Первой Ульгой, влево пошла лыжня через неширокое поле к кедрачу, что издавна назывался Конской поскотиной. Летом там всегда было полно всяких грибов и ягод; пересвистывались еще непуганые молодые рябчики. А с середины июля сюда бегали стайками ребяташки за шишками. Вzbирались на лазовые кедрушки и приносили домой по ведру-полтора крупных тяжелых смоляных шишек в полиэтиленовых толстых пакетах или стареньких мешках.

Сёмка прошел мимо лыжни, сказав ребятам:

– Сюда сёдня заворачивать не будем, некогда. Может, завтра, на обратном пути я один проверю петли.

Через километр от Первой Ульги подошли ко Второй. Что Первая Ульга, что Вторая – тут и речкой-то назвать можно с трудом, так себе, ручейки болотистые, заросшие смородником да тальником. Однако весной, в половодье, по какой-то непонятной тяге поднимаются сюда на икромет золотобок и краснопёрые язи – идут косяками!

– Весной с батей тут острожили, – оповещает путников Сёмка. – По мешку, однако, накололи язёй. Вот это рыбалка! Только надо уследить, когда они подниматься на нерест начинают... Проворонил – всё, привет!

Лыжня вернулась к мостку через Вторую Ульгу из Конской поскотины, а за мостиком вновь убежала влево.

– И сюда тоже не пойдём, – опять произнёс Сёмка, кивая на лыжный след. – Что, ещё пробежимся?!

Влажные ресницы ребяташек слипались на морозе, покрывались инеем. Изморозь оседала и на шапках, обрамляя стильные лица. От дыхания всех троих поднимался парок.

– Еды-то хоть взяли с собой? – поинтересовался старшой.

– Ага, – отозвались пацаны.

– Мне баба пирогов положила, – сказал Ванятка.

– Поди с картошкой опять? – спросил Сёмка. – Я их не люблю. Мне со свежей капустой больше глянутся, и чтобы яички в них рубленые были...

– А я шанежки творожные люблю, – признался Колюня. – И ещё тёпленькие, со сметаной и чаем с вареньем.

– Чай мы на месте заварим, – отозвался Сёмка, поглядывая на садящееся солнце. – Поздновато, однако, вышли мы сегодня. Придётся ночевать в избушке.

А морозное солнце как-то уж и впрямь очень быстро стало клониться к истокам Третьей Ульги, что пересекала дорогу в двух километрах от Второй.

Ванятка с Колюней переглянулись озадаченно. Ночевать в зимовье им явно не светило – дома ругаться станут! Это уж точно! А кому приятно, когда тебя ругают, да ещё и за дело. Чего доброго, после и вовсе никуда отпускать не будут, даже в землянку, за Чазанку. Это Сёмке-бродяге всё нипочём, потому как он уже почти что взрослый. И даже курит. Говорит, что с осени школу бросит, хватит ему грамоты, чтобы охотиться в тайге.

Поднявшись в горку на Третьей Ульге, ребята увидели слева балок-вагончик. Летом и осенью там жили дорожники, что работали, прокладывая путь к новому газоконденсатному месторождению в верховьях Чазанки. Теперь сиротливый балок был весь занесен снегом. Поодаль, в толстых снежных шубах стояли трактор, скреппер и ещё какая-то дорожная техника с бочками от горючки. Дверь балка была обращена к лесу, в другую сторону от дороги.

Почти сразу за балком, вправо от дороги пошла лыжня. Сёмка снял с плеча лыжи, поставил их на укатанный снег и пристегнул мягкими юсками к валенкам. Пошел по лыжне первым, размахивая в такт шагам своими руками, как крыльями. За ним двинулись и ребяташки. Попервости по лыжне идти и вправду было легко, почти как по дороге. Только надо с лыжни не сбиваться. Потом то тут, то там ноги стали проваливаться и вязнуть в снегу. Особенно когда лыжня заводила в густой ельник или от неё отходил в сторону след к поставленной петле. Сыпучий снег стал попадать в валенки через края. А это уже плохо.

– Делайте штаны навывпуск, – посоветовал ребяташкам Сёмка.

Пришлось переобуваться на морозе, натягивая узкие джинсы на валенки.

– Сём, до избушки ещё далеко? – спросил Ванятка.

– Больше половины уже прошли, – отозвался тот.

– И зачем только мы его послушались? – бухтел сзади Колюня. – Сидели бы теперь в тёплой землянке...

– Ура! Есть один! – донесся до ребят возглас Сёмки, свернувшего с основной лыжни в кусты. – Будет сегодня у нас зайчатина!

Он выбрался, улыбаясь, из кустов, держа в руке за потаск замерзшего уже зайца. Сёмка снял из-за спины рюкзак и положил туда добычу, слегка согнув его в калачик.

– Может, ещё поймаем! Я же вам говорил: в мороз зайцы носятся по тропам, успевай только петли ставить да проверять.

– А если не проверишь? – спросил Ванятка.

– Лиса утащит или сороки с воронами исключают, – компетентно ответил старшой. – Ну чё, вы ещё не закоченели?!

– Холодно, – признался Колюня.

– Тогда побежали! – произнёс Сёмка и заскользил по лыжне вперед. На морозе лыжи скользили плохо, но всё одно идти было гораздо легче, чем без них. Позади лыж на следу взметались небольшие фонтанчики снежной пыли.

Пустились было за ним вдогонку и Ванятка с Колюней. Только бег у них никак не получался. Через пять-шесть шагов, а то и чаще, ноги проваливались и увязали в снегу глубже колена.

– Сёмка, подожди нас! – кричали пацаны уже скрывшемуся из вида лыжнику.

В редколесье появились первые признаки сумерек. И ещё пуще стало холодать. От мороза то и дело раздавались пощелкивания деревьев, нарушающих тишину. Даже птах и тех не было слышно. Минут через десять ребята всё же добрались до Сёмки. Тот стоял вполоборота на лыжне и курил сигарету с фильтром.

– А я ещё одного зайца взял! – похвалился он. – Вот это пруха сёдни!

– Сём, может, ну их, этих зайцев, – предложил запыхавшийся Ванятка.

– Сколько нам ещё до избушки осталось? Замерз я и пристал, – признался Колюня. – Давайте вернёмся. Пойдём домой, а...

– Да вы чё?! До зимовья километра три всего и осталось. Там отогреемся и заночуем, – возразил Сёмка.

– Пошли домой, – повторил своё желание Колюня.

– Ну вы даёте, пацаны! – упрямылся Сёмка. – Не желаете со мною – топайте назад одни...

Ребята переглянулись, будто на контрольной по

математике, не зная с какого бока подойти к решению заковыристой задачки.

– Спички-то с собой хоть взяли, охотнички!? – ехидничал Сёмка.

– Есть у меня, – отозвался Ванятка, – полный коробок.

– Дорогу обратно помните?

– А мы по лыжне пойдём, видно ведь наши следы, – обрадовался Колюня такому повороту дела.

– Ну и валите! – сердито напутствовал ребятшек Семен. – Связался с детским садом... Сидели бы уж тогда возле бабкиных подолов...

– Ты же сам нас сманил, – возразил в оправдание Колюня, шмыгая носом.

– Сём, айда и ты с нами назад, – всё ещё с надеждой просил Ванятка.

– Вот ещё! Я ж вам сказал: не хотите со мной в избушку – назад шуруйте. – Сёмка настроен был решительно и поддаваться малышне не собирался.

96

– Балок помните? На Третьей Ульге? Там печка внутри и дрова с углём есть. Замерзнете если – затопите, отогреетесь... А я – до зимовья...

Он сердито отщелкнул указательным пальцем окуроченный в снег, надел варежки и побежал дальше по лыжне, оставив в лесу Ванятку с Колюней. Те молча развернулись и побрели назад.

– А у тебя нос побелел, три скорее снегом, – сказал Ванятка.

– А у самого-то – щёки! – отозвался Колюня.

Они остановились, зачерпнули варежками крупчатого снега и принялись растирать помороженные места.

Сумерки совсем сгустились. На небе стали появляться первые робкие звёздочки, а внутри ребятшек стали нарастать беспокойство и тревога.

– Колюнь, – пожаловался Ванятка, – у меня ноги совсем заколели. Совсем не чувю...

– Думаешь, у меня – нет? Коленки как деревянные все... Ничего, скоро уж до балка дойти должны...

Они выбрались на дорогу и побежали к темнеющему на фоне белого снега вагончику. Балок-вагончик спасительной надеждой манил их к себе, находился всего в каких-то двухстах метрах. Где-то за мостиком, навстречу им уже с зажженными фарами ехала машина.

– Может, за нами?! – оживился Колюня.

– Ага, старенький папа, с ремешком... – отозвался Ванятка.

Из-под горы выползла машина, выхватив их темные силуэты желтым светом. Ребята стояли на обочине. Большая машина с высокой оранжевой будкой лишь обдала их морозной пылью – промчалась на буровые, даже не притормозив. А те стояли, опе-

шив, не догадавшись даже поднять руки в знак помощи.

Ребята подошли к вагончику. Двери балка оказались с торца, с другой стороны от дороги. И, к разочарованию ребят, были заперты большим виссячим замком.

– Может, ключ где припрятан? – с надеждой произнес Ванятка. – Колюнь, пошарь за косяком. Мои руки совсем заоченели.

Пацаны принялись обшаривать все закутки дверных и оконных косяков. Ключа для них никто там не положил. Колюня подобрал какую-то железяку и в сердцах звякнул ею по оконному стеклу. То хрустко разлетелось на осколки, но и это не помогло проникнуть им в вагончик к печке – снаружи оконная рама оказалась ещё и зарешеченной.

– Д-да-вай, к-костёр р-раз-водить, – стуча зубами, сказал Колюня.

– А где дрова?

– На-до в лесочек ид-ти... Наломать с-сушняка...

Они двинулись в темноту, проваливаясь по пояс в снежной целине. Добравшись до ближнего куста, ребята принялись обламывать хрупкие на морозе ветки. Наломали по доброму голику, вернулись к вагончику.

– Где с-спич-ки? – спросил Колюня.

Ванятка похлопал по карманам, стащил зубами варежку и достал коробок. Негнущимися тоненькими пальцами он долго никак не мог захватить ещё более тонкие спички. Наконец ему это удалось. Сложив три штуки вместе, он чиркнул о бок коробка. Другой раз. С третьей попытки спички с шумом вспыхнули. Он поднёс их к пучку веток. Пламя серянок быстро съедало сухие беленькие деревянные стерженьки, добираясь до нечувствительных пальцев пацанчика. Сырые ветки никак не хотели гореть.

– На, ты попробуй, – произнёс Ванятка, передавая спички Колюне.

Тот взял коробок, и всё повторилось... Они чиркали по очереди, пока в коробке не осталось две последних.

– Н-надо б-бензин или с-солярку... Посмотрим в б-бочке...

Они подошли к бочке. Ванятка стукнул по ней палкой. Бочка гулко отозвалась своей пустотой.

– Ничё, – с надеждой произнес Ванятка, – на дне всё равно чё-нибудь осталось...

– Н-надо п-проб-ку скру-тить.

Они по очереди принялись откручивать неподатливую железную, пахнущую мазутом, пробку. Та никак не хотела поддаваться.

– Н-надо желе-зякой по-стучать! – опять посоветовал Колюня.

Не помогло и это.

– Поищем тряпку каку-нибудь или вату в дверях, – предложил Ванятка.

...Последняя спичка догорела, не породив костра. Колюня заплакал:

– И з-зачем мы э-то-го Сём-ку только п-послуша-лись...

– Не хнычь, – утешал его Ванятка, – побежали до дома.

– Не м-могу... Но-ги м-мои с-сов-сем з-замерзли...

– Идём, идём, – поддерживал его напарник. – Может, ещё машина кака попадётся на дороге.

И они побрели, автоматически переставляя нечувствительные ноги. Чтобы хоть как-то сохранить тепло в руках, они сжимали пальцы в кулачки внутри варежек. На какой-то непонятной силе воли и инстинкте самосохранения они добрались до Второй речки. Поднявшись на горку, увидели вдали огни родной Сосновки.

– Колюнь, видишь, – огоньки уже. Наши, сосновские! – радостно произнёс Ванятка.

– Ванятка, я п-прис-тал, – шептал едва слышно дружок. – Не могу больше... Да-вай, п-посидим ма-ленько...

Колюня присел на корточки, закрыв обмороженное лицо варежками. На щеках Ванятки поблескивали слезинки, превращаясь в льдышки на подбородке.

– Я спать х-хочу... Ма-ленько п-посплю я...

– Не спи, не спи – замерзнешь, – тормозил дружка Ванятка.

– Не-е, не мо-гу б-больше...

Ванятка поднял дружка с корточек на ноги, словно неподъемный мешок с недозрелыми шишками. Только у того ноги опять подкосились. И, засыпая, упав на бок, на укутанный колёсами машин снег, Колюня прошептал:

– Бе-ги до-мой... Я т-тебя тут по-дожду... Зови на по-мощь...

Ванятка заплакал и, оставив дружка, побежал на огоньки к деревне. Но ему лишь казалось, что он быстро бежит. На самом деле он двигался к цели медленнее, чем недавно бабка Шухова шла по воду...

– А Ванятка где? – поинтересовался Гриня у Стефании, вернувшись из Завьялова уже потемну.

– Что, соскучился? – вопросом на вопрос ответила та.

– Надо бы пимишки ему подшить, жаловался на медни, что прохудились. Отцу-то опять не до сына... Небось, кривой уже...

– Убежал Ванятка. Сказал, что в землянку с ребяташками собрались, – Стефания переключилась на погоду, – чё там на улице?

– А то ты не знаешь, – ответил Гриня, – морозно. Надо бы печку на ночь протопить получше. На порту говорили, что к утру сорок пять ожидается.

– Ой, что творится в этой Сибири... Никак привыкнуть не могу. И зачем только мы из Одессы уехали тогда. Жили бы теперь там в тепле, со своими фруктами...

– Чё теперь-то уж говорить. Век тут прожили, – отозвалась бывший моряк Гриня. – А ты почто Ванятку-то отпустила?

– Так я ведь не думала, что они там долго пробудут, – озабоченно отозвалась Стефания. – Поди-ка в карты заигрались. Не поугорели бы там ещё, в своей землянке. Ты бы сходил, встретил, а...

Гриня устало посмотрел на жену и принялся снова одеваться.

– Полушубок надень, – посоветовала ему жена.

– С кем, говоришь, пошли-то они?

– Ну, с кем, с кем, – замялась Стефания, – с Байстрюком... Колюнькой Кумовым, Сёмка с ними Быков – Ванятка сказывал...

– Ладно, готовь ужин. Схожу я, гляну, – ответил Гриня и вышел из избы, надеясь вскорости вернуться с внуком.

На улице уже порядком стемнело. На повороте, возле лога, делившего Сосновку пополам, на столбе горела лампочка. От неё вертикально уходил далеко вверх столб света – нет, не врут на сей раз портовские синоптики, быть нарастающему морозу. Гриня перешел лог, где прежде стояла контора, повернул налево в свой бывший проулок. В его старом доме, где жила теперь дочь со своим семейством, светилось всего одно окошко – на кухне.

«Может, Ванятка домой завернул да там и остался?» – подумал Гриня и зашел в избу. Его встретил подвыпивший зять и младшие внуки, сразу же облепившие деда.

– Деда, чё нам принёс? – загалдели они.

Гриня обнял их своим морозным полушубком, пошарил в карманах и достал по пластику резиновой жвачки.

– А Ванятка что, не у вас? – спросил Гриня.

– Так он же вроде как у вас прописался, – с ехидцей ответил зять. – Калачом его от вас не выманить! Пора, однако, за воспитание браться...

– Не поздновато ли? – перебил его Гриня. – Я

вижу, вас самих ещё воспитывать надо, – намекнул он на частые попойки.

– Появится – пропишу ему «витамин Рэ», – стоял на своём хмельной папаша Ванятки.

– Ладно, пошел я, – сказал Гриня, не собираясь больше выслушивать пьяненькие разговоры зятя по поводу воспитания.

«Надо было хоть фонарик взять», – подумал он, когда его обняла со всех сторон темнота. Осторожно ступая, он спустился с Митькиной горы, подался к омуту Чазанки, куда вывела его узкая тропинка. На омуте чернело десятка полтора тычек от зимних сетей с застывшими вокруг них прорубями. На омуте тропинки разбегались к этим самым тычкам, а одна вела через омут на тот берег. Гриня всматривался в темноту. Глаза его стали уже привыкать к ней, а на фоне белого снега он различал уже и запыленные деревья и голые ветки кустарников. Приглядевшись, он обратил внимание на то, что на тропинке, ведущей в бор, как будто совсем не было свежих следов; она была покрыта застарелой изморозью. Его охватила пока еще непонятная тревога. И всё же он ещё быстрее пошел дальше, к землянке, и минут через десять оказался возле неё. Никого не было и там.

Он отыскал лаз в землянку, что шел сверху, приподнял припорошенное творило. В землянке было темно и студено, живым здесь не пахло. И всё же Гриня спустился в неё – мало ли что... Чиркнул спичкой, осмотрелся – никого. Он убедился, что сегодня здесь никто не появлялся, это уж точно. «Да где же они есть-то?» – взволновало не на шутку Гриню. Беспокойство и тревога нарастали и заполняли Гриню, как мороз забирается под одежду, если долго не двигаться и находиться на улице. Он вернулся назад и опять с надеждой зашел к зятю. Дочери всё ещё не было дома. Не было там и Ванятки. Хмельной зять тревоги за сына не выказал:

– Да куда он денется?! Играют, поди, у кого в карты или видики смотрят... Пожалуй, одной таблетки «витамина» ему маловато будет, – повторил он свои угрозы, намекая на ремень.

«Зайти что ли к Кумовым, может, он там?», – подумал Гриня и даже как-то удивился своей мысли. Такой вражды и неприязни к Кумовым, как Стефания, Гриня уже давно не испытывал. Частенько приходилось ему встречаться с Матюшкой и Тимофеем на работе. А вот домой к ним после того случая с сыном он так ни разу и не заглядывал. Даже когда с Аркашкой сосновские прощались, и Лёху Кума из Чечни привезли запечатанным. На кладбище, правда, хоронить приходил, а вот домой...

Тёмным силуэтом мелькнула в ограде фигура

Тимофея. «Хорошо, – подумал Гриня, – в избу заходить не придётся.»

– Здорово, Тимофей, – окликнул он хозяина. – Нашего Ванятки у вас случаем нету?

– Нет, сегодня не было, – признался Тимофей. – Так я и Колюньку после обеда нигде не вижу. Да, вспомнил: они вроде как в землянку собирались идти. Должно, вот-вот вернутся...

– Какая землянка? – возразил ему Гриня. – Не было сегодня их там. Я только что оттуда.

Тимофей вышел из своей ограды к Грине, закурил, и они вдвоем прошли по улице Сосновки в сторону Завьялова, спрашивая редких встречных о ребятах. Завернули к Быковым. В их окнах света не было, а на двери висел замок.

– Может, в Завьялово упорол? – высказал предположение Тимофей.

– Кто его знает... – растерянно отозвался Гриня, – всё может быть... От Любаши-то вестей нет никаких?

– Любаша... – ухмыльнулся Тимофей, – кукушка, не мать! Так кукушка – и та только яйцо подкидывает чужим, а не живого птенца... Да Бог ей судья... Вырастим одни, и без Любаши. Пенсии вот опять обещают добавить...

Они вернулись назад. Мороз заставлял идти быстро. На месте бывшего клуба, у дома старой учительницы, им повстречалась Анна Шухова. Поздоровались с ней.

– Кого потеряли что ли? – спросила она.

– Да вот, – отозвался Гриня, – сорванцов наших дома нету. А на дворе мороз...

– Да я их давеча с Сёмкой Быковым повстречала, – ответила Анна. – В сторону Белояра пошли все трое. У Сёмки вроде как там петли понаставлены на зайцев. Он и с лыжами на плечах шел. А Ванятка с Колюней – те без лыж.

– А во сколько это было? – спросил Тимофей.

– Воду я носила, – замешкалась Анна. – Должно, уже часа в три, в четвертом. Я ещё подумала: куда это они так поздно?

– Как бы они с Сёмкой и впрямь не увязались, – озабоченно произнес Тимофей.

– Так, однако, выходит, – согласился Гриня. У них же, у Быковых, и зимовье на Басюгане. Неуж-то Сёмка туда их сманил?

– Этот может. Говорят, он уже уводил чьих-то ребятшек туда.

– Не-ет, наши с ним там ещё не были, – уверенно заявил Гриня.

– А ведь похоже на это. Вот босота! Сколько времени-то теперь?!

Гриня отвернул обшлаг на левой руке и долго всматривался в темный циферблат часов.

– Однако, восьмой час уже пошел... Ну, чё делать будем?

– А чё поделаешь? – отозвался Тимофей. – Ждать придется. Если ушли на заимку – ночевать останутся. Поди на это ума у них хватит. После уж разговаривать с ними будем...

– И с Сёмкой надо, – добавил Гриня.

– И с Сёмкой, – согласился Тимофей. – Надо с ним что-то делать. Ладно – эти несмышлениши ещё. Но Сёмка?! Какие зайцы могут быть в такой мороз?! Какая заимка?! Это ж надо догадаться – по морозу пацанов с собой сманить!

– Может, пройдемся хоть до Первой Ульги? – предложил Гриня Кумову Тимофею, закуривая папироску.

Мужчины миновали околичные сосновские ворота и пошагали в темноту белоярской дорогой. Шли молча, с надеждой встретить внуков, высматривая впереди движущиеся предметы. Возле моста через Первую Ульгу остановились. Нигде ничего видно не было. Ещё раз закурили, постояли и повернули назад.

А тем временем менее чем в километре от них, оставив обезволившего и обессиленного Колюню на мёрзлой дороге, вдогонку мужчинам уже спешил, плача, Ванятка. Его сил хватило лишь на то, чтобы подняться в горку, где всего каких-то пятнадцать минут назад стояли Гриня с Тимофеем.

А ещё через пару часов машина с оранжевой будкой, возвращавшаяся назад, подобрала на дороге сперва окоченевшего Колюню, а потом и Ванятку. На дикой скорости она промчалась сосновской улицей и остановилась у завьяловской больницы.

Всю ночь не отходили от пацанов дежурный врач и медсестра, пытаясь вернуть их к жизни.

Лишь наутро и Кумовы, и Лукачи узнали о случившейся беде. И заголосила деревня с обоих краёв.

И в унисон стенаниям опять поползли слухи о давнем проклятии гречанки.

Только теперь уже и Стефке-гречанке аукнулись те проклятия. Не зря, выходит, предостерегала Стефанию молдаванка Дука...

Церкви в Завьялове с Сосновкой никакой отродясь не бывало. Какой может быть храм при советской власти для ссыльных переселенцев?! Кто бы им строил его и на какие шиши? Жили в лесу, молились колесу.

Ребятишек рожали – покрестить и то негде было. Нет, всё же случалось иногда. Кумовство водили.

Почитай, все взрослые в Сосновке друг у друга в кумовьях хаживали, и не по одному кругу. Вроде как и крестины устраивали, пусть и формально. А вот чтобы проводить по-христиански, с отпеванием – такого не видавали.

Прежде сосновских с белоярскими крестила бабка Попиха, то ли фамилия у неё такая была, то ли и впрямь где-то раньше при церкви прислуживала. Попиха была полуграмотной и дремучей старухой. Бормотала что-то, окуная младенца в корыто с водой. Новоявленных крёстных вокруг корыта того водила за собой, опять же что-то бормотала беззубым ртом. Иногда и крестик на шею несмышлёнышу надевала, если таковой у кого в заначке имелся. Только померла бабка Попиха ещё до того, как Гриня-моряк с гречанкой Стефкой в Сосновке поселились.

Праздники, правда, самые большие православные отмечали. Особенно Пасху: яиц понакрасят, куличей напекут почти в каждом доме, качели на улице для ребятни с молодежью наладят. Ну и в избах – застолье какое-никакое, порой всей улицей или краем собирались. На масленицу, опять же, блины пекли, столб гладкий да высокий возле клуба или конторы ставили, гульбища устраивали. Отмечали и Троицу – на кладбище хаживали, поминали прямо в оградках со столиками и лавочками. Рождество как-то незаслуженно новым годом – поновому и по-старому – вытеснено было. Вот и всё. Остальное – хочешь веруй, не хочешь – твоё дело, никто никого никогда и не обязывал.

Забывать стали свою веру православные, вспоминая о Всевышнем лишь в трудные дни да лихие години. Иконы, правда, на божницах кое у кого ещё стояли, пылились от побелки до побелки в избах. А чаще – валялись за ненадобностью на чердаках да загашниках, вроде латунного распятия, что досталось Грине Лукачу в наследство ещё от матери. Завернутое в домотканое льняное полотенце с полинялой вышивкой лежало распятие в чемодане Грини среди груды всяких документов, почетных грамот, газетных вырезок, писем и пожелтелых фотокарточек с фигурно-обрезными краями в черных пакетах.

В эпоху повсеместной демократизации, обобранный своим правительством уже в который раз народ, вдруг разом загалдел о конце второго тысячелетия, а стало быть и о предсказываемом конце света. Второго пришествия Христа ожидали – кто с верой, кто с недоверием, выискивая в святых писаниях подтверждение тому. И находили то тут, то там вроде Послания апостола Павла Тимофею: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие,

ибо люди будут самолюбивы, горды, надменны, зло-речивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, невоздержанны, жестоки...»

И всё это наблюдали они в своей каждодневной жизни, как тут не поверить в предсказания?...

В начале шестидесятых годов в Сосновке и Настасьине сектанты-баптисты появились. И тоже сосланные, навроде тунейдцев. Откуда – кто его ведал? Якобы за то, что отказывались работать по воскресным и праздничным дням. А праздничных дней у истинных верующих в году – о-го-го сколько... Семей пять или шесть тогда пополнили разъезжающиеся деревеньки. Сектанты – люди немногословные, опрятные, многодетно-бедные, держались друг дружки, посторонних к себе близко не подпуская. В будни работали и тут, где укажут и куда пошлют, получше иных местных. Но уж в упомянутые дни – не упрашивай и не заставляй, бесполезно, ничто на них не действовало и в ссылке. А ссылать дальше уже было некуда.

В Завьяловской школе почти всю ребятню сектантов богомолами дразнили. Вот и Ванька, паренек лет тринадцати, крепкий, круглолицый, с густыми волосами, зачесанными назад, такую же кличку-приложение получил. Вёл себя Ванька Богомол скромно, ничем особо не проявляя среди одноклассников свою сектантскую набожность. По всем предметам учился прилежно и хорошо. И, как ни странно, очень много читал. Причем светскую и приключенческую литературу.

После восьмого класса исчез Ванька Богомол из поля зрения завьяловских школяров, и вскоре о нём все позабыли. Да мало ли кто из залётных на год-другой появлялся в их ссыльных местах?! Да разве всех упомянуть?!

А в девяностом году, на шестидесятилетии Завьяловской школы, среди прочих выдающихся учеников и выпускников вдруг прозвучало и имя отца Иоанна – бывшего Ваньки Богомола. Вот вам и Ванька, вот вам и сектант! Оказывается, вопреки воле родителей закончил он сперва православную семинарию, а потом и духовную академию. И где-то осел в центральной России, имея благочиние.

Через семь лет после того юбилея неожиданно для всех появился вдруг в окрестностях Завьялова и сам благочинный протоиерей отец Иоанн: голубоглазый, с окладистой густоющей бородой и начинающей седеть гривой, широкоплечий, с округлившимся брюшком, в штатном гражданском костюме и модном широком галстуке.

По всей Завьяловской округе моментом разле-

телась весть, будто бы отец Иоанн собирается тут храм выстроить. Клич в миру бросили о пожертвованиях на строительство храма.

И место выбрал сам отец Иоанн под стойтельство церкви. На Настасьинской горе, что сразу за речушкой, отделявшей Завьялово от Настасьина. Прежде там промцех стоял: колбасу делали, рыбу коптили да клюквенную газировку с морсом выпускали. Промцех тот давно уже закрыли, а место пустовало. Красивое место, обзорное. Да и отец Иоанн, тогда ещё Ванька Богомол, каждый день мимо в школу Завьяловскую пробегал. Неподальку отсюда тогда, в ихней бывшей избёнке собирались еженедельно все сосланные сектанты и устраивали баптистские молебны. Уж какая тропинка Ваньку Богомола на православную торную дорогу вывела, об этом отец Иоанн не рассказывал своим бывшим селянам. И что его побудило приехать сюда с такой миссией – тоже оставалось загадкой.

После трагедии с внуком Ваняткой и его другом Колюнкой Кумовым словно подменил кто Стефанию-гречанку.

На девять дней принесла ей молдаванка Дука Евангелие.

– Почитай, – сострадательно посоветовала Дука Стефании, – легче станет, ей-богу. И ему, душе малогрешной, там светлее придётся...

Потускневшая Стефания, повязанная по-старушечьи черным платком, промолчала. Святое Писание, однако, приняла.

А на сороковины Ванятки и Колюни заставила Гриню достать из старого чемодана тяжелое латунное распятие и попросила мужа соорудить в горнице божничку.

Гриня немало удивился такой метаморфозе жены, но желание её исполнил.

И стала гречанка Стефания всё чаще и чаще задерживаться в горнице возле божницы с распятием. Сперва как бы украдкой, пока мужа в избе не было, потом и при нём уже не стеснялась. Подолгу молча смотрела она на страдальческое тело распятого Христа, открывала Библию и читала.

Раскрывая наугад, сперва попалась ей Нагорная проповедь Иисуса. И каждый стих Евангелия от Матфея в том месте поначалу воспринимался ею настороженно, недоверчиво, супротив её прежним мыслям и образу жизни. Потом будто кто настраивал её внутренний инструмент на нужную тональность звучания, и он уже начинал резонировать, заставлял задумываться и... соглашаться.

А у апостола Иоанна в Соборном Послании она прочла: «Кто делает грех, тот от диавола, потому

что сначала диавол согрешил. Для сего и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола...» И вспоминались ей слова Дуки-молдаванки, что проклятия её – от сатаны.

И опять находила она подтверждение тому в Писании, у апостола Иакова: «Язык укротить никто из людей не может. Это – неудержимое зло. Им благословляем Бога и Отца, им и проклинаем человек, сотворенных по подобию Божию...»

Снова и снова, прочитав очередной стих, задумывалась Стефания над его содержанием, пытаясь не умом, а сердцем постичь написанное.

И легче становилось на душе.

А ещё стала замечать в себе Стефания, что к Кумовым она уже не испытывает такой жажды ненависти и отмщения, как прежде. Даже наоборот, какое-то непонятное робкое чувство сострадания стало появляться к ним.

А на полгода, с раннего утра, когда она зажгла поминальные свечи, стоя перед распятием, вдруг словно кто послал ей извне покаянную мысль. И мысль эта стала перерастать в настойчивое желание – необходимость самого покаяния.

И уже не своих бывших заступниц, богинь Фемиду с Немезидой, молила она, а обращалась к Иисусу за прощением. Молча, неоформленно ещё ни в какие словеса, мысленно. Да разве это столь важно?! Ведь Ему ведомы не только обращенные слова, но и все мысли...

Освятив место под будущий храм и оставив двух плотников, отец Иоанн уехал из Завьялова. И потекли на банковский счет строительства храма денежки грешников и праведников. Перечисления делали нефтегазовые фирмы, расплодившиеся и разжиревшие как вороньё в войны, залётные магнатики, замаливающие свои грехи у Бога за ограбленный народ, администрация Завьялова. Благочерные старушки стали приносить свои сотенные купюры, завернутые в носовые платочки...

– Гриня, – обратилась Стефания к мужу после Крещения, – сколько у нас там на книжке денег?

– Зачем тебе? – насторожился, ставший прижизненным, Гриня.

– Ну, сколько всё же?

– Тысяч двадцать, наверное, будет, – отозвался он, явно занижая сумму, которую удалось скопить от продажи мяса, молока и сена.

Он давненько уже лелеял мечту: купить себе под старость хоть какую-нибудь машинёшку. Ну, сколько же можно было крутить баранку на чужом тракоре?!

– Ты мне книжку-то дай, пойду в Завьялово.

– Да ты чё удумала-то? – встревожился Гриня. – Кто там тебе по ней деньги выдаст? Она ведь на моё имя...

– Выдадут, – уверенно произнесла Стефания, – меня же там все знают.

– И чё тебе приспичило? Никак приглядела чего...

– Ага, – уклончиво ответила Стефания, – приглядела...

Гриня открыл шифоньер, порылся среди костюмов, отыскал завернутую в полиэтиленовый пакетик сберкнижку, протянул жене.

– На. Да шибко-то не траться. Может, через полгода купим всё же машину. Свиной вот продадим весной, телка... Должно бы и хватить. Буду тебя как барыню по Сосновке катать... А чего так поздно-то? Поди, уже и банк закроют...

Стефания принарядилась во всё праздничное, положила в сумочку сберкнижку и отправилась в Завьялово. Нигде не останавливаясь, она прошла через всё село. Спустилась с горки, где всё ещё стоял столетний пятистенник купца Завьялова, перешла мост и поднялась на Настасьинскую гору.

Среди пачек свежих брусьев, плах и прочего строительного материала, припорошенного снегом, уже прорисовывались контуры будущей церкви. Двое плотников не спеша рубили десятый ряд.

Стефания впервые в жизни трижды перекрестилась, поклонилась святому месту, постояла минут десять. Потом повернулась и решительно направилась по деревянному тротуару к Завьяловскому сбербанку.

В сбербанке она сняла с книжки все двадцать восемь тысяч рублей, перевела их на счет строи-

тельства храма, вызывая изумление у кассирши, вышла и совершенно просветленная зашагала знакомой дорогой домой, в Сосновку.

Ранние зимние сумерки густеющей поволокой окутывали дома и улицы Завьялова. Стефании шагало легко и до непривычного умиротворенно. Она приостанавливалась, радушной улыбкой отвечая на приветствия знакомых.

Дойдя до хутора, прозванного в народе Кулацким и построенного лет десять назад нефтяниками между Завьяловом и Сосновкой, она свернула влево. Дальше пошла хуторской улицей, тянувшейся вдоль Чазанки с домами-коттеджами. Эта улица почти упиралась в густой заснеженный борок, скрывавший сосновское кладбище.

Летом, возвращаясь из Завьялова, она нередко хаживала этим путём. Её ноги сами непроизвольно выводили к родимым холмикам с крашеными оградками.

102

На угасшем небе всё отчетливее прорисовывались звёзды. Крепчал и морозец. Стефания машинально вглядывалась в небо, узнавая созвездия по разгорающимся уголкам с востока и юга. Про себя она удивленно отметила, что почему-то сегодня ещё ни одна звездочка не соскользнула вниз затухающей искоркой. «А ведь это – всё чьи-то жизни», – мелькнуло у неё в голове ребячьим поверьем...

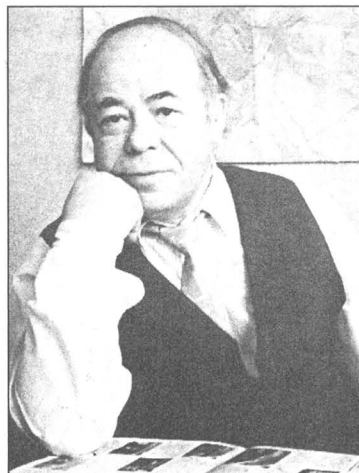
Подойдя к последнему коттеджу хутора, гречанка озадаченно остановилась. Дальше прочищенной дороги не было. Даже привычная тропинка – и та сегодня была полностью заснежена.

На сосновском кладбище уже почти два года как никого не хоронили.



Эдуард ГОЛЬЦМАН

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ



МЫ – ШАХТЁРСКАЯ СЕМЬЯ

Раньше дед мой плавал морем,
После флота стал шахтёром.
На работу ходит в шахту,
Говорит: «Иду на вахту».
Папа, как и дед, в забое.
Подрасту – нас будет трое.
И хожу хоть в садик я,
Мы – шахтёрская семья.

ЭКСКУРСИЯ

Мы по городу идём,
Папа с мамой в отпуске.
Вот мой садик,
Вот мой дом –
Мы живём в Прокопьевске.

КОГДА ПОДРАСТУ

Не страшны коту потёмки:
Есть моторчик у котёнка.
Чтоб энергии хватило,
Он свернулся в колобок

103

И мурлычет тихо, мило,
Вырабатывая ток.
Подрасту ещё немножко –
В шахту я возьму кота.
Пусть осветит мне дорожку,
Если будет темнота.

СВЕТ

В наш шахтёрский городок
Провели монтеры ток.
Непонятно только мне:
Как смогли и на луне?
Посмотрите. Ведь она
Ночью вся озарена.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Утро в золотой короне
С радугой наперевес,
Нас встречая на перроне,
Улыбается с небес.
Солнышко встречает нас:
– Добро пожаловать в Кузбасс!

Гольцман Эдуард Данилович родился 5 декабря 1934 года в городе Пултуске (Польша). Окончил Ленинградский институт культуры в 1967 году. Стихи начал писать с 1950 года. Автор тринадцати детских сборников стихов. Печатался в журналах «Огни Кузбасса», «Нева», «Полярная звезда», «Мурзилка», «Весёлые картинки».

Почётный работник культуры Кузбасса. Член Союза писателей России. Живёт в городе Новокузнецке.

ПУБЛИЦИСТИКА

Нина КАБАНОВА

МАМИНЫ УРОКИ

ЗАПИСКИ ДОЧЕРИ, МАТЕРИ

У каждого поколения свои приметы времени. У тех, кому за пятьдесят, это добрая, светлая память о школе, о детстве, о сверстниках. «Здравствуй! Как дела?» — от души радуемся мы при встрече с одноклассниками. И вслед за вопросом о семье, о детях часто спрашиваем еще одно: «Как твои старики — живы? Как мама?».

Это не дежурная вежливость. Многие из нас отлично помнят родителей друг друга. Особенно мам. Потому что это они нас так учили: дружить, любить и помнить. Они сами такими были. Жаль только, что многие уже действительно «были». Но светлая память и о них, и о тех, кто еще «есть», живет и согревает нас.

Наши мамы были совсем еще молодыми, когда мы учились в школе. На удивление хорошо знали они и друг друга, и нас всех. На родительские собрания приходили торжественно-принаряженными. И всегда чуть раньше указанного часа, чтобы успеть поговорить, пообщаться.

Они были очень разными — по образованию, по возрасту. Но одно объединяло и профессионалов-педагогов, и детского библиотекаря, и многодетных матерей: они очень хотели видеть своих детей умными, порядочными, счастливыми. Каждая стремилась к этому по мере своих возможностей, не жалея для того ни сил, ни времени. Не довелось получить образование маме Нели. Трудно было тянуть четверых ребятишек. Но удивительной чистотой сверкала их крохотная квартирка, и на редкость аккуратными хозяйками, труженицами росли девчонки.

Мы все чуть робели перед мамой Веры. Уж больно серьезной казалась нам она в своем неизменно стро-

гом костюме. Позже узнали: он был у нее единственным. А серьезной казалась она от усталости и порой от недоедания: все самое лучшее, что можно было купить на маленькую зарплату, старалась подсушить слабенькой дочери.

«Я не имею права сейчас умереть — дочек надо поднять». Так сказала однажды мама моей одноклассницы. И ей одной известно, чего стоило сдерживать эту клятву.

Мы любили своих мам, гордились ими. Мы уважали матерей своих друзей. Бывая в доме у Тани, восторженно поглядывали на портрет ее боевой родительницы — фронтовой сестры...

Тогда они были еще молодыми — наши мамы. Сегодня их остается все меньше. Уходят они от нас, оставляя в душе светлую память о себе, о детстве, о том, что зовется родным домом...

— Здравствуйте! Вы меня не узнаете?

Высокий, солидный мужчина, широко улыбаясь, выжидательно смотрит на меня. Такие знакомые черные глаза... И этот густой чуб — только не смоляной, как когда-то, а сильно тронутый сединой...

— Миша? Ну, конечно же, Миша!..

После первых, как обычно в таких случаях, сумбурно-беспорядочных вопросов: «Где? Как? Семья есть?» — вдруг несколько неожиданный:

— А как ваша мама? (Мой бывший школьный знакомый все еще не мог перейти на «ты»).

Услышав, что нет ее в живых, он с неподдельным огорчением заметил:

— Как жалко. Я хорошо ее помню. И моя старушка тоже часто добром ее вспоминает. Ведь если бы не ваша мама, выгнали бы меня из школы. И неизвестно, где бы я теперь был.

Он напомнил случай более чем сорокалетней давности. Добавив то, о чем я, тогда еще десятилетняя девчонка, не знала...

Трудно было ему учиться: мать без отца тянула их с братьями, надрываясь на двух работах. А когда выдавалась свободная минутка, у этой уже немолодой женщины-татарки беспомощно опускались руки перед испещренными красными чернилами тетрадками сына. Не в силах она была помочь ему одолеть все эти науки. Тем более что мальчишка, пасуя перед трудностями, стал попросту удирать с уроков. Остался на второй год. А потом и вовсе попал в кабалу к одному великовозрастному балбесу, разделив с ним его звание — «хулиган».

Вобщем, выгнали бы Мишу, да вступилась моя мама за парнишку. Как председатель родительского комитета поручилась за него. И долго еще потом допоздна я видела склоненную над его тетрадками кудрявую мамину голову: она разбирала ошибки в диктантах, задачах, чтобы завтра еще и еще раз объяснить ему их. Потому что такой отчаянный на улице «хулиган» так же отчаянно терялся в классе: уж больно тяжело доставалась ему запущенная учеба. Но признаться в том не хотел. После уроков вместе с «мелюзгой» оставаться было стыдно. А тут — иное дело: никто не смотрит, никто не слышит и не видит, как сами собой лезут в тетрадь ошибки, как путает он русские и татарские слова...

К счастью, поняла все беды мальчика и пришедшая в класс новая учительница. Поняла и стала хвалить за каждый, даже малюсенький успех. Так вот вместе и поддерживали Мишу.

...Мы сидели с ним в скверике на набережной Кемерова и все вспоминали. Мой неожиданный собеседник уже не «выкал»...

— А ведь я однажды тебя поколотить хотел, — вдруг, смеясь, сказал он. — Это когда мне пацаны сообщили, что наша старая учительница велела тебе записку моей матери передать. Ну, думаю, я ей передам! Спрятался за сугробом у калитки и жду. А никто и не пришел.

И вновь со светлой грустью вспоминаю, как отвела меня от этой возможной стычки с разозленным, обиженным, униженным недоверием учительницы мальчишкой опять-таки мама. Узнав о «поручении», она попросила отдать эту записку ей. Под предлогом, что, мол, темнеет на улице, мне выходить не стоит, а она, идя в магазин,

передаст конверт Мишиной маме. Илишь потом, повзрослев, поумнев, ставши уже сама матерью дочери-школьницы, в разговоре с матерью подруги выяснила, что первый и последний раз обманула меня тогда мама. Не к соседке она пошла, а к давней мне записку учительнице. И попросила никогда не поручать мне больше такой «миссии». Потому что не дело это — превращать ребенка в «черного вестника» или исполнителя чьей бы то ни было неумной воли.

Тот случай, встретившись с Мишей, я вспомнила не первый раз. Потому что однажды подобное произошло и с моей одиннадцатилетней дочерью: выполняя почти такой же необдуманный приказ своей учительницы, она с подругой забрала школьную сумку одноклассника, пытавшегося удрать с репетиции. Тот все равно убежал домой. Как ни грустно было девочке и мне, пришлось ей все же извиниться перед одноклассником.

Хотя, конечно, справедливее было бы той учительнице составить ей в этом компанию. Но, видно, признавать ошибки гораздо труднее, чем совершать их. Особенно тем, кто по долгу службы призван оберегать детей от этих самых ошибок.

Нелегко и чужие исправлять. Однако не жалею, что тогда вспомнился мне мамин урок с запиской: совесть потом не грызла ни меня, ни дочь из-за того, что кого-то, пусть невольно, да могла обидеть она.

— Вот вспоминаю то время, — вновь говорит Миша, — и думаю, как здорово повезло нам: людей вокруг хороших много было. Учителя такие мудрые, понимающие. Ты, верно, не знаешь, с чего вдруг твоя мама надумала меня под свое крыло взять? А я хорошо помню тот родительский комитет. Моя мать так устала от моих «фокусов», что и не знала уж, на кого ей обижаться. И вылила свое отчаяние на... голову новой молоденькой учительницы. Ты, мол, просто своих русских любишь и потому все им прощаешь. А моего татарчонка не любишь — вот и придираешься. И все вы, русские, к нему цепляетесь...

Тут наша Нина Алексеевна покраснела вся и вдруг как застрочит... по-татарски. «Да, — говорит, — я с тридцатью русскими столько не хлебнула, сколько с твоим. Они, если не понимают, так стараются понять. А твой все понимает — не ду-

рак. Просто лодырь он и не жалеет никого — ни меня, ни тебя, ни себя...»

Ну кто бы мог подумать, что наша глазастая, светловолосая учительница была татаркой? И что переживала она за всю ребятню. А за меня, разгильдяя, особенно. Просто по неопытности своей еще никак не могла подыскать ко мне ключи. Вот твоя мама тогда и предложила свою помощь. А моя с тех пор всем говорит: неважно, кто ты — татарин или немец. Важно, какой человек — хороший, добрый или плохой, злой.

— Мне повезло, — продолжил Миша, — учительница моя на каждом уроке что-то хорошее обо мне вспоминала. И всем настрого запретила второгодником меня обзывать и хулиганом. Потому и старался я не подводить ее и твою маму: тянулся, учился, от дружков своих откололся. Не сразу, конечно. Сперва срывался. Тогда эти две женщины не скрывали своего гнева и огорчения. Они ругали меня, но не бросали...

А мне в связи с этим вспомнились другой мальчишка и другая учительница. Он тоже из тех, кого, как говорится, Бог ни умом, ни способностями не обидел. А вот самолюбия, несдержанности — этого с лихвой вложил. И попал парень тоже в разряд «трудных». Но — не безнадежных. По крайней мере, хоть изредка, но показывал он, что может учиться. Вот и в тот день одна из учительниц в присутствии классного руководителя от души похвалила мальчишку за пятерку. Реакция «классной» была неожиданной и ошарашивающей:

— Он не для нас — для себя учится. Потому обязан хорошие оценки получать. А вместо того наглет, лодырничает!..

И так далее, в таком же резко-раздраженном тоне. Надо было видеть, каким злым и обиженным вновь стало лицо этого пацана. А ведь еще минуту назад он с трудом сдерживал довольную, гордую улыбку, вызванную заслуженной похвалой. А теперь вот казалось, что еще на один замок зашелкнулась дверца, ведущая к хорошему в его душе. Откроется ли когда еще?

Предвижу недовольство кое-кого из учителей: мол, нельзя показывать педагога в столь неприглядном свете, подрывать его авторитет и обнародовать такие вот педагогические ляпсусы.

Единичные, случайные — да, скорее всего, не

стоит. А если это стиль работы учителя? Причем укоренившийся. Тогда надо говорить и об этом, и о том, стоит ли ему продолжать работу с детьми, если ему она в тягость, а детям во вред?

Тогда, может быть, нам меньше придется задавать себе и другим тот самый «больной» вопрос: «Ну, почему же, действительно, мы в нашем детстве были добрее, человечнее?»

И тут опять вспоминается один из житейских уроков мамы. Пришла к ней соседка и в который уже раз стала жаловаться на «негодяйку учительницу», которая, мол, только и делает, что придирается к ее сыну.

— Подумаешь, преступление — болтает и крутится на уроках! Он же не оскорбляет ее всякими словами...

И тут вдруг моя деликатная мамуля обращается с какими-то вопросами к папе, ко мне (я уже тогда старшеклассницей была). Потом начинает демонстративно оглядываться на часы. Соседка прерывает свой рассказ на полуслове и обиженно спрашивает:

— Тебе неинтересно? Ты почему не слушаешь меня?

— Обиделась? За что? Ведь я не оскорбила тебя всякими словами, — добродушно осведомляется мама.

Опешившая соседка с минуту молчала, а потом расхохоталась.

— Ладно, — говорит, — поняла. Может, и вправду врезать надо моему шалопаю, чтобы вел себя как надо...

...Наши мудрые, добрые мамы... Многим из них не пришлось получить даже среднего образования. Но педагогику им преподавала сама жизнь. А усваивали они эту сложнейшую науку благодаря тому, что не жалели ни сил, ни времени на то, чтобы понять ребенка — своего и чужого, чтобы помочь ему стать человеком. Вот почему во времена нашего послевоенного детства, помню, был в ходу один негласный закон: не проходить мимо плачущего и хулиганящего дитяти — будь то твой или соседский. Остановись и либо пожалей, либо приструни.

Наверное, еще и потому не слышно было типичного для нынешних ребячьих компаний решительного приказа: «С Юлькой играем, а с Ир-

кой — нет!». Ведь там, где царят доброта и разум, жестокому инстинкту места нет. И отношения, и память остаются человеческими.

«И НЕТ У НАС ИНОГО ДОСТОЯНИЯ!»

РАЗМЫШЛЕНИЯ
О ЧИСТОТЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

«...НО БЕДНЕЕ СТАЛА РЕЧЬ»

Язык наш... Друг наш. Славное, данное нам природой богатство... Как незаметно, но как упорно скудеет и беднеет он! И с какой присущей ему почти волшебной силой показывает, что такое сегодня — человек. Молодой человек, например...

...Две хорошенькие «фирменные» девчонки, запыхавшись, торопятся поделиться новостями:

— Ну я не могу, блин! Прикинь: я стою, такая, а он подходит, такой... «Чё, — говорит, — стоишь, такая?» Ну я вам же прикололась! Такой ржач был — вам же!..

— Ну ты даешь, блин, вам же! Я над тобой прикалываюсь...

Что тут скажешь? Только то, что сия «беседа» состояла еще из сравнительно «невинных» фраз. Нередко они — молодые, красивые, нарядные — выражаются более определенно. А попросту матерно. Причем за всем этим «красноречием» так ясно проглядывают, мягко говоря, глупость, ограниченность. Мат ведь тоже мату рознь. Недаром, наверное, люди других национальностей частенько употребляют русское «крепкое» словцо. Но делают это чаще всего, как опытные кулинары: те ведь сдабривают специями пищу, а не заменяют ее ими...

Все сказанное — конечно же, не в защиту речи, засоренной непечатными словами. Просто наивно было бы полагать, что годами уходящую из нашей жизни культуру, в том числе и речевую, вдруг можно вернуть лишь по чьему-то, даже очень большому желанию. А запрещать, поучать — тем более бесполезно. В лучшем случае те же подростки скажут, как Буратино в известном фильме: «Поучайте вы своих паучат!». А скорее всего — пошлют на своем наречии. И, может быть, будут в какой-то степени правы. Потому что кто как не

мы, взрослые, больше всего виноваты в том, что они — такие?

Нет, не надо кивать на «систему», правительство. Потому что и то, и другое не свалилось на нас извне. Мы все это сами создали. И мы, а не абстрактно-мифическая система с правительством должны учить наших детей жить, говорить.

К тому же не всегда от шибко плохой жизни, и порой не от «голоду» и «холоду» они такие — наши наследники. Чаще — от безделья. Наверное, прав известный поэт Вадим Шефнер, утверждающий, что «люди стали жить богаче, но беднее стала речь». И еще это оттого, что слишком много усилий тратим не на то, чтобы помочь молодым, научить их чему-то хорошему, а на то, чтобы «понять молодежь»... И, право же, неловко бывает смотреть, как некоторые теледяди и тетелети «подсюсюкивают» неграмотным, невоспитанным школьникам на их жаргоне, заигрывают с ними. И это называется — понять.

А жизнь все упорнее доказывает, что панибратство — не лучший способ проникнуть в душу ребенка, подростка. Скорее — наоборот: став «на одну доску» с ними, мы рискуем оказаться ниже и даже упасть в их глазах. Беспомощный же взрослый, особенно — родитель — плохая опора для них.

И хорошо, если в таком случае сама жизнь поможет молодым понять, «Что такое хорошо и что такое плохо»...

НЕ ЗАСОРИЯЙТЕ ЖИЗНЬ

Как-то в разговоре с несколькими старшеклассниками выяснилось, что эти, очень симпатичные, добрые и в общем-то неглупые девчонки абсолютно ничего не читают «сверх» школьной программы. Незнакомы даже с некоторыми очень популярными детскими книжками. В итоге — бедная, какая-то бесцветная, а порой и попросту косноязычная речь. Сочинения школьные, еще с грехом пополам и наполовину «сдуд» из учебника, напишут. А вот в разговоре доходило до смешного.

Полушутя-полусерьезно попыталась представить и им предложила, что же они, эти юные, красивые, модные, будут делать, если вдруг встретят на своем пути такого же «фирмового»,

но умненького, грамотного? Как же они с ним говорить станут?

Посмеялись тогда девчонки: «А мы молчать будем». Не боитесь, — спрашиваю, — что может случиться, как Райкин представлял: «День она молчит, два молчит, а на третий я ей говорю: «Закрой рот, дура, я уже все сказал!»?

Ни я, ни тем более они не предполагали тогда, что будет у того нашего разговора реальное продолжение. Через полтора года позвонила одна из девушек — встретиться срочно попросила. Прибежала растеряннo-подавленная. Стала говорить и расплакалась.

— Все точно, как вы сказали: он умный, хороший, такой начитанный, а я рот разинуть боюсь — не знаю, что отвечать, как разговор поддержать. Он пока думает, что я стесняюсь. Но потом поймет, что я ни фиги не понимаю, о чем он говорит. Даже слов некоторых не знаю. И без словечек своих дурацких не могу — они так и лезут из меня. Пока молчу. Но я боюсь, что он догадается. Я не хочу его потерять. Помогите! Дайте ту книжку по речи — вы нам советовали. И скажите, что еще почитать... Я не хочу его потерять! — твердила она, плача и размазывая по красивой мордашке импортную косметику...

Смешная, наивная девочка! Она так надеялась сразу в одной-двух книжках найти решение своих девичьих вопросов. И враз решить те проблемы, которые копились годами и никак, ну никак всерьез не принимались...

Но делать что-то надо было — счастье ведь висело на волоске. В общем, обсудили с ней «тактику» и «стратегию». Наметили программы «минимум» и «максимум» для ликвидации пробелов речевых и этических. Для этого даже обратились за помощью к специалисту-психологу. Пришлось потрудиться и самой девчужке. Благо, была она от природы способная, с хорошо развитым чувством юмора...

Встретила их через год в междугородном автобусе — ехали домой на каникулы. После радостных приветствий она тихонько шепнула: «У нас все очень хорошо. Всем подругам теперь говорю, чтобы речь свою и жизнь не засоряли».

Такая вот история. А вот еще одна. Ее рассказал мне знакомый врач...

ВЕЗДЕ НУЖНА ГРАММАТИКА

— Где и как мы с моей Анютой познакомились? В подъезде ее дома. Я, тогда еще четырнадцатилетний оболтус, расписывал стены матерщиной. А тут она из школы идет — вся такая чистенькая, правильная. Хвостик рыжий, как у редиски, торчит, а на носу курносом — очки большущие.

Идет, значит, она — вся из себя гордая, на меня не глядит. Я за хвостик ее поймал и носом к написанной мною стене повернул:

— Что, — спрашиваю, — видишь, коза драная?

А она вдруг так ловко вывернулась, бантик поправила, очки платочком чистеньким протерла и говорит:

— Вижу, что силы у тебя много, а знаний мало-мало. Потому что вот здесь и здесь буква «е» должна быть, а не «и». Это легко проверяется. Да и надо бы вообще знать, как любимые слова пишутся.

Сказала так и потопала по лестнице. А я стоял, как дурак, перечитывая надпись на стене. Самое поразительное, что при этом невольно старался подобрать к указанным ею словам проверочные...

А после целый год ходил тайком встречать ее после уроков. Крался, как воришка, сзади, «отшибая» охотку каждому, кто пытался проводить Анюту. Узнала она об этом. И однажды, когда я в очередной вечер «вел» ее до дома, вдруг у самого подъезда резко остановилась и повернулась ко мне:

— Лучше бы ты, Вовочка, грамматикой да речью своей занялся. А то я вчера слышала, как ты матюгался. И опять неверно слова произносил.

Самое главное, что сказала она это без ехидства, без издевки, даже как-то грустно. А затем тихо добавила:

— Ты красивый и такой глупый, безграмотный...

Ну а дальше случилось то, чего ни сам в общем-то, ни тем более учителя и мои родители никак не ожидали: я шокировал своих предков просьбой нанять мне репетитора для занятий русским языком. А еще через три года Анюта провожала меня в армию. Два года со страхом открывал надписанные ее рукой конверты: вдруг опять вернула мое письмо с исправленными красной пастой ошибками!

Марина АЛЕКСАНДРОВА

СЛОВО О ХЛЕБЕ

Боюсь перезваниваться с участниками, очевидцами Великой Отечественной войны. Можно внезапно натолкнуться на тишину. Такое уж это поколение — мужественное, терпеливое и очень хрупкое, редееющее на глазах. Так случилось и с кемеровчанкой Анной Михайловной Ермошкиной, воевавшей под Ленинградом, в полной мере познавшей цену блокадного хлеба, однажды не ответившей на мой телефонный звонок. Но остались в памяти все её воспоминания, тихий, но от этого не менее пронзительный, с накатывающей без спроса слезой, голос.

109

Надо было видеть её глаза, когда она одновременно горько (за своё поколение) и радостно (за новое) говорила: «Молодые люди не могут знать в той степени, что знали мы, сухую горечь военного хлеба. Он был для нас больше, чем просто хлеб. Он был для нас нашей жизнью».

Они могли бы жить долго. Долго и счастливо. Те, чья жизнь оборвалась потому, что не было хлеба. Военный хлеб, хлеб, не знающий отдыха. Он был солдатом и жизнью.

По биографии хлеба можно проследить всю историю страны: был хлеб бедняка, революционный, военный... и мирный. Но никогда он не был лёгким и дармовым.

Военным фельдшером, а затем лейтенантом медицинской службы воевала Анна Михайловна Ермошкина под самым Ленинградом, участвовала в прорыве блокады.

А у войны, тем более — блокады, свой хлеб — суровый, скупой отмеренный хлебной карточкой.

«Мы уже получили эту карточку, — вспоминала Анна Михайловна, — а через две недели в доме не осталось ни крошки. Уже в декабре 41-го появились первые ласточки смерти, голодной смерти, потому что каждая мать старалась свою пайку разделить с детьми. И мне никогда уже не забыть такой эпизод. Я закрываю глаза, а передо мной стоит эта картина. Я была в стрелковой части. Дома оставались дети. И командир полка отпустил меня и военврача первого ранга Веру Александровну

Потом мы вместе учились. Только я чуть позже получил диплом.

— А в историях болезней все-таки ошибки делаешь, — раздался шутливо-строгий голос Анюты, которая, войдя в комнату, уже несколько минут слушала «исповедь» мужа.

— Только в очень сложных предложениях и когда тороплюсь, — с уморительной серьезностью уточнил Владимир. — А грамматических ошибок не делаю.

Кто-то, возможно, сочтет разговор о культуре речи не совсем уместным: дескать, не время сейчас для всяких там нравственно-интеллигентских шуточек.

Как знать, как знать! Во всяком случае, пришлось наблюдать, как смутился один из таких «крутых» ребят, когда, по всему виду, понравившаяся ему молодая «прикинутая» покупательница указала на этикетку, прикрепленную к пушистой песцовой шкурке. А там было написано красивым шрифтом: «Чуллок писца».

— А нет ли у вас в продаже чулка более грамотного «писца»? — вежливо осведомилась женщина. И, получив отрицательный ответ от ошоломленного бизнесмена, коротко заметила:

— Жаль, — и спокойно удалилась. Хозяин торговой точки мрачно объявил, что магазин закрывается...

Эта история закончилась, как видели, не столь благополучно, как предыдущие. Наверное, действительно, везде бывает нелишней грамматика.

Да и весь наш могучий, великий, родной язык — тоже. Вот почему-то даже в пору тяжелых испытаний люди других национальностей стремятся сохранить, возродить свою культуру, свой язык. Те же немцы и татары, например. У нас же, у русских (обидно!) другие проблемы порой заслоняют и гордость национальную, и стремление сохранить, передать детям то, что когда-то начало отличать человека от его древних четвероногих предков, — речь. То, о чем в свое время писал Иван Бунин:

И нет у нас иного достоянья!

Умейте же беречь

Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,

Наш дар бесценный — речь.

г. Анжеро-Судженск

Вакулову ровно на два часа попроведовать родных. Мы подошли уже к Новочеркасским казармам (это Малая Охта) и стали переходить через Охтинский мост. Нас поразило, что весь мост был в каких-то кучках. Врач говорит: надо же, как ни голодают люди, а город всё же приводят в порядок, убирают мусор. И вдруг ей стало плохо. Присела она на одну из кучек снежных, и вдруг из снега показалась рука. Она соскочила в ужасе и долго плакала от чувства утраты и стыда — как же так, мол, можно было сесть на человека замерзшего? Она казнила себя за это очень долго. Мы тогда бросились разгрести эти кучки. Только одного мужчину нашли живым, вытащили. Пульс нитевидным был».

Было особо жутко и страшно еще оттого, что долгое время не слышны были разрывы, тишина стояла в городе особая, напряжённая, и в этой тишине гибли люди, не от пуль, не от взрывов, а лишь потому, что не было хлеба.

Помните строки из книги Ольги Бергольц «Говорит Ленинград»? «Уже в конце ноября появились на улицах города первые гробы, которые двигались не так, как подобает гробу, — важно, высоко над мостовой, а ползли на санках по самому снегу... Иссякала энергия, уходил из города свет, замирало движение. А люди слабели всё больше и больше».

Каждый ленинградец знал, что если в доме были настежь открыты рамы, заходить туда надобности не было. Это означало одно — в этой квартире погибли уже все. В городе оставались только старики и дети, так как все, кто ещё мог держать в руках винтовку, ушли на защиту Ленинграда.

А оставшиеся дети вмиг повзрослели. Замерзая, голодные, они дежурили на крышах, спасая свои дома от огня зажигалок, поднимали на улицах измождённых, обессиленных от голода людей. Как, откуда они черпали силы? В свои десять — пятнадцать лет они знали цену последней крошке хлеба... И могли отдать её — последнюю, чтобы спасти любого незнакомого человека от голодной смерти.

Анна Михайловна Ермошкина сама была очевидцем такой картинки на улице блокадного Ленинграда.

«Мы увидели, как упал мужчина. Над ним

склонились два мальчика с красными повязками. Лиц не видно. Грязь, одна грязь. Воды не было, чем мыться? Мальчик руку в карман суёт, пытается крошечки собрать, достать хочет. А у самого уже сил нет. Плачем: дяденька, миленький, открой рот, я тебе хлеба дам. Но разве мужчина мог открыть рот, если уже угасала жизнь его. Военврач пульс его ощупала, смотрит на меня: «Отведи мальчиков. Дяденьке этот хлеб не нужен». У мальчишек слёзы сыплются: «Как вы можете? Он ещё жив. Если я положу этот кусочек, он встанет. Дяденька, миленький, ты самый дорогой для меня, ты самый дорогой, не уходи, не уходи...»

Они уходили... Уходили из жизни, уходили на фронт, уходили копать бесчисленные оборонные окопы. А на место родителей вставали дети. Кто же ещё?

110

В полутёмных, подвластных всем ветрам и морозам цехах на ящиках из-под патронов стояли они, пытались окоченевшими руками управлять станками. Маленькая девчушка, закутанная в фуфайку с чужого большого плеча и пальто, научилась бороться с бесконечным голодом. Она не глотала крохи хлеба, а, скатав во рту из него мякиш, присасывала его к нёбу и пыталась как можно дольше сохранять вкус хлеба. Это тоже видела Анна Михайловна.

Ленинградский хлеб состоял из жмыха, сметки, отрубей, сушёной травы, опилок, соли. Влажность хлеба составляла 54 процента.

Я напоминаю лишь общеизвестные факты. Наверное, не так важно сегодня говорить о том, о чём писано-переписано. Но как быть с чувствами и памятью тех, кто пережил всё это? Как мы относимся к хлебу? Для нас хлеб щедр. Он одинаков к каждому из нас. И к тому, кто бережёт его, и к тому, кто с лёгкостью выбрасывает зачерствевший ломоть. Есть ли грань, что отделяет создателя хлеба от едока? Наверное, есть. Грань эта — отношение к хлебу. Банальные вещи? Возможно. Но состоявшийся несколько лет назад разговор с Анной Михайловной Ермошкиной возвращает мысли к нему снова и снова. Порой мы забываем тех, кто погибал за хлеб и без хлеба. Многие из нас не знали войны и голода (и это не упрёк, это замечательно), не имеют представления о нескончаемых очередях за пайкой, о хлебных карточках с суро-

вой, но необходимой надписью: «При утере карточка не возобновляется».

С шести утра стояли люди в этих очередях: стояли и падали, потому что не было сил даже стоять. Некоторые не могли уже сами подать продавцу карточку и взять из ее рук хлеб. И здесь тоже помогали, чем могли, дети, дежурившие возле хлебных ларьков.

Вот ещё один эпизод из воспоминаний моей собеседницы.

«Продавщица подала пайку хлеба дежурившим мальчикам для женщины, с трудом державшейся за прилавок. Они положили его в мешочек. Женщина не уходит. Очередь терпеливо ждёт, и никто не возмущается. Женщина что-то прошептала. Мальчики подошли с двух сторон и помогли ей наклониться. Руки она уже поднять не могла. Губы синие. Почти упала на прилавок и ищет крохи губами, чтобы ни одна не пропала.

Крошка хлеба и в самом деле подчас решала жизнь человека, судьбу его. Вот почему так тяжело говорить о хлебе тем, что знает цену одной крошки.

«О хлебе очень тяжело говорить, это правда. И любовь к хлебу была настолько сильна и настолько дисциплинировала, что трудно передать словами. Надо было видеть, как на кухне ленинградской квартиры лежал кусочек хлеба — паечка. По 7—8 семей тогда в квартире жило. Тётя Поля, дворник, рассказывала: «Принесут паечку, а человек уже умер. И никто, понимаете, никто не протянет даже руки к чужому хлебушку».

Трудно писать о том, о чём столько уже написано. Не покидает чувство повторения или наизидания. Казалось бы, где тут недоговорённость, когда подробнейшим образом рассказано и о войнах, и о тех, кто в войну уголь добывал, сталь варил. Но ещё есть люди, которые и солдат, и шахтёров, и металлургов кормили. И фронтовиков, и работников эвакуированных заводов, и раненых в госпиталях надо было накормить. В конце 1942 года на государственном снабжении состояло около 62 миллионов человек. И пекари также были переведены на казарменное положение. Сутками не выходили из хлебопекарен. Здесь, в Кемерове,

выпекали хлеб по рецепту: мука пшеничная, мука овсяная, мука соевая, мёрзлая картошка. Тесто было такое жидкое, что разливалось по формам ковшом.

На нашем хлебозаводе № 1 выпускали и воинский сухарь. Карточки на хлеб на предприятиях выдавали в кассе, как зарплату.

На одном из кемеровских заводов, выпускавших продукцию для фронта, в годы войны работала Валентина Владимировна Зубицкая. Однажды довелось ей подменять заболевшего кассира. Карточки хлебные были рассортированы и разложены на столе. И вдруг провод электрический загорелся, прямо фейерверк искр. Так она на карточки эти легла, собой прикрыла, чтобы не загорелись.

Знаю ещё одну историю. Она о человеке, который, проходя военными дорогами по обгоревшим истоптанным полям, собирал в карман гимнастёрки уцелевшие зёрна пшеницы. Очень уж ему хотелось вывести новый сорт. О будущем думал и мечтал, о нас, значит. Не довелось. Погиб. Однополчане, друзья его, рассказали, что даже в фронтовые треугольнички зёрна вкладывал.

Конечно, Великая Отечественная война уже стала историей. Но только ли? Не забывать то время, значит, не забывать людей. Не забывать людей, значит, не забывать время. Историки скрупулёзно подсчитали количество дивизий, участвовавших в сражениях, изучили стратегию и тактику битв, подсчитывают до сих пор количество потерь, определяют вехи истории. Но они не могут подслушать разговор в окопе перед танковой атакой, увидеть слёзы в глазах семнадцатилетней девушки-инструктора, умирающей в полутьме блиндажа, увидеть страдающих голодных детей Ленинграда, почувствовать горечь военного хлеба. Чувства не поддаются статистике и историческому анализу. Но ещё живы те, кто всё это испытал сам. И их обязательно надо выслушать и услышать.

Я сама из того поколения, чьи отцы воевали в Великую Отечественную. Помню, как они приходили к нам на классные уроки, рассказывали о войне. Будучи на практике в школе, решила пригласить отцов моих учеников — фронтовиков — на урок 23 февраля. И только увидев недоумение

в глазах ребяташек, вдруг осознала: это ведь другое поколение. Их папы не могли воевать в ту войну. И тогда лишь пронзительно ощутила, как мимолетен миг между сегодняшним днём и историей, и как быстро очевидцы тех страшных событий уходят от нас. Что уж тут говорить о военном хлебе! Дай Бог никому не знать его горького вкуса.

Сама себе задаю вопрос: не слишком ли пафосно вышло то, о чём хотелось сказать с щемящей искренностью? Но вспоминаю Анну Михайловну Ермошкину: нет слов, чтобы передать то, что пережило военное поколение.

Важнее сохранить чувства наших родителей. И память о них. Вот лежит у меня дома пачка простых тетрадок с военными дневниками отца, а подступиться к ним нет сил. Слишком больно читать их. Но это означает, что и внукам его будет больно, значит, память не умерла. Значит, не очерствели наши души.

г. Кемерово

Сергей ПАВЛОВ

О ЗВУКАХ

Мир полон звуков. Они с нами всюду и всегда: от первого крика новорождённого — до предсмертного хрипа умирающего. Мы существуем в мире звуков, они живут в нас. Но редко кто задумывается над вопросом: я и звук. Для большинства людей звук существует в плане «громко — тихо». Резанёт по ушам децибелами — громко! Надо убавить звук. Звучит что-то тихо, невнятно — прибавляем громкость. А сколько разных звуков — от шёпота до рёва — остаются вне поля нашего слуха. А может быть, в этом есть своя благодать, что из океана звуков мы выделяем для себя лишь толику его?..

Наверное, впервые я всерьёз задумался о роли звуков в жизни, когда в одной книжке о войне прочитал удивительную фразу: «Военные просыпаются от тишины...» Все четыре слова простые, понятные, но в этой связке они являют пара-

доксальное наблюдение о взаимоотношении человека и звука. Ведь в обыденной жизни всё наоборот: здоровый, крепкий сон требует тишины, покоя, а здесь... Ненормальность обстановки вызывает ненормальность поведения человека. Война — самое ненормальное состояние, в которое может быть вовлечён человек: рождённый жить идёт убивать себе подобных или быть убитым самому. Вот такой непростой ассоциативный ряд невольно выстраивается в сознании после прочтения этих четырёх слов — «Военные просыпаются от тишины...»

Наша избирательность к звукам — великое благо, иначе как объяснить то состояние, когда мы, пресытившись звуками повседневной городской жизни, стремимся на природу — в шелестящий покой леса, в безмолвную тишь озера. И уже в первые минуты там тебе начинает казаться, что ты совсем один на белом свете, что ты растворился в пронзительной тишине, стал невесом и паришь туда, вверх, в тёмное безмолвие, к холодным и далёким звёздам, которые кто-то зажигает над нашей головой с завидным постоянством. ТИ-ШИ-НА! Но проходит совсем немного времени, и твой слух начинает выделять в этом ночном безмолвии лёгкие, прозрачные звуки. Они не наваливаются на тебя, не обрушиваются внезапно и неодолимо, как это случается в большом суетливом городе, а проникают в твоё сознание исподволь, мягко, нежно через трель цикад, треск дров в догорающем костре, шелест листьев в ночной тишине, едва уловимый плеск воды лесного озера от разыгравшейся рыбы. Через эти трепетные звуки ты ощущаешь свою связь с жизнью, с природой, и именно они вызывают у тебя неудержимое желание как можно дольше оставаться в этом сладостном состоянии парения между небом и землёй, между бытием и вечностью...

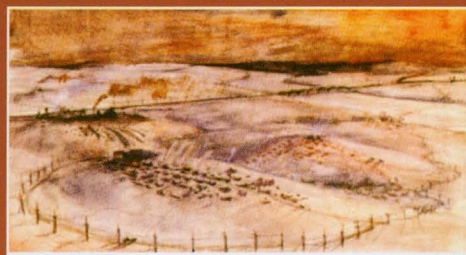
Но вот в естество природных звуков вплетается ещё один, волнующий душу, — звук музыки. Слабый, робкий, он доносится с противоположного берега лесного озера. Там, в заозёрной дали, кто-то, не услышав голоса природы, включил свой радиоприёмник или магнитофон, и над дремлющей поверхностью озера полились нежные звуки музыки. Слух не сразу определяет упоительную

ШАХТЁРАМ КУЗБАССА ПОСВЯЩАЕТСЯ

Очерк М. Чертовой напечатан в журнале



Мешков В. В. Кемерово. Шахта «Центральная». 1935



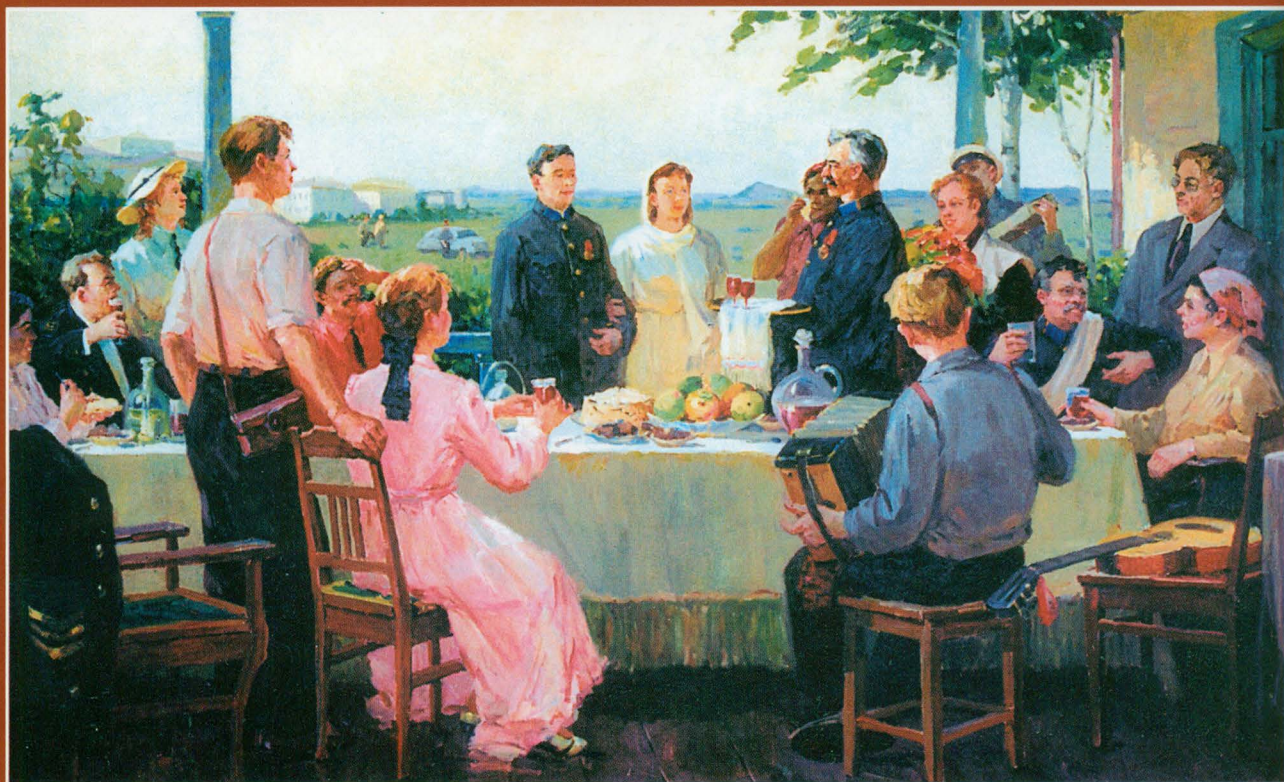
Скуляри М. Н. Террикон. Кузбасс.
Судженка. 1941



Скуляри М. Н. Рабочий поселок. 1942



Лобузов Ю. Г. Прокопьевск. 1947



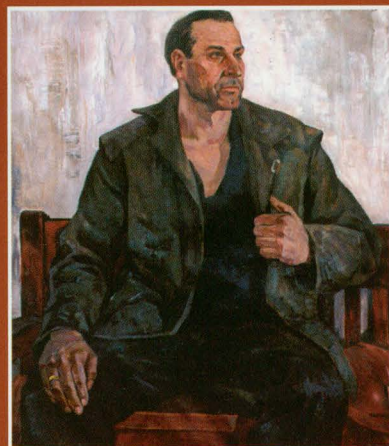
Кирчанов А. Н., Чернов П. А. Свадьба шахтера. 1952



Шемаров Н. М. Осень в Кузбассе. 1969



Юманова Е. Н. Кольчугино. Трудные годы. 1989



Вертков Н. В. Портрет Героя
Социалистического Труда
Н. М. Путры. 1971



Бачинин Н. И. Весенний Кузбасс. 1975



Семенихин В. Н. Шахтерский поселок. 1973–1974



Филичев И. И. Шахтеры. 1982



Селиванов В. А. Шахтерский край. 1960-е

мелодию «Одинокого пастуха» Джеймса Ласта. Боже! Как пронзительно плачет флейта, передавая неразделённую грусть влюблённого юноши! Мгновение — и чарующая музыка заполнила собой тёмную чашу озера, вспугнула тишину с припавших к воде берегов, запуталась в прибрежных камышах, заставив их дрожать в унисон мелодии. И тебе уже кажется, что не звуки музыки, а сама жизнь оживает в этой волшебной ночной тиши, и память уносит тебя в далёкую светлую юность...

...Нас много. Мы вместе. Мы танцуем. Последний день сезона в пионерском лагере — прощальный вечер. Завтра мы все разъедемся по разным городам и посёлкам, чтобы уже никогда больше не встретиться, но сегодня мы ещё вместе. Время, проведённое в лагере, сдружило нас, а кто-то узнал пронзительное чувство первой влюблённости, но день завтрашний уже сурово надвигался, готовый разрушить наш мир. Словно понимая скоротечность сущего момента, кто-то постоянно ставил одну и ту же пластинку — «Одинокого пастуха», но никто не возражал, потому что каждый в душе грустил вместе с флейтой влюблённого пастуха. Моя девушка пытается что-то мне объяснить, она говорит хорошие и нежные слова, но, проникшись щемящей тоской музыки, вдруг умолкает, глаза её блестят от навернувшихся слёз, и наш танец продолжается в полном молчании. А в зале звучала музыка...

Почему же сейчас на берегу лесного озера мне вспомнился тот танец, закрытый от дня сегодняшнего многими годами? Полжизни отделяют меня, зрелого мужчину, от того влюблённого юноши, тридцать лет! И только звуки той проникновенно-грустной мелодии связывают в сознании едино мужчину и юношу, дают ощущение масштаба прожитых лет.

А существует ли мир без звуков и каков он?

Сурдокамера... Строго ограниченный мирок, лишённый всякого звука. Но это не жизнь, это — эксперимент. Мир, доступный учёным и космонавтам. Он не для нас, чтобы всерьёз воспринимать его...

Мир глухонемых... Мир вечной трагедии. Уже сама мысль страшит: как можно жить и не слышать голоса любимой женщины, крика родившегося ребёнка; не наслаждаться живыми звуками природы, наконец, не предаться светлой грусти мелодии флейты одинокого пастуха...

Могильная тишина... Этот мир абсолютного безмолвия пока далёк от нас, живущих под этим ласковым солнцем. Но он ждёт нас и, увы, дожждётся каждого из нас в свой урочный час...

113 Я умер однажды... Я чувствовал дыхание inferно — этот мир безмолвия, безветрия и темноты. Этот мир был на глубине трёхсот метров, в шахте, когда я отстал от своих товарищей, шахтёров. Устал, решил отдохнуть. Догоню, думал я, а дорогу найду по течению ручья. Через минуту восстановилось дыхание от быстрой ходьбы и... я услышал тишину! Абсолютную, обволакивающую, мёртвую. Растаяли вдали голоса и звуки шагов уходящих друзей — камень растворил их в себе. Триста метров грунта над головой надёжно укрыли меня от всего живого. Не было слышно звука постоянно работающего где-то вентилятора, и воздух, застойно-горячий, облепил моё лицо. В это время у меня погас фонарь, и крошечная тьма, усиленная мёртвым безмолвием, цепко взяла меня в плен. Уже через мгновение я потерял ориентацию: если, следуя закону земного притяжения, ноги мои стояли на каменном полу, а над головой находился такой же мёртво-каменный потолок, то направление, куда ушли мои друзья, я определить уже не мог. Я словно завис в этой чёрной безжизненной пустоте, я перестал быть, я умер...

И хорошо, что мои друзья вовремя вспомнили обо мне, о потерявшемся журналисте, и вернулись. Их громко звучащие в мёртвой тишине голоса, огни аккумуляторных ламп и тёплые руки вернули меня в живой мир. Я понял: жизнь пришла ко мне с миром звуков. Так же одновременно жизнь и звуки уйдут от меня. Это случится, обязательно случится, и это будет страшно... Но пока мир звуков со мной — жизнь продолжается...

Валерий ВЛАСОВ

КОМУ КАК, А НАМ ЭДАК,

или Современная оптимистическая трагедия
не для сцены, в полтора акта

Действующие лица

Владимир Иванович, хозяин дома, бывший директор научно-исследовательского института при крупном заводе, сейчас преподаватель в техническом университете, около 60 лет.

Ала Дмитриевна, его жена, около 50.

Тамара, дочь, аспирантка, 25 лет.

Ольга, дочь, студентка, 20 лет.

Денис, предприниматель, жених Тамары, 28 лет.

Петр Петрович, друг семьи, главный инженер этого же завода, попавшего в дефолт, около 60 лет.

Борис Александрович, друг семьи, бывший коллега, ушедший в начале либерализации в предприниматели, около 50 лет.

Анна, племянница хозяев, красивая женщина бальзаковского возраста.

Бабушка Дарья Григорьевна, мать хозяйки, постоянно находящаяся в кухне, но в нужные и ответственные моменты обсуждений комментирующая, а фактически ставящая последнюю точку над «и» в обсуждаемом вопросе.

Друзья Тамары, Ольги и Дениса.

Акт I

Гостиная: стол, диван, стулья. Прямо — вход из прихожей, слева — дверь в кухню, видны её атрибуты. Направо — двери в другие комнаты.

В гостиной — трое друзей за столом. Ала Дмитриевна хлопотет по квартире. На кухне видна бабушка.

Борис Александрович сдает карты, первая рука от него — свободный стул для Алы Дмитриевны, затем Владимир Иванович и Петр Петрович.

Владимир Иванович. Ала, поиграй с нами, снизойди до грешников. Видишь, мы без тебя не можем. Как придет Анна, мы тебя сразу отпустим.

Петр Петрович. Если что — пасуй. Мы тебя вскрыем.

Ала Дмитриевна. Это вы можете! А с Анной вы сейчас поосторожнее, она возглавляет избирательный штаб САМОГО. Так что слишком не обигрывайте, потеряете влиятельного партнера.

Борис Александрович. А она мне очень нужна!

Петр Петрович. Такие женщины всем нужны. Они в любых штабах и на передовой целых дивизий стоят, ибо обладают секретным биологическим оружием, которое бьет наповал.

Ала Дмитриевна. Вам, мужикам, лишь бы... А меня что-то мои биологини волнуют. Не думала я, что моих дочерей так захватит мирская суeta. Жизнь состоит в выращивании души, и когда-то, а лучше смолodu, надо заводить с ней нормальные отношения. Не разминуться бы с совестью. Но поняла я это слишком поздно! И карта не идет. Пас?

Ала Дмитриевна обращается к Борису Александровичу, тот кивает головой.

Петр Петрович. Плачь, матушка, карта слезу любит. Как ты, Владимир, на новом ученом месте? На завод не тянет?

Владимир Иванович. Семь пик, господа! Труссы в карты не играют. Обязаловка, Борис, дай прикуп. Спасибо, друг, за ремиз. Остался на своих харчах.

Петр Петрович. Вист так вист. На пиках вся Москва вистует, хотя сейчас у неё все масти, всё под себя подгрeбла.

Владимир Иванович. Потихоньку вхожу в работу. Учить людей — это очень ответственная профессия, но и интересная. Хотя, конечно, тянет к разработкам, проектам, металлу. И знаете, предлагают должность проректора, учитывая опыт и стаж работы в отраслевом институте.

Петр Петрович. Ваш ход, Ала Дмитриевна!

Ала Дмитриевна. А если и хода нет?

Борис Александрович. Хода нет, ходи с бубей. Под играющего с семочка, с маленькой бубеночкой, и поглядим на их поведение. Видишь, муженек твой и призадумался. Это ему в молодости повезло на женском фронте. Не всё коту масленица.

Петр Петрович. Бубны, люди умны!

Владимир Иванович. Не идет карта, хоть в колокола звони! Без одной. Ничего не прикупилося.

Бросает, показывая карты. Ала Дмитриевна сдает и убегает. Играют без неё.

Владимир Иванович (смотрит в карты). Ни одной человеческой физиономии. А ещё жена называется. Разорит семью. Хотя, мужики, я перед её верой преклоняюсь. Я чувствую, что и сам становлюсь другим. Пас!

Петр Петрович. Тоже пас! Два паса — в прикупе чудеса! (обращаясь к Борису Александровичу). Играешь?

Борис Александрович. Рад бы играть, да тузы не идут! Третий пас. Давай сверху, по одной. Проверю вас на честность.

Петр Петрович. Нас всю жизнь проверяли и доверялись. И спросить не с кого. Что-то мне тоже сегодня игра в голову не идет. *(Встает из-за стола, в волнении ходит по комнате. В дальнейшем все трое друзей в споре часто вскакивают, обращаясь друг к другу, эмоционально жестикулируют, выражая свое отношение к обсуждаемому и доказывая свою правоту.)* Мысли всё о заводе. Встанет он на ноги? Завод-то был уникальный, единственный в Союзе.

Борис Александрович. Много чего было уникального. Страна была уникальная, как минимум, вторая в мире по развитию. Тоже решили сыграть в темную, надеясь на прикуп, а прикуп-то оказался хиленький, его подсунили нам западные ребята, очень хорошо разбирающиеся в этой игре. А наши вистующие в то время демократы при пьяном сдающем думали не о стране. Они шарили в колоде и выискивали для себя тузов и козырей.

Петр Петрович. Действительно, эти шулера-демократы в коротких штанишках фактически реанимировали план Барбароссы в мирное время, через 50 лет после его неудачного дебюта в 41—45-м годах.

Владимир Иванович. Я никак не могу понять, зачем же нам, русским, прежде чем начать что-то строить новое, сначала нужно непременно разрушить всё старое и при этом — до основания? Отчего это у нас: от широты души, от нетерпения или от глупости? И никто не объясняет, что же в итоге намерены построить? Или по принципу — что получится?

Борис Александрович. Конечно, раньше вам говорили, что настоящее поколение советских людей будет жить при коммунизме, и вам было всё ясно и понятно. И думать не надо!

Владимир Иванович. Нет, я не утверждаю, что при развитии социализме всё было отлично и без глупостей...

Борис Александрович. На Руси, слава Богу, дураков лет на сто припасено.

Владимир Иванович. Но зачем же, чтобы передать завод другому собственнику, его сначала непременно надо разорить? И уже созданы официально саморегулируемые организации, которые только этим и занимаются.

Петр Петрович. Я их называю «ликвидаторами» той материально-технической базы коммунизма, которую по наивности строили многие поколения. Всё-таки строили, что и до сих пор

работает. Все эти гиганты индустрии, ГЭСы, трубопроводы, линии электропередач, порты и космодромы, академгородки.

Владимир Иванович. Запад позволил нам оставить лишь те отрасли, которые, эксплуатируя наши недра, работают на экспорт, тем самым сделав из нас сырьевой придаток Запада.

Борис Александрович. Да и не продаем мы свое сырье, а сдаем Западу, как сдавали в свое время макулатуру за талоны, а сейчас за право считаться страной с рыночной экономикой. А то вдруг не позовут на очередной саммит восьмерки в Таиланд!

Петр Петрович. Зародившаяся элита была возвращена легким доступом к сырью в то время, когда надо было всё внимание уделить внутреннему рынку. Но это же трудно, требовало умственных усилий, а гнать сырье за рубеж проще, и можно мгновенно стать мультимиллионерами и попасть в десятку самых богатых людей планеты.

Владимир Иванович. Поэтому наша элита и молится на рынок, ибо вне его быть слишком богатым весьма проблематично. А болит душа о сотнях и тысячах средних предприятий, на которых работает большая часть трудоспособного населения.

Петр Петрович. А их-то сейчас и грабят эти ребята из саморегулируемых организаций.

Владимир Иванович. Мне же вообще непонятна эта поспешность, с которой наши либералы, используя модные рыночные лозунги и демократические байки, развалили громадную и могучую страну, а затем сняли с себя всю ответственность за уровень жизни народа и управление экономикой в целом.

Борис Александрович. И партия слиняла с той же быстротой, с которой Николай II отрекся от Великого Российского престола. Что это? Русский метод передачи власти?

Петр Петрович. А я считаю, что элита партии и до 6 ноября 91-го года особой идейностью не отличалась, она до дня её запрета уже была готова «сдать» социализм на милость более передовой общественной формации, ибо у неё уже была подготовлена собственная приватная база капитализма и разработаны программы мирного перехода собственности от социалистического государства, попавшего в дефолт, к наиболее ярким борцам за свое светлое будущее. Так что о морали здесь говорить не приходится. У этих информированных борцов уже давно была тоска по западным банковским счетам.

Борис Александрович. А выкормыш вашей партии комсомол — а я этих ребят хорошо знаю — оказался даже проворнее своих идеологических наставников. Чувствовалось, что эти ребята хорошо питались в детстве через партийные распределители. Партия ещё думала: «Надо бы!», а комсомол ответил: «А мы уже давно есть! Мы уже давно в деле!»

Петр Петрович. Нужно признать, что России в самые ответственные периоды её истории не везло с правителями, особенно в конце «перестройки», этом самом безобразном периоде нашей истории. Да и неоткуда им было взяться.

Владимир Иванович. Это действительно так. Основной потенциал в России (технический, интеллектуальный, людской, в том числе и крупных руководителей) был наработан в 50–60-е годы. За счет его и жили. А как он кончился, так и начался застой, закончившийся обвалом.

Петр Петрович. Последняя волна талантливых руководителей появилась в Москве на высших руководящих должностях, в том числе и во вновь созданных министерствах, после ликвидации совнархозов. Это были лучшие специалисты и организаторы с периферии. И как только этот ресурс выработался, элита стала формироваться из замкнутого московского пространства, крутиться и тусоваться в ограниченной среде и вырождаться.

Борис Александрович. Зато сейчас к московскому дичку усиленно прививается новый питерский подвой. Вот вам и новая кровь.

Петр Петрович. И в правительстве Ельцина тусовались люди, можно сказать, случайные, и, как правило, временные, конъюнктурщики и лоббисты своих личных интересов в различных промышленных и финансовых группах, банках и компаниях. У них не было опыта созидания и развития, организации науки и производства, а лишь старые инстинкты распределения уже созданного и неумное желание порулить в смутные времена большими финансовыми потоками.

Ала Дмитриевна (подходит к столу). Друзья мои! Вы хорошо играете в карты и неплохие аналитики, но при этом забываете о главном — о нравственности, а без этого пустячка никакие дела и реформы у нас не пойдут (уходит).

Владимир Иванович. А действительно, эти бесконечные разговоры о реформах, которые не приводят к улучшению жизни народа, а ради каких-то абстрактных макроэкономических параметров, мало кому понятных. Виртуальный рост без раз-

вития! Что это за капитализм, если цены растут, как на дрожжах?

Петр Петрович. А наши депутаты, то ли ввиду отсутствия профессионализма, то ли по глупости и лени, почти в каждый принимаемый ими закон подкладывают народу бомбу, исчисляемую тоннами горя в тротиловом эквиваленте.

Борис Александрович. Извините, друзья, но вы преувеличиваете сегодняшние беды неизбежного для нас переходного периода. И что вы хотите от внешних и конкурсных управляющих, если перераспределение собственности, т. е. её отъем, от слабых собственников вписан в основные принципы капиталистического хозяйствования и является условием развития общества и находится в правовом поле? Не смог защититься, пеняй на себя! А в защиту, вы уж извините меня, ко всему прочему входит и хорошее отношение с властью, а если этого нет — жди судебных приставов. Если я сейчас свой бизнес не обезопасю любым доступным способом, меня просто сожрут, ибо в большинстве компаний большие мозги и средства направлены на поиск ловушек и слабых мест, которые очень легко использовать, с учетом несовершенства наших законов.

Петр Петрович. Да, Борис, в данном случае ты прав: у нас без согласования с администрациями бизнес практически невозможен, а это, в конце концов, извратит всё общество.

Борис Александрович. Господа оппозиционеры! А что делать бизнесу? Он должен работать в любых условиях и искать самые эффективные и продуктивные формы. Помните, при социализме были подпольные цеха? Они даже в том, полностью враждебном окружении, находили пути! И сейчас выживает самый приспособленный и самый мудрый на сей день, а всё остальное... от лукавого.

Владимир Иванович. А мораль? А вечные истины? А думы о народе?

Борис Александрович. Дайте встать на ноги, а затем уже подумаем и о Боге, и о народе, но не наоборот. Часовни будем строить после, тогда и народ станет богаче. Так было во всем мире, во все времена. В условиях борьбы за существование вредно и лицемерно копать в философии и морали.

Ала Дмитриевна. А душу тоже оставим напоследок? Так ведь это скоропортящаяся субстанция, она обязана трудиться каждый день, без выходов.

Борис Александрович. Тебя, Ала, я понимаю, а вот эти господа, тоже в свое время были в партии, хотя очень сильно её критиковали. Но вы не были бы большими руководителями, не будь членами этой единственной и непогрешимой, так что тоже в свое время выбирали оптимальный путь, а не единственно истинный. Да, и что такое истина? Она дама ветреная.

Петр Петрович. А знаешь, Владимир, я тоже с годами всё чаще задумываюсь о вере...

Ала Дмитриевна. Петя, дорогой! Ты это о себе задумываешься, так как Бог-то он в каждом из нас, только Сатана заслоняет его. Посвятить же жизнь Богу, это значит строить жизнь на любви к ближнему, но это не каждому дается.

Владимир Иванович. Я вот тоже, думая о Вере, иду как бы от обратного. Если 99 процентов народа Земли не придет к Вере, то наша цивилизация, имея столько соблазнов и искушений, вражды и всякой чертовщины, неминуемо придет к печальному концу, когда и воздух, как свисток, совется, и всё живое исчезнет в тартарары.

Петр Петрович. Но человек же умом не может прийти к Богу. Это должен быть какой-то поворот в душе, прозрение. Дорогая наша подруга Ала! Поделись со своими заблудшими овцами.

Ала Дмитриевна. Дорога к Богу долгая, и у каждого своя. Но в итоге каждый должен быть потрясен до глубины — только при этом условии вечная истина вспыхивает подобно свету.

Владимир Иванович. Мы потеряли, в отличие от наших дедов, чувство бесконечности, ибо они верили в Бога, а без этого нет смысла жизни, теряется преемственность, способность передавать духовный опыт следующим поколениям.

Ала Дмитриевна. Расскажу вам, друзья, лишь один эпизод из духовной жизни нашей семьи. У тёти Дуни её сын Федя ушел в первые дни войны добровольцем со второго курса Томского института инженеров железнодорожного транспорта и отвоевал связистом на передовой всю войну от звонка до звонка и остался не только жив, но и без единой царапинки. Этого года рождения, 1922-го, солдат вообще не осталось в живых. Так вот, его мать, моя тётя Дуня, вымолила его и сохранила. По всем теориям вероятности, относительности и здравого смысла этого не могло быть, а если и было, то по этой же причине, когда длинными вечерами и бесконечными ночами стояла эта русская крестьянка в занесенной до крыши снегом

избушке на краю села, затерявшегося в сибирской тайге, перед домашним иконостасом древних икон с лампадкой, привезенных ещё моим дедом из России, и молила Бога за своего единственного Федечку. И вымолила. Это разве не чудо?

Петр Петрович. У наших дедов божьи законы в душе были, и если взглянуть с этой стороны, то вся наша современная жизнь представляется мелким, суетным, вызывающим лишь жалость, как к заблудшим грешникам.

Ала Дмитриевна. А это уже сигнал к изменению ситуации, перелому в сознании.

Петр Петрович. Мы же пока погружены в дьявольские деяния, они захватили нас и держат в своих бесовских лапах уже много лет. Разруха произошла в головах и душах, отсюда все эти обвалы, распады, дефолты и кризисы.

Владимир Иванович. Чем больше всего был возмущен русский человек после финансового кризиса 18 августа 1998 года? Народ и раньше видел, но мирился с воровством в крупных масштабах и присвоением отдельными прохиндеями громадных состояний, с невероятным обогащением банков и всей прочей братии, торгующей недрами. Но он возмущился умственной несостоятельностью и отсутствием элементарного профессионализма у этой вновь возникшей сырьевой элиты.

Борис Александрович. Большое состояние невозможно создать мелкими кражами.

Бабушка. Не в коня корм!

Владимир Иванович. Беда в том, что провозгласив рынок, — а с этим, что весьма интересно, было согласно большинство народа — наша элита, расхватав голубые фишки наиболее прибыльных отраслей, тут же о нем, рынке, забыла, а остальное, что осталось, стала прибирать к рукам через провозимые банкротства.

Петр Петрович. Вот и наш завод банкротит хорошо известный всем местный олигарх через приближенных к губернатору чиновников. Уже назначен внешний управляющий, фамилия его Шарапов. Говорят, молодой парень, получивший образование где-то в Англии. Может, толковый, но он же не свободен в своих действиях, он зависим и будет делать то, что ему скажут. Нет у нас в бизнесе, да и в стране, независимых и свободных людей.

В гостиную появляется Тамара.

Тамара. Нет, в России есть свободные люди! Я выхожу замуж! А вы, дорогие мои предки, всё в спорах о наилучшем устройстве мира? Эти ваши

вечные проклятые русские вопросы! Кто виноват и что делать? Жить надо!

Ала Дмитриевна. И кто же твой избранник, дочка?

Тамара выбегает в прихожую и возвращается с молодым человеком.

Тамара. Знакомьтесь, мой жених — Денис Шарапов!

Немая сцена.

Бабушка. Не угадаешь, где упадешь, где встанешь.

Владимир Иванович. Ну, Денис, проходи, расскажи о себе, а то дочь нас не особенно перегружает информацией. Кто ты, откуда появился, чем занимаешься?

Денис. Не привлекался, не состоял, не участвовал, за границей родственников нет, хотя сам, пройдя отбор в рамках программы Сороса, три года учился в Оксфордском университете на экономическом отделении, имею степень магистра по менеджменту. А недавно выиграл конкурс на внешнее управление уникальным заводом, Вашим заводом, Петр Петрович, который по ряду причин попал в банкротство.

Петр Петрович. И чьи же интересы ты будешь представлять?

Денис. Интересы здравого смысла и экономической целесообразности. Мы не должны закрывать глаза на то, что живем уже в другом государстве, в других экономических условиях. Ваш завод имел громадный производственный потенциал и был четко встроен в ту нормативную систему управления, которая вполне соответствовала логике тех условий жизни всей страны. Но условия изменились. Я же несколько лет занимался вообще вопросами слияний и поглощений предприятий в условиях рынка и, в частности, разработкой программы перевода такого типа заводов, которые, в принципе, могут претендовать на высокие позиции на мировом рынке при условии встраивания их в систему международной кооперации с участием акционерного, в т. ч. иностранного, капитала. Эти вопросы нами прорабатывались ещё в Оксфорде. Поэтому для всех, кто готов сотрудничать в данной программе, двери открыты. Милости просим! Особенно нам нужны профессионалы-производственники, хранители интеллектуальных ценностей данного производства, способные создавать новую продукцию с учетом применения новых технологий, в том числе и в управлении.

Тамара. Как, отец, ты бы поставил зачет этому магистру?

Владимир Иванович. Видишь, Петр, не всё ещё потеряно. Рано хоронить твою фирму. Надо воевать, а главное, есть союзники, обладающие новыми знаниями.

Петр Петрович. К сожалению, весь мой предыдущий опыт говорит о другом. Все, кто заходил на завод, только грабили и растаскивали уникальное оборудование, которым мы десятилетия оснащали наше производство. Создается впечатление, что людей охватила эпидемия грабежа, хотя невооруженным глазом было видно, что завод-то им не по зубам, не для их интеллекта. Но раз достался, как не пограбить!

Борис Александрович. Бандиты тоже ищут дешевые ресурсы, не одни банкиры это умеют.

Денис. А кто виноват в том, что грабят заводы, заходят на них, а не знают, что делать? А часто и взятки дают, когда этого и не требуется, а просто от избытка дурных средств и широты души. И кто же всё это делает? Мы это делаем, народ, только признаться в этом даже себе не можем!

Борис Александрович. Тяга к воровству реформированию не подлечит.

Бабушка. У чиновника четыре полы, восемь карманов, и в каждый надо...

Борис Александрович. Хотя прав, а сто рублей дай!

Денис. В жизни всё логично. Боролись за свободу? Получили, а что с ней делать, не знаем. Продолжаем ждать каких-то законов, указаний, что брать взятки и давать их нельзя, что надо не разорять предприятия, а умно организовывать и производство, и кооперацию, и системустройки в общий рынок, а не только уметь сдавать уникальные станки в металлолом. Так что работы много.

Борис Александрович. Поэтому, друзья, одних чистых помыслов ещё недостаточно. Надо ещё уметь! А каждый и делает то, что умеет!

Петр Петрович. И как же это Вы, Денис, себе мыслите и представляете на практике? Кто это будет организовывать, чиновник? Он этому не учён. Он может лишь составить список предприятий, готовых к ограблению, что-то в нем поменять, переставить местами.

Денис. Вопрос актуален. Чиновник этого не сделает по двум причинам: и не умеет, и не заинтересован. Не сделает этого и старая элита, получившая громадные производственные ресурсы в правление Ельцина, когда якобы у нас была де-

мократия и власть сама назначала собственников, обладающих далеко не теми качествами, которые нужны современному бизнесу. Вот тогда и была заложена чудовищная несправедливость.

Ала Дмитриевна. Только глубокое и искреннее покаяние во зле может нейтрализовать корни этого зла.

Денис. Считаю, что должны появиться, и они уже появились, ассоциации новых предпринимателей, создавших, а точнее организовавших, современный конкурентоспособный бизнес с нуля, без взяток чиновникам. Они вышли за рамки своих заводов и создали схемы производства новых продуктов с высокой добавленной стоимостью, то есть встроили свои заводы в более обширную сеть, которая раньше формировалась Госпланом, а сейчас это надо сделать нам самим в компании с такими же заинтересованными субъектами, ибо рынок сам этого не сделает. Они же рынок конструируют сами.

Тамара. У них, отец, хорошо функционирующая организация молодых предпринимателей, способная влиять уже на многие экономические вопросы. Без этой организации Денис не совладал бы с нашими местными олигархами, о чем говорил Петр Петрович.

Борис Александрович. Много у нас в России было мечтателей. Я думаю, Денис, что твои красивые конструкции рассыплются при столкновении с нашим чиновником и неспособностью основной массы бизнесменов о чем-либо договариваться, кроме захвата новых активов. Я хорошо знаю ту и другую компании. Чтобы осуществить твои планы в России, надо создать резервации, куда свезти твоих новых предпринимателей и где-то найти под них «хороших» и неиспорченных чиновников. А где их взять, может, за границей?

Петр Петрович. А что, это мысль! Раньше в России много немцев служило в различных департаментах, были они и управляющими в частных предприятиях.

Денис. Уже появились люди, которые, глубоко понимая ситуацию в стране, в состоянии менять общество по мере возникновения новых проблем. Это не те жалкие политехнологии, манипулирующие сознанием людей, а личности, способные конструктивно и ответственно строить и свою жизнь, и определять будущее своей страны.

Тамара. Дорогие мои предки! Вы, конечно, генералы, но не более того, а сейчас этого мало.

Извините, подискутируем в следующий раз, а сейчас у нас мало времени. Нам ещё надо успеть в турагентство.

Ала Дмитриевна. Это вы куда ещё собрались?

Тамара. Мы хотим с Денисом попасть на международный семинар в Швейцарии по корпоративному управлению и совместить это полезное с приятным катанием на лыжах.

Ала Дмитриевна. А что, у нас снега мало?

Тамара. Мама, ты этого не поймешь. Там такие горки, а катиться можно прямо от крыльца отеля.

Бабушка. Запили заплатки, загуляли лоскутки. Один форс. Сапожки со скрыпом, а каша ещё без масла. Есть-то будете, а то ещё помрете до отеля? *(искажает последнее слово).*

Тамара с Денисом уходят на кухню.

Владимир Иванович. Вот так, друзья! Чему же мне теперь учить моих студентов? Может, наоборот, к ним на выучку?

119

Петр Петрович. Вообще-то Денис прав! Сама жизнь требует новой организации бизнеса. Да, чиновник этого не сделает. Это ясно. А поэтому следует приветствовать симпатичную мне тенденцию — приход в больший бизнес нового поколения людей, «сделавших себя» уже в новой несоциалистической России. Чувствую, что сейчас нужны люди уже с другой психологией.

Владимир Иванович. Может, для молодых этот период более понятен, чем нам, ибо они вырастают в нем, пропитанные его духом. Им, наверняка, чужды будут многие наши комплексы, наша всеоглядная уравнительная психология, наша слишком гипертрофированная зависимость от власти, верхов, неверие в собственные силы и возможности, наше стремление решать глобальные и вечные вопросы, вмиг забывая о текущих и насущных.

Петр Петрович. Я с годами тоже стал требовательнее относиться к своей нации и к себе. Видимо, человек начинает думать, когда к нему приходит сознание, что он часть своей нации, с присущими ей какими-то базовыми чертами, предопределенными собственной предысторией, культурой, и, возможно, и природными условиями. В СССР как будто все были одинаковы, но как только с них слетел тонкий слой советского человека, под ним обнаружился многовековой слой национальной сути, характера и традиций.

Владимир Иванович. В детстве я с ужасом представлял вероятность родиться другой националь-

ности, но со временем стал сознавать, что и у нас не всё так прекрасно, как казалось ранее. Видимо, иногда надо задумываться, как нас, русских, как нацию воспринимают и судят другие народы.

Петр Петрович. Очень мы широки, нас бы немного укоротить. Нам скучно и муторно заниматься обычной, рутинной работой, нам подавай мировые проблемы, касающиеся всего рода человеческого по созданию то ли идеального общества, то ли организации мировых революций, перестроек, но так, чтобы при этом все окружающие племена и народы содрогнулись и изумились. Русский, лишь только подняв голову, сразу начинает перекраивать карту звездного неба, а научившись считать до десяти, приступает к округлению номеров сотового телефона.

Владимир Иванович. А торговать не умеем, за нас торгуют азиаты, а строят по всей стране турки и кавказцы, но зато мы вмиг очистили Японию от бэушных легковушек, о чем они даже и не мечтали.

Борис Александрович. Нам бы ещё организовать поставку бэушных квартир из-за рубежа, а то скоро простому народу, особенно молодым семьям, у нас просто жить негде будет, так как стоимость обычной квартиры уже превышает годовой фонд заплаты рабочих среднего по численности завода.

Петр Петрович. Выходит, работать можем только в неволе, под началом вождей. Тогда что же нам остается в мировом распределении труда?

Владимир Иванович. Более ста лет наш народ играл в поддавки со всеми правителями и доигрался до полного отстранения от какого-либо влияния на управление страной. Поэтому в ближайшее время нам остается лишь петь, танцевать и смешить все народы. У нас, чем хуже положение в стране, тем лучше с юмором. Неплохие у нас и математики, и физики, хорошо играем в шахматы.

Борис Александрович. А некоторые и в преферанс.

Петр Петрович. Были у нас талантливые конструктора и высококвалифицированные рабочие.

Борис Александрович. Вот видите! Народ в массе талантлив, а на выходе — мизер. Где же нестыковка?

Ала Дмитриевна. Друзья мои! Читайте внимательно наших великих классиков. Лев Толстой устами Кутузова говорил, что управлять в России, что страной, что армией, много ума не надо. Главное, чтобы во главе их был богоданный человек, преисполненный благодати Божьей и по-

лучающий свыше, от Создателя, силу и волю, осененный особым даром Божьим и в итоге дарующий народу покой, мир и довольство. Такие правители в противовес богомерзким, появляющимся всё чаще ввиду культивировавшегося у нас длительное время богоборчества, несут в своей душе милосердие, великодушие и благородство — черты самого Творца. А мы сейчас эти понятия заменили политической борьбой и пустым словоблудием, когда на экраны, а затем и во власть лезут далеко не богохраняемые личности, не показавшие богочестия в предыдущей своей жизни и деятельности. И пока не произойдет воцерковление страны в целом, ждать больших успехов нам не следует.

Борис Александрович. Я человек не политический, но чувствую, что у нас очень неразвита политическая культура. А все эти усилия власти на конструирование партийной системы малоэффективны, ибо надуманны и искусственны. Отсутствие гражданского общества препятствует естественному возникновению партий, отражающих реальные интересы отдельных слоев и классов, а существующие партии в основном борются между собой, ничего не отражая и не отстаивая.

Петр Петрович. Действительно, у нас большое количество людей пенсионного возраста, которые лишились социального обеспечения. Что это за пенсии? А их трагедия в том, что у них нет организаций, которые защищали бы их права, нет партии, которая бы стала выразителем их интересов.

Владимир Иванович. Вы правы. И если у среднего класса, о чем говорил Денис, была бы партия, отстаивающая его интересы, лоббирующая нужные ему законы и контролирующая через своих членов во всех администрациях, департаментах и агентствах состояние дел с быстрым реагированием о всех случаях отступлений в соответствующих СМИ, это изменило бы ситуацию. Но такой партии, к сожалению, нет.

Незаметно до этого в зале появляется Ольга.

Ольга. Есть такая партия. Родители! Я приняла эпохальное решение!

Ала Дмитриевна. Что? Тоже выходишь замуж?

Ольга. Нет, мама! Смотри шире! Я вступила в партию.

Немая сцена.

Бабушка. Куда конь с копытом, туда и рак с клешней.

Владимир Иванович. Пожалуйста, озвучьте название партии. Случаем, не партия крутых абитуриентов?

Ольга. Нет, партия называется «Русский этнос». Это партия молодых и свободных граждан России.

Владимир Иванович. Позвольте поинтересоваться: из каких классов, я не имею ввиду среднюю школу, а группы людей, различающихся своим отношением к средствам производства, формирует-ся ваша партия?

Ольга. Предки! Я была вынуждена по хорошо известным вам причинам общаться с вами очень большой отрезок своей жизни. Да, вы люди не-глупые...

Ала Дмитриевна. Спасибо, доченька, и на этом.

Бабушка. Ныне молодежь — погляди да брось. Молодо — зелено, погулять велено.

Ольга. Мне кажется, что ваше поколение где-то переучилось, где-то перемудрило. Вы свои умствования и раньше, при коммунистах, и сейчас ставили и ставите впереди жизни, а затем жизнь вгоняете в эти умозрительные оглобли. Но мы будем лечить вас и словом и делом.

Бабушка. Где много лекарей, там много и недугов.

Ольга. Мы, во-первых, объединимся и обычным конституционным путем предложим обществу свою программу, где основной идеей будет общественное согласие (хартия благостных принципов), и убедим всех россиян сплотиться вокруг общих правильных (не смейтесь, они всегда были и есть!) идеалов.

Ала Дмитриевна. Дочь, общечеловеческие истины заложены в христианском учении, в Библии, и давно известны миру, но почему-то эти истины, примирившие бы всех людей, никак не могут овладеть их душами.

Ольга. Дорогие пращуры! Вас всегда переполняло ваше любимое донкихотство, всегда хотелось взгромоздиться на еле живого Росинанта, выхватить тупой меч и броситься в последний решающий бой с очередной несправедливостью или каким-либо глобальным промахом мироздания. Мучились о вечности и о всем человечестве, но не учитывали личных интересов конкретных людей.

Петр Петрович. А всё-таки миром правит дух. Побольше бы в жизни донкихотов! Жаль только, что все наши российские первоначальные порывы заканчиваются, как правило, катастрофами.

Ольга. Посмотрите по сторонам, жизнь уже дру-

гая, а вы всё бурчите по-старому. Нет, вы — потерянное поколение для строительства новой жизни. Вы и раньше всё делали с оглядкой на государство, делали вид, что работаете, а государство делало вид, что платит вам. Вы и в рынок-то пошли, когда вам надоело перевыполнять ваши бесконечные пятилетки и захотелось пожить, как люди, думая, что там, у них, в рынке, золотые яблочки на березах растут. А оказалось, что всё не так, и вы растерялись. А мы свободнее вас и работаем только на себя!

Владимир Иванович. Если работа есть или папа в администрации служит...

Ольга. Конечно, свобода должна иметь содержание, здравый смысл и порядок, но в первую очередь мы должны, как говорил дедушка Ленин...

Петр Петрович. Взять почту, телефон, телеграф, а сейчас ещё и Интернет надо брать.

Ольга. Нет, создать свою партию — партию правильных русских, которая предложит обществу понятную всем программу, и в первую очередь молодым, способным и желающим строить своё будущее с белого листа, а вас мы переубедим, не такие уж вы пропащие тупицы, а наиболее способных привлечем к конкретным делам.

Петр Петрович. Раньше, при упомянутом тобой дедушке Ленине, это называлось перековать человека, а уже позже перековывали массово в специально отведенных для этого достаточно отдаленных местах. Вы, надеюсь, этот опыт учтёте?

Ольга. Нам власть как таковая не нужна. Мы конституционным путем, как на общественном аукционе, по лицензии возьмем у народа мандат на организацию гражданского общества, на создание общенародного правительства, уважающего все общественные институты и все самостоятельные организации. Мы возьмем всё лучшее из долгой российской истории: опыт земства, народничества, просветительства великих русских учителей и мыслителей. А к разработке программы привлечем только близких по духу и не обременённых печальным опытом этого неудачного в истории цивилизации XX века людей. Мы широко открыты для диалога, у нас же весь Интернет, а это громадный дискуссионный и организационный потенциал. Наша «Искра» будет поэффективнее и помобильнее ленинской. Мы в этот процесс внесем новые технологии.

Владимир Иванович. Тут у вас неувязочка с Лениным. Он говорил, что партия — это не дискус-

сионный клуб, а организация борющегося пролетариата. Вы о нем забыли.

Ольга. Вот гляжу я на вас, мои родные, и вижу, что прав был тот, кто сказал, что в России бесчисленное количество лишних людей, которые не знают и не хотят ничего делать полезного для общества, всё чего-то ждут, с оглядкой на прошлые авторитеты, на власть, на вождей, на всех правителей, больших и малых. Так жить, милые мои, уже нельзя. Кончайте изучать проблемы, начинайте что-нибудь делать.

Петр Петрович. Сегодня я себя чувствую, как ученик на экзамене. Как он сейчас у вас называется, обществоведение? Мы это не проходили, мы конспектировали съезды коммунистической партии, как этапы строительства светлого будущего. Вот и дожили, что понять ничего не можем.

Ольга. Бабушка, покорми меня. Я с голоду умираю.

Бабушка. Голод не тетка, а из ваших разговоров не сварить? А что, вас в ваших партиях не кормят? *(уходит в кухню)*.

Владимир Иванович. А может, молодежь лучше чувствует запросы времени? А нам наш опыт лишь мешает?

Борис Александрович. Беда в том, что наша страна ещё не привыкла к демократии. При социализме она как бы и не требовалась, был всеобщий производственный план, а к нему прилагалось «народное» правительство, назначались всеобщие безвыборные выборы, как всенародный праздник с продажей пива, апельсин и дефицитных книг. И за работу, товарищи! А обо всем прочем за вас думает ваша родная партия. Но развитие всего остального мира показало, что на данном отрезке времени самым эффективным является государственное устройство, основанное на рынке. Это факт.

Петр Петрович. А как ты относишься к тому, что в Великую Отечественную войну социализм доказал всему миру свои громадные мобилизационные возможности? И это тоже факт, признанный всем миром.

Борис Александрович. А что, наша страна до скончания века собирается с кем-то воевать? Она что, жить не собирается? Нам мало ещё той «холодной войны», которую мы вели фактически одни со всем миром с 46-го, почти 45 лет, а страны народной демократии, входящие в наш «лагерь», лишь вынужденно соглашались с нами, постоян-

но кося глаза на Запад? И если уж мы выбрали рынок...

Петр Петрович. А ты считаешь, что Россия его выбрала окончательно? Что, был референдум? Капитализм не выстрадан в России, его больше придумали, как неизбежное следствие развития западного общества. Пойди чуть по-другому история в 50–60-е годы, и кто знает, в чью сторону перевесились бы весы. Побольше бы нам разума в то время, а не плодить ракеты и подводные лодки, которые и сейчас не знаем куда девать.

Борис Александрович. Ну, знаете ли! Так мы договоримся и до реставрации социализма! Дудки! Только через мой труп! Что, все эти мытарства народа в течение более 15 лет напрасны, псу под хвост! Такое вытерпеть, и снова в казарму? Нет, это уже без меня! Я тех прелестей социализма с человеческим лицом наелся досыта!

Владимир Иванович. А у капитализма, в принципе, человеческого лица быть не может! Разве не видно, какое уродище рождается на наших российских просторах!

Петр Петрович. Тогда ты, уважаемый апологет капитализма, и объясни народу всю механику этой общественной формации, её плюсы и минусы, всю бухгалтерию, где доходы олигархов и других аналогичных субъектов, где их собственные, а что принадлежит народу через недра, леса и океаны, ибо широка страна моя родная, и её формировали многие поколения в течение веков. Где прибыль и как она расходуется? И сколько ещё ждать народу, пока олигархи не скупят всю недвижимость на юге Франции и в Лондоне? Ты спроси сейчас рабочих, что им больше по душе: вот та несвобода, о чем ты только что продекламировал, или сегодняшний разгул либерализма. Вот, то-то же!

Владимир Иванович. А мне вообще непонятен вопрос появления сверхбогатых в нищей стране. Как могли появиться единоличные владельцы целых отраслей. Я далеко не уверен, что это самые способные личности. Появление нефтяных и других империй ещё не гарантирует их разумного управления. Мы с тобой, Петр, десятки лет отдали производству, когда днями и ночами не выходили с завода и относились к своим обязанностям получше иных собственников, пропадающих на Багамах. Когда у каждого в кармане был ваучер, все думали, что появятся акционерные общества, где управляющие будут под контролем большого числа собственников и с ротацией менеджеров. А у нас в одночасье появились милли-

ардеры, да к тому же ещё и монополисты. И где же тогда у нас невидимая рука рынка? Все остальные в рынке, а они — над нами!

Борис Александрович. Тут вы, друзья, правы. Но любое большое дело не бывает без осечек. Вы-то это прекрасно знаете как инженеры. Почему у нас антимонопольный комитет не работает? Вот это мне непонятно! Американцы в конце XIX века ещё при Теодоре Рузвельте компании-гиганты разделили на части и стали строго следить за конкуренцией, а у нас аллергия на конкуренцию. Все настроены на поглощение, чтобы никаких конкурентов. Сам грешен.

Петр Петрович. Я согласен, Борис, с тобой, что демократия для рыночной экономики нужна в сто крат больше, чем при социализме. А мы рынок провозгласили, а все сопутствующие институты рынка (правовые, фискальные, суд, арбитраж и т. п.) оставили в руках старых обкомов, назвав их администрациями, т. е. построили полукапитализм или капитализм для приближенных к администрациям. Поэтому молодые и чувствуют этот недостаток, и, я думаю, найдут пути решения этого вопроса. Что-то я стал больше верить молодым. Видимо, старею.

Борис Александрович. Я эту кухню хорошо знаю, когда подпись или звонок одного человека дают какой-то фирме невероятные преимущества перед другими. А я хорошо помню и то романтическое время кооперативов. Тогда народ, устав от вечного дефицита и поверив призывам идти в рынок и в свои предпринимательские силы, он с энтузиазмом и по-честному стал создавать, каждый сам, свое дело. Многие двинулись в фермеры. Народ готов был вступить на долгий путь первоначального накопления капитала своими руками и собственным трудом.

Владимир Иванович. Но наша элита в это время думала не о создании нового капитала, а стояла в очередь к Государю, царю Борису, за получением лакомых кусков собственности, а иногда и целых отраслей, работающих на экспорт. Вот и получилась у нас экономика — тайга, где стоят громадные кедр, выращенные многими поколениями, но оказавшиеся вдруг в руках олигархов, а малого и среднего бизнеса нет, под этими кедром у них голая земля, нет подлеска, ни березок, ни сосенок, елочек и пихточек, а также всякой другой мелочи, без которой и в тайгу заходить неохота.

Борис Александрович. А тебя туда сейчас и не пустят. Там охрана: «Кто такой? Пошел вон! У нас

орех на экспорт! Не для вас, голодранцев без лицензий!» Признаться, у меня был шок, когда я впервые узнал о появлении вооруженной охраны в частных фирмах. Мне всегда казалось, что это прерогатива государства иметь вооруженные подразделения. Но сейчас уже все к этому привыкли.

Петр Петрович. Всё-таки в старые времена народ чувствовал себя более защищенным и уверенным в своем будущем. Помню, как я по-настоящему был счастлив, когда у нас на заводе хорошо шла работа и как при этом горели глаза у рабочих, выполнивших в срок сложное задание. И всё это было искренне! И что? Для того чтобы эффективно и добросовестно управлять производством, банком или чем другим, обязательно надо быть собственником этого? Вот этого никак не пойму!

Борис Александрович. Мужики, вы всю свою жизнь прожили в строго определенных, регламентированных условиях, а сейчас хотите со старым багажом безболезненно войти в уже новый мир? Так не бывает!

Расскажу вам для разрядки анекдот, где сходятся по жизни два человека, живущие в разных мирах. Как-то один наш ведущий инженер-технолог оказался за рубежом в самом начале нашего перестроечного времени и захотелось ему побывать в публичном доме. В те времена эта тема у нас в отсутствии вообще какого-либо рынка, а тем более в этом деле, была окутана каким-то болезненно-мистическим туманом и психокультурологическими переживаниями.

И вот уже в номере наш герой, очень смущаясь, завел с девицей душещипательный разговор о жизни. Видимо, язык знал. Во-первых, проявил солидарность с угнетенными эксплуатируемыми массами капиталистических стран, рассказал о себе, о семье, о пацанах-школьниках, что и зарплата-то небольшая, да и ту иногда задерживают, а часто выдают продуктами. А на командировочные тоже сильно не разгуляешься. Стал интересоваться технологиями её профессии, какая система оплаты труда — сдельная или повременная, дают ли квартальные премии, премии за рацпредложения. Позволяют ли подрабатывать после работы.

Девушка терпела-терпела и говорит: «Знаешь ли, товарищ инженер, кончай, наконец, и вали к себе на завод, а мне работать надо! И считай, что получил гуманитарную помощь от загнивающего капитализма».

Владимир Иванович. Твой анекдот ещё раз подтверждает, что нравственно наше общество было

на голову выше того «их»... буржуазного. А сейчас подравнялись, а где-то уже и обскакали, Москва уже стала столицей путан, и что? Выиграли? Стали более цивилизованными? Сомневаюсь!

Петр Петрович. Ты, Борис, лучше бы женился, а то тебя рынок засосет, а там уже и поздно будет, да и цену потеряешь, придется на гуманитарной помощи существовать.

Борис Александрович. Нет, после того как Владимир у меня, можно сказать, девушку изо рта вынул, у меня игра не идет, карта отвернулась. А карта идет везунчикам.

Петр Петрович. Видишь, Борис, я то время хорошо помню, сам в то время со своей женился, и знаю, что это был выбор Алы Дмитриевны. Когда Владимир появился у нас на заводе, он сразу положил глаз на неё, а она своим женским чутьем почувствовала в нем надежность и устойчивость. Это они, бабы, хорошо чувствуют. Им рынок не нужен!

Ала Дмитриевна (*подойдя, услышав разговор*). Боренька, милый, уж очень тебя девки любили, а ты так ни одну и не полюбил.

Борис Александрович. Говорю откровенно, как на партбюро: тебя, Ала, любил, это честно, но вот этот субъект как-то неожиданно, как банковский кризис, как цунами, ворвался, и я где-то упустил момент.

Бабушка. Дал бы Бог помолодеть, знал бы, как состариться?

Борис Александрович. Ладно, не будем вспоминать прошлое. А о чем мы говорили?

Ала Дмитриевна. Как всегда, о публичных домах (*смеется и уходит*). Не о вечных же истинах сейчас мужики говорят.

Петр Петрович. Знаете, други, мне кажется, что наша элита не знает, во имя чего она управляет, к чему стремится. А мне порой становится стыдно перед своими детьми и молодежью, что именно в наше время произошел распад страны, когда мы управляли уже большими трудовыми коллективами и, казалось, многое понимали, но как-то до конца неосознанно и безвольно втянулись в этот безумный процесс развала гигантской страны, надорвавшейся на противостоянии со всем миром. Поэтому я и не могу ничего советовать молодым, лишенным балласта прошлого.

Владимир Иванович. Да, поколение наших отцов, воевавших и отстоявших весь мир от фашизма, в моральном отношении было на голову выше сегодняшнего нашего. Они в своей жизни сдела-

ли очень большое и трудное дело, они потрудились до седьмого пота и при этом рисковали жизнью во имя большой идеи. Я ещё помню калек-фронтовиков, игравших и певших на базаре печальные и грустные военные песни. Да, очень часто они были под хмельком, а иногда и крепко выпившие, но они вызывали у нас, пацанов, искреннее уважение и доверие тем, что это были наши фронтовики-защитники.

Петр Петрович. И главное, в стране был всеобщий подъем, весь народ строил, залечивал раны войны. Поэтому мне и кажется, что у нас действительно нет особых моральных оснований выступать со своими советами.

Владимир Иванович. Уверен, что молодежь сама найдет свой путь, скорее интуитивный. Мне всегда, а особенно сейчас, когда я близко сталкиваюсь с молодыми, казалось и кажется, что новые поколения, не обладающие отрицательным опытом, быстрее нащупают свой верный путь.

Борис Александрович. Действительно, больше верится тем, кто ищет истину, чем тем, кто её уже нашел.

Незадолго до этого из кухни вышли Тамара с Денисом и Ольга с бабушкой, прислушиваясь к разговору.

Ольга (*обнимая бабушку*). Милые наши прародители! Хотя вы и оглушенные рынком и временно энергетически обессточены, но, тем не менее, я лично резко изменила о вас свое мнение. Послушав вас...

Бабушка. И хорошо, с аппетитом поев...

Ольга. Я убедилась, что вы ещё нам очень здорово сгодитесь. Да, вы недостаточно хорошо представляете наше будущее, но зато вы прекрасно знаете все болячки прошлого. А отрицательный опыт — это тоже результат, он тоже денег стоит.

Владимир Иванович. Не только денег, но и жизни.

Денис. Вы уж, ради бога, простите наш некоторый максимализм, он больше от азарта, а жизнь сама откорректирует направление. И всегда (*обращается к Оле*) надо помнить одно хорошее правило, полезное и в бизнесе и в жизни: чтобы найти с кем-то общий язык, нам надо иногда прикусывать и свой.

Бабушка. Новых друзей наживай, а старых не теряй. А новое — оно обомнется, оботрется и по-старому пойдет!

ЗАНАВЕС.

Акт II

Практически та же обстановка, на видном месте — зеркало, на полу — ковер.

В комнате — бабушка.

Борис Александрович (*входит*). Дарья Григорьевна! Где все ваши в такой важный и ответственный день! Выборы! Сегодня у многих решается судьба!

Бабушка. Проходи, Боря. Володя с Алой обещали скоро прийти, должен быть и Петр. Молодежь в своих штабах, ждут результатов.

Борис Александрович. Все мы сегодня чего-то ждем.

Бабушка. Я часто слушаю ваши споры-разговоры, но чего-то в них нет главного. Что вы сегодня ждете от выборов? Ведь ничего не изменится. Спасителем народа может быть лишь тот, кто сам идет на крест ради его спасения.

Борис Александрович. Где же мы заблудились? И когда?

Бабушка. Всё стали решать за народ. Я за свою жизнь много чего помню. Объявляли дату построения коммунизма, даже точнее, чем день пришествия. А затем всё списали на шутника Никиту Хрущева и коммунизм отложили, а все силы бросили на победу социализма. Объявляли референдум по нерушимости Союза, но на следующий день его распустили, а введение капитализма вообще не обсуждали, провели как очередную посевную компанию. Поглядим, что взойдет! Поэтому народ и ждет, когда же с ним начнут серьезно говорить.

Борис Александрович. Дарья Григорьевна, вас бы в списки на губернатора, я бы за вас голосовал. Так в чем же всё-таки счастье человека?

Бабушка. Ещё мой дед говорил, что счастье — это когда в избе тепло и пахнет свежим хлебом. А мне бы дождаться правнуков и поддержать на руках свои кровинки. И поблагодарить за это Бога.

Борис Александрович (*в сторону*). Как всё просто!

Бабушка. А ты, Боря, что-то долго решаешься. Я ведь всё вижу. Сегодня должна быть Анна. Девка хорошая, а заблудилась в ваших електоратах и блатированьях. Смотри, Боря, время уйдет — не воротись. Не грусти, пойдем, я тебя угошу компотом из вишен (*уходят*).

Анна (*входит*). Где же весь народ? И хорошо! Хотя немного переведу дух. Что-то я замоталась. (*Идет к зеркалу.*) Надо мне наконец прийти в чувства, да и о душе подумать, пока ещё... (*смотрится в зеркало*) глаза блестят и фасад в норме. И не пора ли тебе, Анна, прибиться к какому-либо берегу, пока эти берега не заселили чумазные туземцы. Если сегодня будет Борис, надо...

Борис Александрович *выходит из кухни, тихо подходит и берет Анну за талию.*

Анна (*испугавшись, быстро поворачивается*). Борис Александрович, вы меня так напугали! Так нельзя с бедными и слабыми женщинами после такой ответственной военной компании.

Борис Александрович (*отстраняясь*). Аннушка, разве можно быть такой красивой? Это переходит уже все границы!

Анна. Вы льстите уставшей и замотанной жизнью женщине.

Борис Александрович. Я же вас давно не видел, и вы стали ещё стройнее. Как у нас говорят, вы изумительно вертикально интегрированы (*любуется*). Да, это штучная работа, ювелирная отделка. Это сколько же пришлось природе потрудиться, а обществу вложить средств, труда, фантазии и творчества, чтобы создать такое чудо? Действительно, женщиной не рождаются, ею становятся! Аннушка, вы самое изумительное существо из всего, что я когда-либо видел в жизни.

Анна. Это вы, Борис Александрович, всем бывшим вашим женщинам говорили? А кроме того, вы человек, увлеченный работой, вам же некогда тратить время на такие глупости.

Борис Александрович. Аннушка, вы меня обижаете до глубины души. Вы же хорошо знаете мое отношение к вам. Это для вас не секрет. А говоря образно, вы для меня всегда были инвестиционно привлекательны. Я готов вложить любые душевные инвестиции в наше с вами совместное предприятие. Вы будете моим непереизбираемым до конца моих дней Президентом, наместником, губернатором, Туркменбашой, кем хотите.

Анна. Борис Александрович! Вы хоть представляете, на что идете? Вы знаете, сколько стоит макияж современной, раскрепощенной женщины?

Борис Александрович. Аннушка! Ваш макияж ликвиден! Здесь я совершенно не рискую ни центом. Если я его удачно капитализирую, я ещё буду иметь дивиденды.

Анна. Тем не менее, таким женщинам, как я, нужны немалые ресурсы. Поэтому требуется разбраться с финансовым состоянием будущего партнера, с его моральным балансом, кредитной историей, душевным рейтингом, да и с его связями и заказчиками. Говорят, что он не всегда был разборчив в них, слишком подвержен стихии рынка, излишне эмоционален, а это в любом бизнесе опасно. Кто-то сказал, что у бизнесмена должна быть холодная голова, горячее сердце и прозрачная бухгалтерия — душа.

Борис Александрович. Что-то подобное говорил дедушка Дзержинский о чекистах, а я как раз и есть такой человек (*встает на колено*). Аннушка! Проверяйте! Хоть с налоговой инспекцией, хоть с пожарником, хоть с фонарем, как Диоген. Я весь в руках вашего правосудия. Одно ваше слово, и моя душа и сердце на вашем бессрочном расчетном счету. Готов подписать договор на любых условиях. Сочту за счастье жить под этим милым изящным каблучком (*указывает*), ходить по струнке, обязуюсь ликвидировать все вредные привычки, не играть мизер втемную и вообще кардинально исправить свой генотип.

Анна. Ради бога, Борис Александрович, я вас очень прошу, оставайтесь таким, каким вы есть! А то вдруг неожиданно вместо вас появится какой-то незнакомец без этих милых и уже почти родных привычек и смешных недостатков! И вы всё испортите! А кроме того, вы прекрасный обольститель! (*в сторону*). Но черт побери, это нам, дурам, нравится.

Борис Александрович. Это не я говорю, это душа моя, она долго молчала и вот разговорила наконец, плюнув на всю нашу мирскую суету и рыночные страсти.

Анна. Откровенно говоря, я благодарна вам, Борис Александрович, за вашу долгую преданность мне (*садится возле него*). Я слишком долго была одержима политической борьбой, она захватила меня, я что-то искала в этом, но признаться...

Борис Александрович. Политика — это замужняя дочь экономики, вышедшая замуж не по любви. У нас же, Аннушка, всё будет по-другому, на основе старых добрых правил, простых, как салдо-бульдо, и чистых, как поцелуй ребенка. Я верю!

Анна. Я согласна, Борис, на создание нашего СП на вере. Я уже созрела, чтобы отдать себя в полное управление с правом иметь лишь совещательный

голос в Совете директоров и нести ответственность за свой женский участок работы. Обязуюсь выполнять свои обязанности профессионально, с полной отдачей всех своих душевных сил, преданно и с любовью. Но внесем некоторую интригу, пусть и судьба поработает сегодня, я ведь тоже в душе игрок. И если сегодня моя команда проиграет выборы, я готова подписать все учредительные документы нашего СП хоть сегодня. Как, по рукам?

Борис Александрович. Какой же я сегодня был дурак! Я голосовал за нашего губернатора! Но кто же мог знать такой расклад карт, а главное — прикуп. Аннушка, что случилось?

Анна. Нельзя одной колодой карт играть и с Дьяволом и с Богом. Я в конце этой компании каким-то седьмым чувством ощутила, что наши методы работы и наша игра устарели. Молодежь находит свежие ресурсы в борьбе. И это надо признать! А главное, я почувствовала правоту в их позиции. Действительно, нужны перемены.

Владимир Иванович (*входит с Петром Петровичем и Алой Дмитриевной*). Петр, что это за сцена из древнегреческой трагедии в такой день?

Ала Дмитриевна. Это скорее пастораль из старых добрых времен.

Петр Петрович. Могу лишь отметить, что красивых женщин всегда требовалось красиво обольщать. Но наш друг в этом деле большой специалист.

Владимир Иванович. Красота всегда владеет контрольным пакетом, но красота — это и большая ответственность.

Борис Александрович. Друзья, у меня сегодня может круто повернуться жизнь. У нас с Аннушкой намечается создание высокорентабельного холдинга на основе акционирования душ и капитализации чувств.

Бабушка. Люди женятся, а у нас глаза светятся.

Петр Петрович. Вы хоть встаньте, голубочки. А что, Владимир, (*любуется ими*) прекрасный выпал марьяж, истинно червонный, а если ещё к козырной масти и немного удачи, то это уже тянет на десятерную. Везёт же людям!

Бабушка. Хороша парочка, как баран да ярочка. Красота приглянется, ши не прихлебаются.

Анна. Как всё-таки непредсказуема жизнь! С утра я ощутила себя наконец свободной женщиной и была ею буквально до вашего прихода.

И вот я снова отдала себя в руки судьбы. И будь что будет! Жребий брошен!

Бабушка. Что будет, то будет, а будет то, что Бог даст.

Борис Александрович. А я сегодня либо богач, либо одно из двух! (*переглядываются с Анной, смеются*).

Владимир Иванович. Это, видимо, у них на нервной почве, от переутомления бизнесом и политикой.

Петр Петрович. Что делает жизнь даже с такими людьми! А не расписать ли нам для успокоения пулечку, как в старые добрые времена?

Голоса: «Можно», «А скоро и молодежь придет, итоги узнаем». Рассаживаются.

Борис Александрович (*тусует карты и подает Петру Петровичу для снятия*). Да, друзья мои! Жизнь, как карточная игра и зависит от того, кто сдает.

Петр Петрович (*снимает*). Нет, Борис, скорее от того, кто снимает... пенки.

Борис Александрович (*раздает*). Что ни толкуй Вольтер или Декарт,

Мир для меня — колода карт,

Жизнь — банк, рок мечет, я играю.

И правила игры я к людям примеряю.

Играют. Слышны голоса: «Пас, Пас, Шесть пик, Играй, Пас, Вист, Ложись, Шесть свои, Анна сдавай». Анна сдает.

Борис Александрович. Нет, не могу ждать! Сколько время? Играю в русскую рулетку! Ты, Аннушка, сдавала, я снял. Значит, судьба в наших с тобой руках. И если есть всевышний, он скажет, что мне ждать сегодня. А я сегодня верю в свою судьбу. А вас, господа степенные, перебиваю втемную. Озвучьте Ваши возможности.

Владимир Иванович. У меня максимум семь червей.

Петр Петрович. Я бы рискнул на восемь пик.

Борис Александрович. Поэтому я заявляю восемь треф. Аннушка, отдай мне наш с тобой прикуп, верю в свою звезду.

Ала Дмитриевна. Эх, Боренька, если бы ты чаще и внимательнее смотрел не в накладные и платёжки, а в глаза тебя окружающих людей, тебе не потребовалось бы так надеяться на судьбу.

Борис Александрович (*смотрит карты и бросает на стол*). Дамы и господа, неловленный мизер! Что я говорил?

В это время с шумом, смехом в гостиную входит большая толпа молодых людей. Взрослые встали навстречу, особенно в волнении Борис Александрович и Анна.

Владимир Иванович. Ну, говорите, чья взяла? Неужели наш проиграл?

Ольга (*за всех*). Да, отец, мы выиграли!

Общий шум, ликование, громче всех слышен голос Бориса Александровича: «Ура! Я это уже знал!»

Борис Александрович. Аннушка! Я поздравляю нас с тобой. Я этот день запомню на всю жизнь! Ребята, а вам большое спасибо за мою счастливую ста... (*замаялся*) оставшуюся жизнь!

Голоса: «Так мы ещё ничего серьезного не сделали! У нас всё впереди!»

Борис Александрович. Это как посмотреть!

Поют, разделившись на две группы, в центре бабушка.

Старшие:

Вы нас, дети, извините, если где напутали,
Что-то в жизни и познаешь, лишь прожив года.
Может, где перемудрили, что-то и профукали,
Ведь хотели мы, как лучше — вышло как всегда.

Молодые:

Не корите себя сильно, не берите в голову,
Ведь немало вы тащили на «горбу» своем,
Да и мы неплохо вышли, седина вам в бороду,
Вот ещё бы научиться делать что-то днем.

Вместе:

Мы не приходим ниоткуда,
И не уходим в никуда,
И в этом лишь частица чуда,
И много тяжкого труда.
И корни в глубину уходят,
Пронзая толщу лет, эпох,
И сок веков по жилам бродит,
В которых что-то ищет Бог.
Чем толще ствол, тем шире крона,
Сочнее и вкуснее плод,
И пусть без непонятных клонов
Дай бог и выживет наш род.

Бабушка (*ей помогают все*):

Не желаю покоя вам в жизни — наскучит,
В труде надо счастье искать.
Простые же истины главному учат,
И Родину нашу умом не понять.

КОНЕЦ

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТУДИЯ

Марина БРЮЗГИНА

*Машина сбила человека,
А он, наверное, любил,
А он без малого полвека
По сонным улицам ходил.*

*И вот теперь лишь столб фонарный
Над ним, как памятник, стоит.
А снег, искрившийся недавно,
Холодным саваном лежит.*

2005

КУМИР

*Я так боюсь, чего — не знаю.
Наверно, стать одной из тех,
Кого так страстно обожаю
За феерический успех.*

*Кто, словно солнце, полыхает
Над головами всех людей
И так внезапно угасает
В круговороте бурных дней.*

*Ах, это сладко, очень сладко
Познать и деньги, и вино,
А на душе кричащей гадко
И до отчаянья темно.*

2002

УЛИЦА У АЭРОДРОМА

*Забыта удочка родная,
Забыта, но не навсегда.
Её, как счастье, вспоминая,
Приду когда-нибудь туда.*

*Там всё красиво — просто ужас!
Там листья сонно шелестят.
Увижу вновь в зеркальных лужах
Деревьев солнечный наряд.*

*И вспомню время, как летала,
Как начинала просто жить...
Ведь я тогда ещё не знала,
Что буду детством дорожить.*

2005

*Бегаю за тем, кто мне не нужен,
И пытаюсь стать ему родней,
Хоть и знаю, будет только хуже,
Если он привяжется ко мне.*

*С каждым взглядом мы опять не ближе.
С каждым словом тон наш холодней.
Вечером ты пропадаешь с книжкой,
Я иду в кафе, где пошумней.*

*Знаю: там, где я, — тебя не встречу,
Там, где ты, — навряд ли буду я,
Но хочу обнять тебя за плечи
Просто как частичку бытия.*

2004

НА КРАСНОЙ ГОРКЕ

*Из-под шапки вязаной
Волосы струятся.
На щеках указаны
Островки румянца.*

*А следы наснежные
Будто бы оконца,
Робкие и нежные
В переливах солнца.*

*В это утро синее
В гармоничном мире
Всё укрыто инеем.
Хорошо в Сибири.*

2005

ОБРАЗЫ

*Я вижу, месяц, как горбун, согнулся,
Влача своё ночное бытие,
Но день-другой, и вот он обернулся
«Цыганским» солнцем в тёмной чешуе.*

*Дневное солнце согревает землю,
Своим теплом напоминая печь.
И сторож-сердце никогда не дремлет...
Тепло любви так сложно уберечь.*

*И сердце дышит жизнью, дышит светом,
И кажется, сердечность мир спасёт.
Мы думаем, любовью всё согрето.
Но, может, это кажется?.. Не всё?..*

*Границы, границы, границы...
Вся жизнь состоит из границ.
И наши окрашены лица
Огнём непослушным зарниц.*

*Мне кто-то из предков оставил
Тревогу кочующих птиц.
Хочу исключений из правил,
Хочу нарушений границ.*

*Читаю себя постранично,
Смотрю полубившийся сон.
Я с кем-то серьёзно граничу,
Но это до лучших времён.*

*Писать узоры грустных рифм
Своей неприхотливой кистью,
Искать сюжет в осенних листьях
И придавать им нужный ритм.*

*Сминать тетрадные листы,
Виновные во всех терзаниях.
И понимать как наказание
Укор бумажной чистоты.*

*Построить буквенную рать,
Идущую единым строем,
Все ударения настроить —
Какая это благодать!*

ОБИЖЕННЫЙ ПОЭТ

*Отредактирован нещадно
Мой самый лучший в жизни стих.
Помучаюсь немного... Ладно,
Потом я стану выше их!*

*Ну а пока талант не смеет
Подняться выше этих строк.
Но, может быть, кого-то греет
Как тот «рубцовский огонёк».*

2005, г. Кемерово

Юлия ЛАВАТЕРА

МАМА

*И пришёл он домой.
И принёс свои раны.
И почти неживой
Рухнул на руки мамы.*

*И молилась она.
И лечила от смерти.
Хоть болела душа,
Но держалась, поверьте.*

*А когда её сын
В первый раз улыбнулся,
Слёз сдержать не смогла
И сказала: «Вернулся!»*

*А по утрам дожди с дождями.
И даже в окна смотреть тоскливо.
И люди, едущие в трамвае,
Ругают осень, что лето смыла.*

*«А ведь должно же быть бабье лето», —
Сказала дама в пальто зелёном.
«Давно должно бы, да что-то нету», —
В ответ кивнуло ей полвагона.*

*Слегка поправив платок линялый,
Взгрустнула бабка: «За что нам это?»
И крякнул дед, с утра чуть пьяный:
«Какие бабы — такое лето».*

*А дождик нудный хлестал по стёклам,
И не могла я найти ответа:
Как долго город мой будет мокнуть?
При чём здесь бабы, когда нет лета?..*

* * *

*Когда совсем мы закатаем
Свою планету под асфальт,
И жизнь, как схему, рассчитаем,
Чтоб знать конечный результат,
К нам ангел явится небесный
И спросит каждого из нас:
Как собираешься воскреснуть,
Когда в материи погрязнешь?*

* * *

*Слово «вечность» пахнет ладаном
И весенней травой...
Словно в детство безоглядное,
В мир ныряю с головой,
И пока растёт забвение
В неосознанной глуши,
Замираю от волнения
Перед смелостью души...*

МОСКВА

*Ты стоишь величаво в сторонке —
Средоточие разных культур,
Собирая в себе, как в воронке,
Ценность мысленных архитектур.*

*Средоточие суетной власти
Над огромной Россией моей, —
Ты, как грех и величие страсти, —
Искушение смертных людей.*

*И, взирая окрест величаво,
Поднеся руку-небо к глазам,
Так наивно, жестоко, неправо
До сих пор ты не веришь слезам.*

ВСПОМИНАЯ 96-й

*Так порой заплакать хочется
И спросить у тишины:
Что мне делать с одиночеством
На развалинах страны?*

г. Новокузнецк

Юрий РАДЧЕНКО

ОКРАИНА

*Я здесь как будто бы в гостях,
Родной Тайгой не узнаваем.
Остатки ягоды в горстях
Рябина прячет за сараем.*

*Дом завалился, и давно
Подпорки хмуро держат стену.
Я не помощник всё равно,
Лишь взглядом боль его задену.*

*Видать, не кормлены давно
Собаки воют, словно волки:
Им охранять судьбой дано
Тайги печальные задворки.*

*На снег по крышам сажает села,
Трубы печной обглодан бок.
И в огород шагнул несмело
Печалью крашеный дымок.*

ЛЕТО

*По улице Кирова в сторону парка
Шагает мальчишка знакомым маршрутом,
Мелодии лета ему, как подарки,
И дождик его миновал почему-то!*

*Его одноклассница, с явным приветом,
Дурацким мороженым вдруг поперхнулась,
Три года подряд обзывавшая шкетом,
Три раза тайком на него оглянулась!*

*Нагреты асфальтом чистейшие лужи,
Дорожка по парку — весёлая пляска —
Ты вырос за лето, и, значит, так нужно,
Другая теперь начинается сказка:*

*Уже персонально тобою болеет
Девчонка, облитая солнечным светом, —
Уваших качелей, как свечка, белеет
Три года тебя обзывавшая шкетом.*

ПО ДОСТОЧКЕ

По полочкам посуда,
 По струночке семья.
 Ты строгая, паскуда,
 Но благо: муж не я!
 И всё по расписанию:
 Шаг в сторону — побег!
 По общему признанию,
 Муж — сильный человек.
 Уж сколько лет он держится,
 Как в лагере живёт,
 Не топится, не режется,
 Любимою зовёт!

г. Тайга

Ирина КАЗАНЦЕВА

«Почему люди не летают...»

Если б крылья мне, любимый,
 Я бы птицей полетела
 И без усталости кружила
 Над окном твоим, любимый.

Ночи тёмной не боялась,
 Не боялась вьюги злобной.
 В небе горлицей металась,
 Лишь бы ты меня увидел.

Ну а если б не увидел,
 О стекло б я стала биться.
 Ты бы понял, и услышал,
 И впустил меня, любимый.

Ну а если не впустил бы,
 Крылья белы стали б алы.
 Для чего голубке небо,
 Если голубя отняли.

Может, звуками я стану,
 Может, песней обернусь я,
 Песней нежной и печальной
 В дом, любимый, твой ворвусь я.

Каждым словом, каждым звуком
 Обниму тебя, любимый,
 В каждом слове, в каждом звуке
 О любви своей скажу я.

Я молитвой доброй стану,
 Ангелом небесным буду
 И звездой в высоком небе,
 Вечным светом для тебя...

Дождь хлопочет на дворе
 И стучит в оконце.
 За работой я сажу —
 Вышиваю солнце.

Вышиваю ясный день,
 Под берёзкой нашей тень.
 На крылечке ты стоишь,
 На меня светло глядишь.

Только где тот ясный день?
 Только где то солнце?
 Где полуденная тень?
 Дождь стучит в оконце...

г. Новокузнецк

131

Надежда ПЛОТНИКОВА

В полумраке глубоко озёр
 Не найдёшь ты прямого ответа.
 Только здесь, на поверхности где-то,
 Отражение мощное гор.
 Нависая, вздымаются скалы.
 Торопись, час заветный настал!
 И причины ни много ни мало,
 Чтоб узреть искривленье зеркал.
 Так спокойны могучие крыши,
 Голос звучный суров и един.
 Не смотри на подошвы, а выше,
 Только в самое сердце вершин.
 И пойми, когда в быстрые смерчи
 Превратятся потоки из слов,
 Это будет не «ариведерче»,
 А приветствие тайных миров!

* * *

Проще, когда обеспечены
Неприступный забор и алиби...
Как недокалеченному
Вновь выходить на люди?

132

НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

*А след не рождённых не пахнет землёй..
Цензура на жизнь и... бездетность столетий.
Прикрыв завещанье дрожащей рукою,
По-детски совсем плачут старые дети.*

Меж строчек, увы, ничего не осталось.
Свидетелей нет и исчерпаны средства.
Новейшее время... Лишь мягкая старость
Жалеет седое наивное детство.

* * *

У меня за душой сотни мелких побед,
Сотни брошенных дел, сотни прожитых лет.
Сотни ссор, сотни драк, сотни крупных обид,
Сотни важных, но глупо проигранных битв.
Сотни лучших друзей, сотни сильных врагов,
Сотни преданных статуй фальшивых богов.
Если жизнь — цель прогресса, зачем же душа
По сто первому кругу повтора пошла?

г. Кемерово

Ирина БРЕЕВА

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ

*Во мне плюсов больше, чем в школьных
 примерах,
И с каждым мгновеньем число возрастает.
Умна, совершенна в лице и манерах,
Лишь женщины слабой во мне не хватает.*

*Мужчины, ответ уравниенья простого
Заложен в законе масштаба вселенского:
Чем меньше в мужчине исконно мужского,
Тем меньше во мне исключительно женского.*

г. Кемерово

Николай БАЦЕВИЧ

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Время близится к обеду,
Я иду не на парад,
Я спешу к родному деду.
Он, принёсший нам Победу
В сорок пятом, будет рад!

Я же внук, его могли
Не поздравить с этим днём!
Расцелуемся с дедулей,
По-мужски слезу смахнём.

Я достану свой четок:
«Выпьем, дедушка, чуток,
По сто граммов фронтовых
За погибших, за живых».
И пойдёт беседа, ушка,
Словно ворожба...
У России с дедушкой
Схожая судьба...

Пусть Россия славится,
Снятая с креста.
Дай ей бог поправиться,
Всё тогда поставится
На свои места!

ЗАВАЛ

Про это я ещё не рассказал,
Как попадал я в шахте под завал.
Засыпало по грудь меня в чертоге,
От неудобства ноги затекли.
Тогда впервые вспомнил я о Боге,
Почувствовав дыхание земли.
Лежал и думал: это ж надо, Коля,
Как ухитрился ты сюда прилечь?
Потрескивала надо мною кровля
И вдруг зависла, как дамоклов меч!
Повыхлестало крепь из-под прогона,
От холода пошла по телу дрожь,
В мозгу крутилась песнь про коногона,
Про коногона всё одно и то ж...
Конец был прост и в общем-то банален:
Меня из-под завала извлекли
Напарники мои, лихие парни,
Оставив лишь завалу сапоги.

г. Кемерово

Антонина ШМАТКОВА

НАДО ПРОСТО НАПЕТЬ

Вам не спеть этих песен,
Что поются без слов,
Пусть мотив их невесел
От шумящих дождей и ветров,

От небесных ручьёв
И струящихся линий извне,
Из далёких миров,
Занесённых в окошко ко мне.

Это вам не понять:
О чём шепчут плакучие ивы,
Надо просто напеть
Отыскавшие сердце мотивы.

133

ЗДЕСЬ КОРОТКОЕ ЛЕТО

Снеговой этот день отходит печально.
Ах, какие стоят здесь порой холода!
И как горестно думать о
последне-прощальном:
«Я тебя не увижу уже никогда».

По весне вновь растает слежавшийся снег.
Я твой холмик украшу живыми цветами,
Из земли прорастёт благодатный побег,
Заколышется он, обнимаясь с ветрами.

Здесь короткое лето, улетаая, кричат журавли,
Шелковисто ковыль им кивает об этом,
На закатах прощаются серые дни
И берёзки в короткое лето одеты.

РАЗЛУКОЙ ПОСТУЧАЛ РАССВЕТ

Ещё недавно холод обдувал —
Окутывались инеем ресницы,
А вот сегодня запевают птицы,
И день значительно длиннее стал.

Парк чист и задышал теплом,
А по аллеям рыхлые тропинки,
Под липами блестят снежинки,
Но мысли вовсе не о том.

Разлукой постучал рассвет,
До моего достав балкона,
Как всё до боли здесь знакомо
И прожито так много лет.

В тот край берёзовой листвы,
Черёмух буйное цветенье
И в чудодейственное пенье —
Меня опять уносят сны.

г. Кемерово

Станислав ГУЛЕВСКИЙ

ЛУЧШИЙ ДРУГ

Я думаю, никто не найдёт ничего особенного в том, если я скажу, что совершенно не помню себя в детстве. Быть может, это особенность детской памяти, но я думаю, это потому, что запоминать было особенно нечего. В детский сад меня не отдавали, так как я был больным ребенком и за мной нужен был постоянный уход. Я помню, как утром мама меня будила в пять часов и отводила к бабушке, у которой я и сидел весь день. И непременно я устраивал истерику по поводу того, что мне нечего будет там делать, на что мама давала один и тот же ответ: «Жизнь — это не сладкий пирожок, а папина сигарета, которая истлевает до конца». Правда, я ничего не понимал из этой фразы, но меня успокаивало то, что со мной разговаривают как со взрослым. Ведь мама упоминала такую запрещённую вещь, как сигарета. У бабушки я целый день занимался тем, что скучал. Скучал я по-разному: лежал с игрушечным пистолетом под кроватью-«танком», дрался с плюшевым мишкой или давил муравьёв на подоконнике, которых было там в изобилии. Каждый день бабушка выводила меня на прогулку. И поскольку отходить от дома мне не разрешали, отведённый для прогулки час я проводил, роясь в сугробе. Это было очень интересное занятие для мальчика. Можно было представлять себя шахтёром или альпинистом, нашедшим пещеру в горах, и, следуя своим фантазиям, придумывать различные истории. Во дворе играли взрослые ребята, но они никогда не брали меня к себе, а если и брали, то только для того, чтобы посмеяться над моей детской наивностью. Потом, когда я вырос, они оказались не такими уж плохими людьми. И сейчас мы всегда здороваемся за руку, когда встречаемся. Один раз я так долго копался с пуговицами на шубе, что бабушка вышла на улицу вперёд меня. И поскольку шуба была большая, а мои руки — маленькими, то я просто до них не дотягивался.

Выгибаясь так и сая, я пытался ухватить пуговицу пальцами, но ничего не выходило. Бабушка просто решила, что вот именно сегодня и именно в этот момент я стал таким большим и взрослым, что ей стыдно за мной ухаживать. Она так и сказала: «Мне стыдно застегивать пуговицы такому большому парню». Может, я и был действительно уже большим, но, видимо, на длину моих рук это никак не распространялось. Я не стал больше мучиться и, подпоясавшись поясом, вышел в подъезд. Захлопнув дверь, я стал спускаться по лестнице. На второй площадке меня встретила девочка.

— Ты Максим? — спросила она.

— Да.

— Что ты копаешься так долго? Твоя бабушка тебя уже заждалась.

Она схватила меня за руку и потащила за собой. Так я познакомился со своим первым другом. И теперь, смотря на прошлое, я понимаю, почему у меня больше знакомых среди девушек, чем среди парней. Мы вышли во двор. Эта девочка сразу подвела меня к бабушке за руку, словно мама. За это я на нее обиделся, ведь она была моего возраста и так командовала мной. Но обида быстро прошла, так как мама всё время мне повторяла, что мужчина должен снисходительно относиться к женским слабостям. А поскольку я считал себя самым настоящим мужчиной, я следовал этому правилу.

— Познакомься, это Таня, — показала бабушка на девочку.

— Меня зовут Максим, — представился я.

— Я уже знаю, кто ты. Пойдём играть, — ответила она и, опять схватив мою руку, повела к горке.

Я был очень стеснительный, да к тому же практически не общался со сверстниками, а тут на меня за короткое время обратили столько внимания. Тем более это была девочка. Хотя, честно признаться, мне было всё равно, девочка или мальчик. В детстве я был рад любому, так как выбора у меня в друзьях не было вообще. Почему-то я оказался самым маленьким из ребят в окружающих меня дворах. Не знаю, по какой причине, но думаю, из-за того, что мама долго не могла найти моего папу.

Мы катались на горке, или, вернее сказать, каталась Таня, а я таскал ей санки. Поверьте уж мне, я никогда бы не стал этого делать. Но она производила на меня такое впечатление, что по какой-то причине я просто не мог отказать. И я послушно ловил её с горки и помогал за руку подниматься. Объяснение этого впечатления до боли простое. Она была первой из всех моих немногочисленных знакомых, которые просто относились ко мне. Хорошее отношение к людям — это то, чему я научился у неё, и то, что до сих пор ценю в людях. Этот день прошёл. Лучший день из моего детства.

Вечером, лёжа в кровати, я размышлял: вот теперь у меня есть друг. Друг, который надо мной не смеётся. Друг, который стал играть со мной, как с равным себе. Я долго думал, как это мы раньше не встречались? Почему я не видел её до этого? Ответа я так и не нашёл и твёрдо решил спросить на следующий день об этом у бабушки. Она точно всё знает.

Таня была дочерью недавно переехавшей в дом к бабушке семейной пары. Откуда они переехали, я точно не знаю. Но, как говорили соседки, которые постоянно собирались на лавочке, откуда-то из центра города. В центре были очень хорошие квартиры, большие и просторные. Как говорили старшие мальчишки, не меньше футбольного поля. И что каждому ребёнку была положена своя комната, которой у меня никогда не было. Но я-то знаю, что и у взрослых часто не бывает своих комнат, как это случилось с моими родителями. Мы жили в тесном общежитии на четырнадцати квадратных метрах. Вы спросите, откуда я знаю такие цифры? Всё просто. Мама так часто говорит папе о них, что запомнил даже я, а папа не мог. Иначе зачем ему это напоминать каждый день? Мне было интересно, почему из такого футбольного поля родители таки приехали в такое захолустье, как наш район. Потом я узнал, что родители Тани сильно пили и не платили за квартиру, за что какой-то хороший человек предложил им поменяться в бабушкин подъезд. Честно говоря, я был этому человеку очень благодарен. Когда папа Тани сильно перебирал, он начинал бить её маму, и моя бабушка забирала её к себе. Когда мне стало об этом известно, я стал приходить к бабушке ночевать. Мы проводили время, поедая бабушкины блины, играя и, самое главное, разговаривая. Вернее сказать, говорила в основном Таня. Она постоянно придумывала какие-то истории, и я слушал. Рассказы обязательно включали в себя героя под названием «джентльмен». Откуда она его взяла, я не знал, но точно смогу сказать, что на того «джентльмена» мне очень хотелось быть похожим! Но мне никак не удавалось, хотя я так сильно старался. Не соврётся тебе. Кого я обманываю. Стремиться — стремился, но ничего не вышло. Но за стремление человека к чему-либо стоит его уважать. Хотя бы за это!

Мы играли железными трамвайчиками. Они цеплялись вместе, что было главным для мальчишки моего возраста, но не имело ни малейшего значения для девочки. Воображая, я возил на нём только её. И так будет до конца жизни! Таня говорила: неужели я не джентльмен, если не катаю свою любимую мадам на трамвае. Не знаю, откуда такое бралось у неё. Она была на голову выше всех девушек, да и парней, которые встречались мне на пути до сих пор. Человек, видящий людей в таком возрасте насквозь, многого стоил!

Мы продолжали гулять вместе, теперь у меня не было проблем с застёгиванием пуговиц, так как их застёгивала Таня. Она специально заходила за мной. И мы были по-настоящему друзьями. Я так и не встретил до сих пор того, кто мог бы принимать меня таким, какой я есть. Наверно, иногда везёт людям — встречается один друг, один и на всю жизнь. Хотя и они иногда обманывают, но они всё же были когда-то друзьями. Пусть в определённый срок, но всё же были.

Как-то в один из дней, когда её отец в очередной раз напился, она осталась ночевать у бабушки. Мы лежали и разговаривали. Таня рассказывала, как её отец пьёт. Она говорила, как он бьёт маму, бьёт кулаками. Я рассказывал ей, что мой папа тоже много пил, но совсем не так. Мой папа никогда не называл меня сыном, но я-то знал, даже в самом раннем детстве, что он меня любит глубоко в душе. И именно этой ночью Таня сказала, что любит меня. Я не знал, что это значит. И мне, честно говоря, было всё равно.

— Я тебя люблю, — сказала она, а я лежал и молчал.

Я понимал, что такое любить родителей, но совершенно не знал, что такое любить девочку. Она говорила: мы поженимся, когда станем большими. Потом мы гуляли вместе, держась за руки. Таня говорила, что так должны делать любящие люди. И я ей верил. Мы так и делали. Опять мы катались с горки. Я переворачивал санки наоборот и выбивал лёд. Таня меня ругала, что я испортил горку. И в тот раз она придумала Тигру: говорила, что знает знакомого Тигру, и если я не буду слушаться, она его позовёт. Не знаю почему, но я сильно пугался.

Потом мне исполнилось шесть лет и я пошёл в школу. Мы стали встречаться реже, но всё равно я был её лучшим другом. Как-то я зашёл к ней домой. Её не оказалось. Родители сказали, что она пошла гулять. Я не поверил, что она может уйти куда-то без меня, и сильно обиделся на неё. Через день я зашёл снова, но опять не застал её дома. Обида буквально захлестнула меня с головой. И я решил больше не приходить, пока она сама не зайдёт. Я ждал неделю. Потом вторую, третью. Терпел. Я спросил бабушку, не видела ли она Таню. Я сильно соскучился по ней за это время. Мне нечего было делать. Школа и дом — вот и всё. Бабушка сказала, что Таня переехала жить к своей тётке. Я не поверил своим ушам. Она уехала, ничего не сказав мне. Не может быть! Бабушка ответила, что Таня сказала: «Я вернусь, когда стану взрослой, и мы опять будем вместе». И тогда я стал ждать, но она так и не приходила. Потом бабушка сказала, что ее родителей лишили родительских прав и Таню забрала к себе навсегда тётка из другого города. Так я потерял своего первого лучшего друга.

ИСКУССТВО

Марина ЧЕРТОГОВА,

искусствовед

ШАХТЁРАМ КУЗБАССА ПОСВЯЩАЕТСЯ

В этом году День шахтера в Кузбассе отмечался особенно широко, как никогда прежде. В честь праздника в Кемеровском областном музее изобразительных искусств открылась выставка, названная «Шахтерам Кузбасса посвящается».

Это уже вторая тематическая выставка, посвященная шахтерской теме – после областной «Уголь Кузбасса», состоявшейся в 1982 году в картинной галерее (так назывался тогда наш музей). На выставке было показано около двухсот произведений, созданных специально для нее. С этой целью местные художники выезжали на шахты и угольные разрезы, где искали и находили своих героев, свои сюжеты.

Для Кузбасса – края кузнецких углей – тема шахтерского труда уже традиционна. На протяжении XX столетия она привлекала внимание многих художников, особенно в советский период, когда трудовая тематика была приоритетной в искусстве. В годы первых пятилеток сюда приезжали столичные мастера, собиравшие материал для будущих картин, которые писали для всесоюзных тематических выставок, необычайно популярных тогда, таких, как «Индустрия социализма». Столичные мастера находились здесь и во время войны, в частности, ленинградский график Михаил Скуляри, эвакуированный в г. Анжеро-Судженск, запечатлевший шахты и рабочие поселки. В 1970–1980-е годы, когда уже привычной стала практика творческих поездок по стране, на территории области работали целые группы художников из разных городов и союзных республик бывшего СССР: «Индустрия Сибири» (1975), «По Кузбассу» (1980) и другие. К шахтерской теме обращались и местные художники, преимущественно старшего поколения, выступившего в послевоенные годы, некоторые из них посвятили ей творчество.

136



Р. Г. Берг. Портрет шахтёра. 1967.

Неудивительно, что в собрании нашего музея сложилась коллекция произведений, посвященных шахтерской теме. Она собиралась постепенно, на протяжении трех с половиной десятилетий, начиная с 1969 года, когда открылся музей. Сегодня коллекцию составляют более шестидесяти произведений живописи, графики, скульптуры, созданные за период с 1930-х по 1990-е годы. Причем более насыщены представлены последние десятилетия, семидесятые и восьмидесятые, поскольку уже был музей и велось комплектование фондов. До этого работы уходили в собрания других музеев или бесследно исчезали, теряясь во времени [во вклейке]. Согласно статистике, около тридцати произведений приобретены музеем, шестнадцать передано областным управлением культуры, закупившим их у местных художников в 1970–1980-е годы, девять подарено авторами, остальные поступили от Министерства культуры РСФСР, Кемеровской организации Союза художников РСФСР и Кемеровского городского исполнительного комитета.

Нынешняя выставка почти полностью демонстрирует музейную коллекцию, показанную впервые и ставшую основой экспозиции. Ее дополнили работы кемеровских художников из мастерских и собраний наследников, созданные давно и относи-

тельно недавно, в 1990–2000-е годы. Особенностью нынешней выставки является участие в ней не только произведений изобразительного искусства, но и фотографии – союз двух искусств, представит шахтерскую тему более широко и многогранно: через документ и художественный образ. Всего около полутора сот экспонатов.

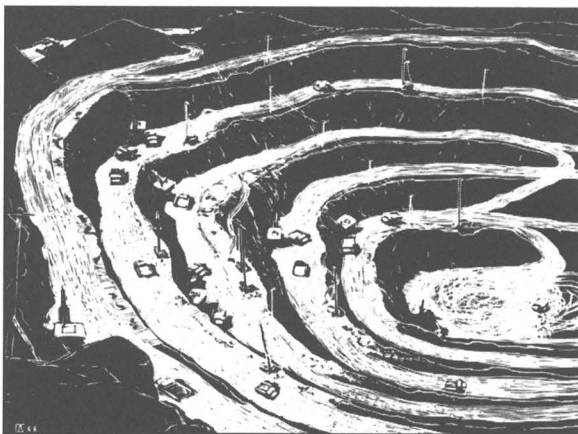
Почти все работы посвящены Кузбассу, за исключением немногих, в частности, «Портрета шахтера» М. П. Труфанова, написанного в Донбассе. В основном это пейзажи и портреты, гораздо реже – натюрморты, а также эскизы к историческим картинам – самого жанра не представлено, поскольку он не получил широкого развития. И все-таки показанные в ретроспективе выставочные работы отражают историю угольного края, донося дыхание ушедших эпох. Это придает им особую ценность, не только художественную, но уникального документа, непреходящего в своем значении.

Прошлое и настоящее Кузбасса со всей очевидностью предстает в работах, разнесенных во времени. Холодным и мрачным видится угольный край в работах 1930–1940-х годов. Это унылые и гнетущие пейзажи, почти безлюдные, с одинокими шахтами, словно затерянными на бескрайних просторах, еще необжитых, по-сиротски пустынных: «Шахта «Центральная» (1935) В. В. Мешкова, «Террикон» (1941) М. Н. Скуляри. И наоборот, индустриальной мощью поражает этот же край в работах 1960–1980-х годов. Это широкие панорамы с гигантскими терриконами и опорами ЛЭП, ровными протяженными дорогами и большегрузной техникой: «Дорога на шахту» (1961) Р. Г. Берга, «Карьер» (1966) А. С. Гордеева, «У нас в Кузбассе» (1984) Ю. Г. Лобузна. Это и портреты шахтеров, передающие их мужество и суровую простоту как качества, наиболее присущие людям рабочих профессий: «Портрет Героя Социалистического Труда Н. М. Путры» (1971) Н. В. Верткова.

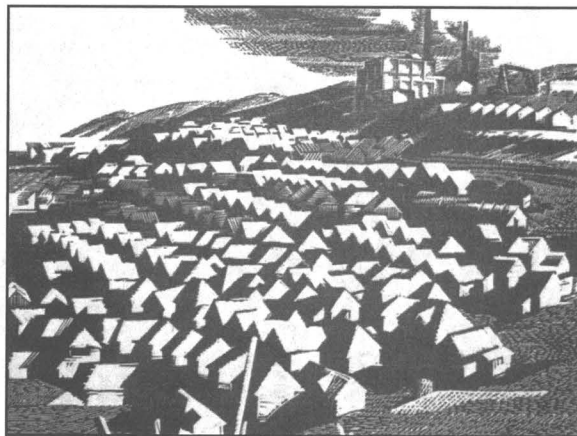
Ретроспективный показ демонстрирует также развитие темы в искусстве, отражает его направления и тенденции. Среди последних – романтическое восприятие Кузбасса, поражавшего величием во все времена, поэтому образы чаще монументальны, исполнены стремительных ритмов и ярких контрастов, они лишены обыденности. Осмысление темы неразрывно связано с проблемой взаимоотношения природы и человека: поэтичны картины, отражающие гармонию их существования; гражданским пафосом пронизаны мотивы преобразовательной деятельности человека, покорившего природу, и наоборот, драматич-



А. М. Ананьин. Угольный карьер. 1974.



А. С. Гордеев. Карьер. 1966.



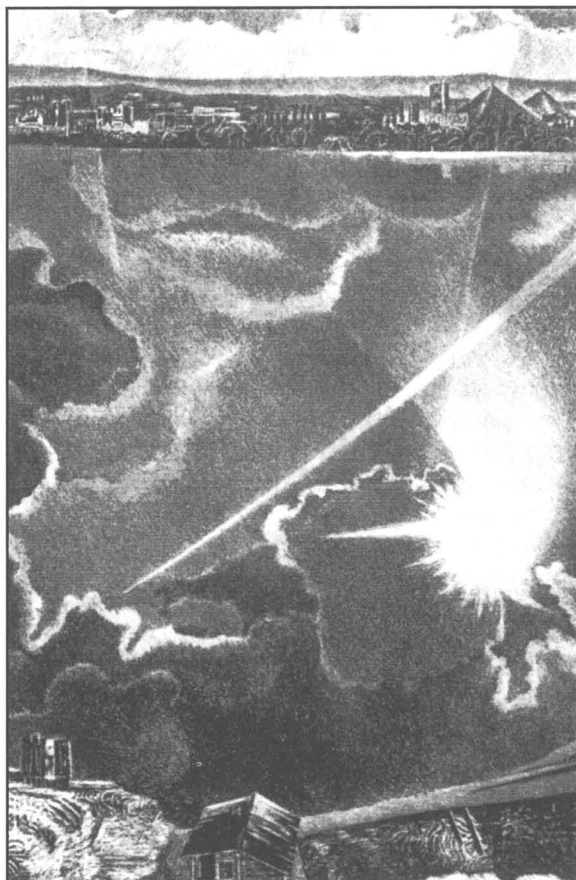
А. С. Ротовский. Шахтерский поселок. 1996.

ны образы ее непокоренной, подавляющей человека, ничтожно малого, бессильного перед ней. Разнообразие стилевых манер – академической и пленэрной, «сурового стиля» и открытой экспрессии – не выходит за рамки реалистических традиций, поскольку в экспозиции не представлено работ, созданных в эстетике нового времени.

К сожалению, нельзя не заметить, что большинство экспонируемых работ принадлежит советской эпохе, лишь единицы созданы в 1990-е и 2000-е годы. Шахтерская тема словно исчерпала себя, осталась в искусстве прошлого века. И это вполне объяснимо. Если прежде тема труда, в том числе и шахтерского, находилась в сфере государственного внимания – отсюда заказы, выставки, целевые закупки, то теперь этого ничего нет – ни перспектив, ни стимулов. Более того, воспринимаемая конъюнктурной, она уже не в чести сегодня, хотя с этим нельзя согласиться, поскольку тема шахтерского труда достойна и значительна, как и сам труд. Скорее, здесь проблема художника – его таланта, нравственного выбора, художнической позиции, иначе как объяснить, что среди множества серых и однообразных работ, преобладавших в советском искусстве, встречались и другие, по-настоящему значимые, вошедшие в золотой фонд отечественной культуры.

История угольного края продолжается, в постсоветские годы она развивалась стремительно и бурно, в ней много событий – ярких и памятных, порой неоднозначных, что неизбежно в переходные времена; отношение к ней заметно усложнилось, появились новые аспекты – экологические или социального неблагополучия. Но в искусстве – увы –

138



В. Е. Сотников. Над Кузбассом. 1975.

это не нашло отражения, следовательно, в художественной традиции, непрерывной на протяжении десятилетий, возникла пауза, которая затянулась.



Р. Г. Берг. Дорога на шахту. 1961.

БИБЛИОТЕЧЕСТВО

МЫ СТОИМ В ЦЕНТРЕ ЖИЗНИ

Александр Александрович БЛОК
(1880–1921)

Выдающийся русский поэт



Вначале была музыка. Музыка есть сущность мира. Мир растет в упругих ритмах. Рост задерживается, чтобы потом «хлынуть». Таков закон всякой органической жизни на земле – и жизни человека, и человечества. Волевые напоры. Рост мира есть культура. Культура есть музыкальный ритм.

Музыка потому самое совершенное из искусств, что она наиболее выражает и отражает замысел Зодчего.

Что такое поэт? – Человек, который пишет стихами? – Нет, конечно. Поэт – это носитель ритма.

Форма искусства есть образующий дух, творческий порядок. Содержание – мир: явления душевные и телесные (...) **хорошим художником** я признаю лишь того, кто из данного хаоса (а не о нем и не на нем) (данное: психология – бесконечна, душа – безумна, воздух – черный) творит космос.

Сегодня был в банке – день ясный, но душу портишь одним прикосновением к деньгам.

Что же, цивилизация – обогащение мира? Нет, это перегружение мира, загромождение его (Вавилонская башня). Ибо все множественно, все разде-

лено, все не спаяно: ибо не стало материи, потребной для спайки. Музыка была тем цементом, который создавал культуру гуманизма; когда цемента не стало, гуманистическая культура превратилась в гуманную цивилизацию.

Чувство неблагополучия (музыкальное чувство, **этическое** – на нашем языке) – где оно у вас?

Как буржуи, дрожите над своим карманом.

...но ведь за прошлое отвечаем мы? Мы – звенья одной цепи. Или на нас не лежат грехи отцов? – Если этого не чувствуют все, то это должны чувствовать «лучшие».

Одно только делает человека человеком: знание о социальном неравенстве.

Мы (весь мир) страшно изолгались. Нужно нечто совершенно новое.

Разрушая, мы все те же еще рабы старого мира: нарушение традиций – та же традиция. Над нами – большее проклятье: мы не можем не спать, мы не можем не есть. Одни будут строить, другие – разрушать, ибо «всему свое время под солнцем», но все будут рабами, пока не явится третье, равно не похожее на строительство и на разрушение.

Весьма вероятно, что наше время – великое и что именно мы стоим в центре жизни, т. е. в том месте, где сходятся все духовные нити, куда доходят все звуки.

Наше время – время, когда то, о чем мечтают как об идеале, надо воплощать сейчас. Школа стремительности.

Революция – это: я – не один, а мы.

Одно из благодений революции заключается в том, что она пробуждает к жизни всего человека; если он идет к ней навстречу, она напрягает все его

силы и открывает те пропасти сознания, которые были крепко закрыты.

Может быть, Россия и есть торжество «внутреннего человека», постоянный укор человеку «внешнему».

Может быть, весь мир (европейский) озлится, испугается и еще прочнее осядет в своей лжи. **Это не будет надолго.** Трудно бороться против «русской заразы», потому что – **Россия заразила уже здоровьем человечество.** Все догматы расшатаны, им не вековать. Движение заразительно.

Все будет хорошо. Россия будет великой. Но как долго ждать и как трудно дожидаться.

Только – полет и порыв: лети и рвись, иначе – на всех путях гибель.

Ложь, что мысли повторяются. Каждая мысль нова, потому что ее окружает и оформливает новое.

Мистицизм не есть «теория»; это – **непрестанное ощущение** и констатирование в самом себе и во всем окружающем таинственных, живых, ненарушимых связей друг с другом и через это – с Неведомым. Это – религиозное сознание, а не бессознательное затуманивание головы.

Когда родное сталкивается в веках, всегда происходит мистическое. (...)

Есть миры иные.

Другом называется человек, который говорит не о том, что есть или было, но о том, что можно и должно быть с другим человеком. **Врагом** – тот, который не хочет говорить о будущем, но подчеркивает особенно, даже нарочно, то, что есть, а главное, что было... дурного (или – что ему кажется дурным).

«Быть вне политики» (Левинсон)? – С какой же это стати? Это значит... замыкаться в эстетизм и индивидуализм, предоставлять государству распоряжаться с людьми, как ему угодно, своими установленными средствами. (...)

Нет, мы не можем быть «вне политики», потому

что мы предадим этим музыку, которую можно слышать только тогда, когда мы перестанем прятаться от чего бы то ни было.

Не откроем сердца – погибнем (знаю это, как дважды два четыре).

Любовь творит чудеса, музыка завораживает зверей (...) Лучше уж молчать сейчас, если нет музыки, не слышат музыки. Ибо все, кроме музыки, все, что без музыки, всякая «сухая материя» – сейчас только разбудит и озлит зверя. До человека без музыки сейчас достучаться нельзя. (...)

Не знаю, что страшнее: красный петух или самосуды в одном стане или эта гнетущая немзыкальность – в другом?

Ничего, кроме музыки, не спасет.

140

Не знаю, надолго ли, но русской церкви больше нет. (...) но храмы не заперты и не заключены; напротив, они набиты торгующими и предающими Христа, как давно уже не были набиты. Церковь умерла, а храм стал продолжением улицы. (...) напротив, через улицу, кофейня; двери туда тоже открыты... Спекулянты в церкви предают большевиков анафеме, а спекулянты в кофейне продают аннулированные займы; те и другие перемигиваются через улицу; они понимают друг друга.

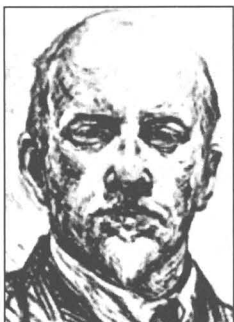
В кофейню я еще зайду, а в церковь уже не пойду. Церковные мазурики для меня опаснее кофейных.

Но я – русский, а русские всегда ведь думают о церкви...

Боже, в какой мы страшной зависимости от Твоего хлеба! Мы не боролись с Тобой, наше «древнее благочестие» надолго заслонило от нас промышленный путь: Твой Промысл был для нас больше нашего промысла. Но шли годы, и мы развратились иначе, мы остались безвольными, и вот теперь мы забыли и Твой Промысл, а своего промысла у нас по-прежнему нет, и мы зависим от колосьев, которые Ты можешь смять грозой, истоптать засухой и сжечь. Грозный Лик Твой, такой, как на древней иконе, теперь неумолим перед нами!

Главное – не терять крыльев (присутствия духа).

Иван Александрович ИЛЬИН (1883–1954)



Выдающийся русский правовед, государственный и политический мыслитель. В 1922 г. в числе других представителей науки и культуры выслан из Советской России за ее рубежи. Главные темы его активной творческой деятельности там: «О грядущей России», «Наши задачи».

Осенью этого года прах И. А. Ильина возвращен на Родину.

России нужен **новый русский человек**, с обновленным – религиозным, познавательным, православленным, художественным, гражданским, собственническим и хозяйственным – укладом.

Ни на классовой, ни на расовой, ни на партийной ненависти Россию нам не возродить и не построить.

Отвержение еще ничего не определяет... Человек творит, утверждая, а не отвергая.

Прежде всего мы не верим и не поверим ни в какую «внешнюю реформу», которая могла бы спасти нас сама по себе, независимо от внутреннего душевно-духовного изменения человека. Нет такой «избирательной системы», нет такого государственно-го устройства, нет такого церковного строя, нет такого школьного порядка, какие обещали бы человечеству и, в частности, в особенности России, обновление и возрождение, независимо от того, что будет созерцать его воображение и каков будет внутренний уклад его мысли и настроений, и каковы будут дела его жизни... Невозможно, чтобы дрянные люди со злою волею обновили и усовершенствовали общественную жизнь. Жадный пустит в ход все средства; продажный все продаст; человек, в коем Бога нет, превратит всю жизнь в тайное и явное преступ-

ление. Внешнее само по себе не обеспечивает человеку ни духовности, ни духовного спасения; никакой государственный строй не сообщит человеку ни любви, ни доброты, ни чувства ответственности, ни честности, ни благородства. Истинное обновление идет не от внешнего внутрь, не от формы к содержанию, не от видимости к существу, а обратно. И странно, даже страшно доказывать это через 2000 лет после Рождества Христова; странно потому, что люди, по-видимому, прошли мимо Христианства; страшно потому, что мы не видим, чем и как восстанавить и утвердить непринятое откровение.

Все великое и священное идет изнутри – от сердечного созерцания; из глубины – от постигающей и приемлющей любви; из таинственной духовности инстинкта – от воспламенившейся воли; от узревшего разума; от очистившегося воображения. Если внутри смутно, нечисто, злобно, жадно, скверно, то не поможет никакая внешняя форма, никакой запрет, никакая угроза, никакое «избирательное право», особенно всеобщее, равное и прямое. (...) Ибо свобода совсем не сводится к голосованию всех по всем вопросам (...)

Итак, мы не можем верить, что возрождение и обновление России придет от водворения в ней какой-нибудь другой, некоммунистической, может быть, прямо антикоммунистической формы правления как таковой...

Русскому народу необходимо духовное возрождение и обновление.

...Словом, дело совсем не сводится к внешнему порядку, строю и «успеху» жизни, но к **внутреннему укладу, строю и характеру человека**. (...) Чем больше порочность будет гнездиться за ширмами парламента и всех учреждений, тем ближе государство будет к смуте и разрухе, тем непосильнее будут ему исторические испытания. И если этой продажности и порочности будет много, если русские люди будут мерить в жизни все личной жадностью, а не предметным достоинством, то как возродить Россию? Что противопоставим напору внешних сил, стремящихся насадить коррупцию и разложить наше отечество? Как справимся с соблазнами озлобления, мести, фактического захвата (грабежа), лжи,

доноса и, главное, продажности? А если не справимся с этими тяготениями и соблазнами, то не возродим Россию, а предадим ее мировой закулисе и разбазарим ее на мировом рынке...

Россия рухнула на наших глазах не потому, что русский человек был **силен во зле** и злобе, напоподобие немцев, а потому, что он был **слаб в добре** (...)

Это есть величайшее заблуждение, будто государственный интерес состоит из суммы частных интересов и будто на состязании и на компромиссе центробежных сил можно построить здоровое государство. Это есть слепой предрассудок, будто миллион ложных мнений можно «спрессовать» в одну «истину» или будто «честно» сосчитанные «свободные» голоса способны указать истинное благо народа и государства: ибо надо не только «честно» считать, но считать-то надо именно честные и разумные голоса, а не партийные бюллетени.

Итак, жизнь государства складывается не арифметически, а органически.

...Гражданин неотрывен от своего духа и своего правосознания.

(...) настоящий гражданин мыслит об общем. Государственное же дело начинается именно там, где живет общее, то есть такое, что всем важно и всех объединяет; что или сразу у всех будет, или чего сразу у всех не будет; и если – не будет, то все развалится и упразднится, и все рассыпется, как песок.

Нужна новая идея – **религиозная** по истоку и **национальная** по духовному смыслу. Только такая идея может возродить и воссоздать грядущую Россию.

Итак, русская идея есть идея сердца. Она утверждает, что главное в жизни есть **любовь** и что именно любовью строится совместная жизнь на земле, ибо из любви рождается вера и вся культура духа. Эту идею русско-славянская душа, издревле и органически предрасположенная к **чувству, сочувствию и доброте, восприняла исторически** от христианства, она отозвалась **сердцем** на главную заповедь Божию и уверовала, что «Бог есть Любовь».

Итак, **любовь** есть основная духовно-творческая сила русской души. Без любви русский человек есть

неудавшееся существо. Цивилизующие суррогаты любви (долг, дисциплина, формальная лояльность, гипноз внешней законопослушности) – сами по себе ему мало свойственны. Без любви – он или лениво прозябает, или склоняется ко вседозволенности. Ни во что не веруя, русский человек становится пустым существом, без идеала и без цели. Ум и воля русского человека приводятся в духовно-творческое движение именно любовью и верою.

Каждый народ творит то, что он может, исходя из того, что ему дано. Но плох тот народ, который не видит того, что дано **именно ему**, и потому **ходит побираться под чужими окнами**. Россия имеет **свои** духовно-исторические дары и призвание творить свою особую духовную культуру – культуру сердца, созерцания, свободы и предметности (...) Запад нам не указ и не тюрьма (...) **Мы Западу не ученики и не учителя. Мы ученики Бога и учителя себе самим.**

Подготовила **Екатерина ДУБРО**
г. Юрга

142

Валерий ПЛЮЩЕВ

КНИГОЛЮБ МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ

Книга, какой бы давности она ни была, если ничего мне не дает (по содержанию), для меня малоценна.

И. М. Кузнецов

Недавно побывал в Красноярске – выезжал с оказией на выходные. Привез в Кемерово несколько антикварных изданий, среди которых самые интересные и любопытные украшены незамысловатой чернильной печаткой в виде эллипса со словами: «Из Книг Врача И. М. Кузнецова». Листаю, разглядываю подчеркивания красным карандашом (его метод работы с книгой), вчитываюсь, пытаюсь угадать причину, по которой их прошлый владелец оставил пометы на страницах.

Есть библиофилы, успехи которых на ниве собирательства объясняются благородным, либо интеллигентным происхождением, наличием капиталов, либо того и другого в совокупности. Ничего из вышесказанного в помине не было у Маркелыча, как называли его друзья и близкие. Были огромная жажда знаний и любовь с раннего детства к книге.

Его авторитет в сибирских библиофильских кругах, да и Советского Союза, заработан его собственными усилиями и успехами на ниве собирательства. После купца Юдина – знаменитого дореволюционного красноярского книжника, продавшего в конце концов свою богатейшую библиотеку в собрание конгресса Соединенных Штатов Америки – Кузнецов, в чем я уверен, самый крупный и известный книголюб в Сибири.

...8 апреля 1905 года на хуторе Столяри, что в Самарской губернии, в семье крестьян-староверов родился пятый ребенок, названный Ваней. В самом раннем детстве вместе с семьей он переезжает в сибирский городок Минусинск, который и стал его второй родиной. Мальчик уже с детства «болеет» книгами, много читает, стремится знать всё и обо всём.

Уже при советской власти восемнадцатилетним пареньком он направляет стопы в Томск, на то время город с авторитетом главного сибирского культурного и научного центра, где поступает сначала на рабфак, затем учится на медицинском факультете университета.

А любовь к книгам не отпускает ни на день.

Я не был его знакомым, вряд ли он знал о моем существовании, хотя с некоторыми столпами красноярского книголюбия мне повезло познакомиться еще в студенчестве. Да и отчего бы это молоденький студентик Сибирского технологического института, поступивший на престижную химическую специальность во времена химизации народного хозяйства, вдруг чем-то мог заинтересовать опытного зубра библиофилии?

Но наши жизненные пути пересекались не единожды: импозантная внешность Кузнецова запомнилась после первой же случайной встречи. Встречались много раз; в книжных магазинах, просто на улице, на всевозможных книжных посиделках – такого крепенького мужичка с окладистой седой бородой дядьки Черномора не отметить было просто невозможно.

Он был богом. Не тем Богом, что на небесах, а человеческим его образоподобием с белой и пушистой лопатообразной бородой (я застал «бородатый» период в богатой жизни легендарного Маркелыча), словно сошедшим с известной фрески Микельанджело и уверенно печатавшим шаг на этом свете. А его взгляд!? Так и гвоздит цыганистой пронзительностью – не единожды довелось почувствовать давление его глаз; начинающий книжник-птеник, торящий свою тропинку в книжном мире, и орел библиофилии, многомудрый, знающий вкус знаний и всепоглощающую страсть к книгам – что могли бы мы сказать друг другу, о чем рассуждать, случись обменяться словами?..

Остро жалею, что так и не насмелился к нему обратиться.

Однажды в букинистическом магазине узрел узнаваемую фигуру – вид со спины. Книжный Мафусаил с достоинством вёл неторопкую, но явно увлекательную беседу с букинистом средних лет. Что за тарабарский язык они использовали? Ничегошеньки-то я не понял тогда, как ни прислушивался – неизвестные имена, загадочная терминология, всё, вроде, по-русски, но зашифровано от случайного постороннего уха.

Ныне бы послушать, наслаждаясь от вскленья наполняющих мозговое вещество благородных знаний, набранных по капле за десятилетия книжности, – музыка! Но, оказывается, в памяти тоже невозможно войти в одну и ту же реку дважды, как очень давно и верно сказал обожаемый Кузнецовым античный мудрец, не нарушив течения Леты – всё внове, и лишь слабый отблеск виденного тревожит воображение.

Переключка времен...

Мама рассказывала, как в тяжкие и голодные годы войны к ним на станцию Сон приезжал со стихами настоящий поэт. С каким восторгом слушали они известного сибирского стихотворца Казимира Лисовского, соскучившись по мирному времени, нормальной жизни, поэзии.

...Натыкаюсь в дневнике Кузнецова, словно на иголку в стог сена – записи о поездке его друга Лисовского на заработки и прокорма ради на мою родную станцию в военную годину. А у нас там и позже-то ногу некуда было поставить, обязательно в ссыльного попадал – массовые лесозаготовки требовали громадного количества человеческого материала, а тогда даже поэта Давида Кугультинова репрессированные родственники были разысканы им именно здесь. Можно представить, сколько «врагов народа» вмещало это место поселения, пропахшее лиственничным свежеспиленным духом.

Выходит, Кузнецов знал о моей малой родине, записал об этом в своем знаменитом дневнике, наверное, неоднократно проезжал мимо по железной дороге.

Его обширная библиотека – это торжество и песня настоящего собирателя. Уже при жизни собрание просилось в какое-либо государственное, крупное хранилище. Вроде были какие-то решения властей и родственников, что так, в конце концов, и произойдет по-хорошему. Часть книг попала (была пристроена Кузнецовым) в библиотеку университета, что-то дарилось в разные музеи, еще одна часть оказалась в знаменитом Красноярском краеведческом музее, возведенном при царе-батюшке в виде древнеегипетского храма на берегу Енисея. С этой последней толикой кузнецовского собрания, если будет судьбе угодно, надеюсь когда-нибудь познакомиться поближе, хотя бы по корешкам томов. Были местные публикации, о том, что основная масса книг осталась у родственников, превратившись в народную библиотеку. Я интересовался у многих книголюбов – что случилось с этой частью книжного собрания? – ответы неутешительные.

С немалой долей библиотеки случилось по-плохому: книги гуляют до сих пор по букинистам

Красноярска и рукам собирателей. Допускаю, немало томиков с его аккуратной печаткой-экслибрисом вполне могло остаться у его друзей и многих числом знакомцев: Кузнецов был общительным, не жадничал для проверенных книголюбых и книголюбов своей библиотекой, давал на прочтение. Наверное, не все вернулось на родные книжные полки после ухода из жизни владельца. Что-то он еще и дарил, о чем помнят многие. Все эти книги – числом немалым – вполне могли начать жить самостоятельно, появляясь ныне в продаже. Друзья-библиофилы рассказали (за что купил, за то и продаю), что многое начало уплывать в перестроечные годы из собрания и рук родственников, которых я ничуть не осуждаю, если это было так. Времена, которые мы все пережили на закате века, были тяжелыми, для многих просто голодными. Если книги помогли продержаться, выжить в физическом смысле, честь и хвала им.

Более того, я вообще считаю, что личные библиотеки, не представляющие государственной культурной ценности, должны распыляться. А иначе, откуда бы радость новых библиофильских поколений от находок и обладания редкостями? Но у Кузнецова-то собрание было редчайшее, штучное, изысканное...

Однако что случилось, то случилось. Потому всякий раз с огромным удовольствием держу в руках очередную разысканную книжку с надписями, штампами Маркельча: не было случая, чтобы его владельческая печатка не указывала на неординарность книги. Я как-то в столице видел в продаже (жутко дорого) тома с экслибрисами легендарного дореволюционного собирателя Ефремова. Тот приплетал в книги статьи, какие-нибудь меню, театральные билеты и прочие вещи, связанные с данными изданиями, увеличивающими их ценность многократно. Кузнецов подобного не делал, хотя вырезки журнальные и газетные переплетал отдельно, но, повторюсь, любая книга с его печаткой – своеобразным знаком книжного качества – заслуживает самого пристального внимания книголюбца.

За несколько последних лет в моей библиотеке собралась целая полка книг, кои в свое время держал в руках, многие из них читал и перечитывал, судя по подчеркиваниям и пометкам, Иван Маркелович.

Расскажу о нескольких из них, связав их с дневником великого книголюбца. Между прочим, его дневниковые листы, часть из которых до сих пор гуляет среди сибирских собирателей, направили меня на писание своих книголюбских записок. Попишешь немного, и то работа забирает всё, то на чтение мало остается, да и написание книжных рецензий, отнимающее немало свободного от основной службы времени, требует часов и часов. Вот так, через пень-колоду и записывается что-то, незнамо, нужное ли кому-либо после тебя. Кузнецовские же личные записи, писавшиеся исключительно для «себя», оказались чрезвычайно интересными всем. Кстати, собиратель много выступал с устными рассказами о книжных разысканиях, о любимых поэтах. Но ничего не публиковал. А ведь в юности, как и Александр Солженицын, сознательно готовил себя к писательству. Не вышло. Думаю, есть за этим какая-то личная тайна, может быть, даже творческая трагедия, но потомкам остался только личный дневник да отмеченные книги. И это вообще-то немало...

Открываю объемистый том, некогда принадлежавший Кузнецову. Я отчего-то уверен, что эта книга, в числе многих, сначала уплыла от Ивана Маркеловича, потом вернулась, к его великой радости. Когда его посадили в послевоенные годы (отправили в места лишения свободы по навету), жена «оприходовала» львиную долю его собрания, начав активную распродажу. А он и сам, как опять-таки устно рассказывают собиратели, писал из застенка, чтобы книг не жалели, если они помогают пропитаться. Остатки этой первой его библиотеки уехали из Сибири. Лишь спустя много лет Кузнецов, живя уже другой семьей, прибыл гостем к взрослому сыну, у которого встретился с любимыми некогда томами. Встреча, словно с детьми, давно не виденными! Как не хотелось с ними расставаться вновь, теперь уже навсегда...

Сын понял отца, сделал королевский подарок, возвратив солидное число старых «умных» книг. Маркелыч был рад и счастлив как настоящий книголюб, отправил несколько посылок. Мой конволют, я думаю, бесспорно, принадлежит к этим пересланным самому себе книжным драгоценностям (в моем

случае это три книги, переплетенные в один книжный блок): два тома «Очерков по истории новейшей русской литературы» П. Когана, изданные Госиздатом в 1928 году, и дореволюционный третий том того же автора 1910 года, с тем же заголовком, но с подзаголовком «Современники». В последнем, в отличие от советских изданий, представлены портреты крупнейших писателей России. На титульном листе первого тома собственноручно чернилами выведены ФИО владельца, дата приобретения – 19 октября 1928 года, г. Томск. Именно с ноября этого года началось писание библиофильского дневника Маркелыча.

145

Кузнецов хорошо поработал на страницах «Очерков...» красным карандашом – его излюбленный метод. Наглядно видно, что интересовало студента-медика в конце двадцатых годов: это и философы с их разнообразными школами, и корифеи литературы XIX века, и малоизвестные фигуры их литературного окружения. Там, где пишется о Тютчеве, любимом поэте Кузнецова, подчеркнута синим следующая фраза: «Чувство одиночества – одно из преобладающих настроений в поэзии Тютчева».

Иван Маркелович несколько раз возвращался в дневнике к работам Когана, особенно резко оценивал в записи 1934 года исключение этой и других известных в литературе фамилий из истории литературной науки. И ведь не боялся, сохранял все годы жизни крамольные записи, умудрился не утратить, отбив несколько лет в местах не столь отдаленных. А сколько архивов, ценных дневников погибло в те годы, уничтоженных владельцами?! Объяснение очень простое – страх за себя и близких. Как же Маркелыч-то не побоялся?..

Вот другая кузнецовская книга – толстенный том статей «Литературные воспоминания и смутное время» (это конец XIX века) пера известнейшего народовольца-теоретика Н. К. Михайловского, неприемлемого при советской власти. С автором прижизненно очень остро полемизировал Ленин, спорили многие марксисты. И здесь множество красных пометок и подчеркиваний, заставляющих вслед за бывшим владельцем внимательней вчитываться, соглашаться, либо спорить не только с автором, но и с Кузнецовым.

Наконец, еще один томский том, о чем свидетельствует соответствующая владельческая надпись – «Орлеанская девственница» Вольтера. Как восхищался счастливый обладатель в дневнике этим воистину царственным изданием. Слоновая бумага! Полукожаный переплет с золотым тиснением! Масса замечательных иллюстраций под папиросной бумагой! И всё это чудо полиграфии увидело свет в 1924 году в издательстве «Всемирная литература». Страну после братоубийственной войны покачивало от разрухи и голода, но уже выпускались книги такого уровня исполнения!

Вообще-то каждая кузнецовская книга достойна восхищения, складывается впечатление, что у него никогда не случалось неудачных приобретений, потому, наверное, и воспринимаются его печатка и надписи, как эталоны высшего книжного качества.

... Самое интересное, что некоторые чудачки, уж не знаю по каким соображениям, пытаются вывести его владельческий штамп на продаваемых букинистам книгах, некогда принадлежавших Маркелычу. В моем собрании наличествует пара таких томиков. Даже после «химии» и ластика его клеймо легко узнается. Но почему не понимают – кузнецовское тавро только повышает ценность книги. А может, это некогда краденое сегодня выходит на свет?..

Неоднократно в самых разных случаях Кузнецов упоминает в своих записях Кузбасс. То у него друзья-писатели выехали в наш регион, то тот же поэт Казимир Лисовский, то знакомые рассказали ему о

непростой ситуации с продуктами в Кемеровской области в 60-е годы – всё это он считает необходимым зафиксировать письменно, до всего ему есть дело. Его интересовала вся Сибирь и страна, конечно, тоже. Истинный гражданин и патриот, он радовался и гордился общими успехами и горевал по поводу нестроений, как говаривали в старину.

Иван Маркелович записал в дневнике: «Чтение – высшая для меня радость в этой жизни. Только один на один с книгой сохраняешь свою индивидуальность, свое человеческое лицо».

А вот обмолвился на тех же страницах в другом месте: «Купил много приличных книг. Читаю много. Сплю мало». Эта запись сделана, когда ее автору исполнилось почти восемьдесят!.. Для многих, если ещё доживают, – это уже закат жизни. Но не для Кузнецова, светлая голова которого плодотворно работала до самой кончины после тяжелой операции.

Патриарх распорядился положить ему в гроб поэтическую любовь всей его жизни – стихи Федора Тютчева. Родственники исполнили завещанное.

Не нами сказано, что от по-настоящему большого человека свет, как от далекой звезды, идет долго. Его уже нет, а свет продолжает приходить и радовать. Именно таким был Иван Маркелович Кузнецов, Человек с большой буквы, книголюб милостью Божьей.

г. Кемерово



ЗАПОВЕДНАЯ СИБИРЬ

Василий ПОПОК

ТАЁЖНАЯ ОТШЕЛЬНИЦА

Про Агафью Лыкову известно всему миру. Про отшельницу с Ерината (а можно сказать и с Абакана – эти две речки сливаются в одну прямо под окном Агафьиной избы и они что одна, что другая – небольшие, чистенькие и неширокие, не шире кемеровской Искитимки, одно отличие – чистые) рассказано столько, что в беремя не уместить. И много наврано. И про возраст. И про то, как живёт. Про привычки. И что, к примеру, снабжает кузбасского губернатора Амана Тулеева мёдом.

Насчёт мёда – самое лёгкое. Помнится, поселившийся рядом с Агафьей бывший работник геологоразведки и охотник Ерофей Седов держал пару ульев – так большая его часть уходила на самопрокорм пчёлам и чуток себе на лакомство.

Или вот ещё легенда, что Агафья на самом деле вовсе не Агафья, а царевна Анастасия – дочь расстрелянного чекистами царя-батюшки Николая Второго. А самоё вроде как не расстреляли с папенькой и маменькой, сама чудесным образом спаслась. И на Еринат, значит, сбежала.

Тоже просто: Анастасия, видел в кинохронике, была беленькая и чистенькая, в маманю – немецкую принцессу. Агафья ж и на русскую-то не сильно смахивает: носатая, глаза тёмные и ручки никак не аристократические, рабочие ручки. К тому ж коли б была Агафья царевной Анастасией, то ей не меньше чем сто лет от роду. А она после Отечественной войны рожденная.

А вот ещё говорили: мол, когда Лыковых обнаружили, то они ничего не знали, что в мире произошло: ни про революцию, ни про Сталина. Не знали, что такое радио, телефон и телеграф. И, дескать, много потеряли от того.

147



С Тулеевым

Не знаю, много ли староверы, не жалующие изыски современной цивилизации, потеряли, оттого что не смотрят по вечерам телепрограмму «Окна», а про жизнь они знают, как мне кажется, больше и понимают её трезвее и лучше.

Впрочем, я не собирался читать мораль. Просто-напросто мне довелось несколько раз побывать в «Таёжном тупике», описанном «первооткрывателем» лыковской заимки Василием Песковым, и, следовательно, кое о чём мне известно не только из его очерков, но и лично. А в дополнение к личным встречам я собрал на старую свою знакомую целое досье – у ней многие серьёзные люди побывали,

вон в Красноярске даже подготовили целый словарь употребляемых Агафьей Лыковой слов. Правда!

Нынче поделюсь тем, что знаю.

Про историю русского старообрядчества много не буду. Всем ведомо, что часть православных людей не приняла в XVII веке церковные реформы патриарха Никона, а не церковные – царей Алексея Михайловича и Петра Алексеевича, и стала таиться от власти. Некоторые уходили в поисках Беловодья (это такая земля обетованная для староверов – как для евреев, к примеру, Израиль) в дальние дали – добрались даже до китайского озера Лобнор, которое в страшной пустыне Такла-Макан – ничего себе Беловодье! Много осело в сибирской тайге – на Алтае, в Туве и Хакасии, в нашей Горной Шории. До Тихого океана дошли. И даже в Америке малая толика русских староверов имеется – как в северной, так и в южной.

А дальше будем про Агафью и её близких – это абсолютно проверенные сведения, ручаюсь.

Агафья Карповна Лыкова родилась – по одним данным, в 1945, а по другим – в 1947 году. Её отец Карп Осипович родом из деревни Лыково близ городка Ялуторовска, что в Тюменской области. Село было основано в 1860-е годы приверженцами Старообрядческой церкви – выходцами из Нижегородской губернии, из Олоневского скита, самого большого старообрядческого поселения, разорённого царскими властями, очень не полюбившими староверов за независимость.

В начале XX века семья Лыковых вместе с другими старообрядцами переселилась дальше на восток, в наши края. Осели на Алтае у посёлка Турочак, что на реке Бии, и в Горной Шории, в селе Килинск, а также на многочисленных таёжных заимках близ них.

Лыковы всей семьёй во главе с отцом и матерью Карпа Осиповича, братьями Степаном и Евдокимом основали деревеньку Лыковку километрах в 50 от Килинска, на реке Абакан. В этом месте быстрая и бурная река разливается плёсом, который староверы называли Тиши – Большие и Малые.

В речной пойме близ Тишей – озёра и берёзовые околки. Земля – малый слой чернозёма, дальше суглинок, но плодородная. Лыковы распахали целину на лесных опушках. Сеяли ячмень и рожь, садили картошку, свёклу и редьку. Питались таёжными растениями: колбой, луком-слизуном, кедро-



Агафья Лыкова. Фото В. Кафо

выми орехами, ягодой. Держали пчёл, коз и лошадей. Ловили речную рыбу: хариуса, тайменя, ленка. И озёрную: сорогу, щуку, окуня. Ставили капканы или копали ямы-ловушки на разную дичь. Занимались и ружейной охотой, когда удавалось достать порошу и свинца. В тайге на горных хребтах Абаканском и Западном Саяне по сей день много птицы и зверя: пушного (норка, выдра, соболь) и копытного (кабарга, марал, лось). Много медведей. В изобилии водятся рябчик и куропатка. По нынешний день не извели охотники глухаря.

Кстати сказать, к нынешним временам все эти места исхожены и поделены на охотничьи угодья. Обычно изба охотника стоит близ устья абаканского притока – ручья или малой речки, которые даже в



Старая изба Лыковых. Фото Л. Шитикова

лютые морозы полностью не замерзают, непременно полынья найдётся где-нибудь на крутом сливе.

В начале Малых Тишей в Абакан впадает речка Бедуй. Недалеко от её устья (его не видать, оно наглухо завалено нанесённым полыми водами лесом), час с копейками скорой ходьбы вверх по течению, бьёт Горячий ключ – природный источник целебной воды. Он издавна известен таёжным аборигенам – шорцам, хакасам, тувинцам. В этой воде можно купаться (её температура около 40 градусов выше нуля), пить её. Вода лечит болезни суставов, желудочно-кишечные и кишечные заболевания.

Один из исследователей Сибири, географ и этнограф Василий Радлов, некогда рассказал об этом знаменитом на всю Южную Сибирь ключе, но сам до него не дошёл – от Тишей его экспедиция повернула на запад и на плотках сплавилась рекою Лебедь в Бию и дальше – до самого Бийска.

Но вернёмся к Лыковым.

После Гражданской войны, в 1920-е годы, к ним стали подселяться единоверцы. Деревня разрослась до 12 дворов. В 1929 году представители со-

ветской власти попытались организовать в Лыковке сельскохозяйственную коммуны. Инициатором её был некто Константин Кукольников – человек неверующий, а к тому же курящий, чего староверы не переносят. Но всё же артель, чтоб совместно заниматься охотой и рыболовством, организовали.

Но без Лыковых. Эти всей семьёй ушли в тайгу выше по Абакану, к устью речки Сок-су, где поставили несколько заимок. Одну с огородом, назвав её Прилавок. Изредка наведывались в Лыковку, чтобы покупать (вернее, выменивать, денег у них не было) нитки для вязания сетей, припас для охоты. От своих не таились. Вместе с бывшими однодеревенцами обустроили Горячий ключ: срубили там избу, одели источник в сруб и накрыли его навесом.

В 1932 году был учреждён Алтайский заповедник. Сок-су и заимка Прилавок попали в его пределы. В рамках заповедника нельзя было охотиться, ловить рыбу, заниматься земледелием. В 1935 году Лыковы ушли на Алтай, к родне. Сначала поселились у родственников Тропиных, потом построили избу-землянку. В Турочак Карп Осипович привёз жену Акулину Карповну, с которой познакомился в Килинске – там и по сей час обитают многие родственники Агафьи, в том числе самые близкие – двоюродные братья и сестры.

Карп Осипович с братьями жили тайгой. Они всё в ней умели, очень хорошо её знали и прекрасно ориентировались. Не хуже местных жителей – шорцев и кумандинцев. Это для нас, сегодняшних горожан, все таёжные сопки одинаковы, все ручьи похожи, все распадки – близнецы. Таёжник очень хорошо их знает. Не зря ж каждая горка в Саянской тайге имеет название, каждый ручей, даже самый малый, с именем. Вот мы в городе ориентируемся по названиям улиц и номерам домов – и они похожим образом: каждый силуэт впечатался насельнику тайги в память.

Постепенно Лыковы обживали Абакан – реку, труднодоступные верховья которой, кроме них, никто не навещал. Правда, изредка наведывались егерь из заповедника. Они то ли случайно, то ли с намерением застрелили Евдокима Лыкова.

А с самого верха Абакана – там, где в него впадают два притока – правый Кокяжам и левый Еринат, а сам Абакан уходит в тесное ущелье, в тупик (откуда, наверное, и заголовок документальной по-

вести Пескова – «Таёжный тупик»), Лыковых спугнули пограничники, потому что эти места соседствуют с Тувой, которая до 1944 года считалась независимым государством.

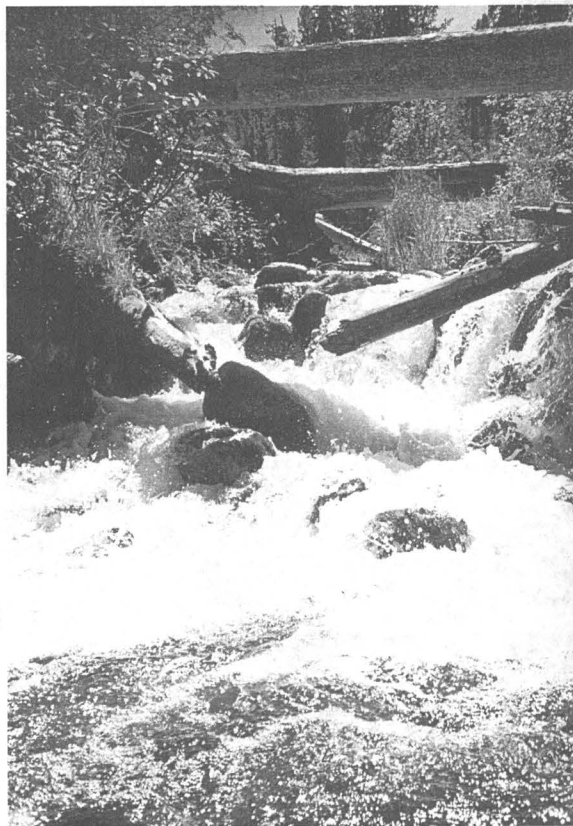
Окончательно Лыковы во главе с Карпом Осиповичем, похоронившим родителей и братьев, поселились у слияния рек Еринат и Абакан после 1945 года. Так что старшие братья Агафьи Карповны, Савин и Дмитрий, и сестра Наталья родились на Алтае, а Агафья – уже на Еринате, в Хакасии.

В изоляции они жили до 1978 года. Конечно, это очень относительная изоляция – Лыковых навещали их единоверцы из Турочака и Горной Шории. Человеку, умеющему ходить по тайге, хватало недели, чтобы, к примеру, из Турочака дойти до новой заимки Лыковых, а это около 150 километров горно-таёжной тропы. Карп Осипович, по-видимому, сам не раз ходил на Горячий ключ, который ниже заимки по течению Абакана километрах в 50 (два дня ходу). Не так уж далеко до него из Горной Шории, ведь Абакан с притоками – сведомое место для охоты и рыбалки.

Вообще отлучки от жилья на несколько дней у таёжников норма жизни. Помнится, как-то мы заехали на лыковскую заимку, а Ерофей Седов, Агафьин сосед, сказал, что Агафья с сестрами (тогда у неё жили несколько молодых из горношорских староверских селений) ушли за диким луком. «Давно ушли?» – поинтересовались мы. – «С неделю, – ответил Ерофей. – Завтра должны прийти».

Ещё раз попрошу заметить: здесь нет и никогда не было дорог, только тропы. Некоторыми тропами можно проехать на лошади. Но таких мало. Геологи пробираются по тайге на гусеничном ходу, обычно зимой и по речным долинам, когда реки и ручьи покрываются льдом. Летом по Абакану можно проехать на моторной лодке. Но только в нижнем и среднем течении, там, где нет завалов и заломов из смытого половодьем леса. Кстати сказать, заломы начинаются уже километрах в полутора от Агафьиного жилья и километров через двадцать сливаются в один большой залом – почти до левого притока Коэтру. По карте, как бы не соврать, этот залом километров семь длиной – сплошной, с редкими проранами вал переломанного, перекорёженного леса.

Последнее время, правда, открылся проход



Приток Абакана. Фото автора

вдоль левого берега. Только всё равно на моторке не пройти, кое-где реку перекрывают лесины и повсюду торчат замые в гравий мёртвые деревья.

Обычный путь в тайге едва угадывается, и понять, зверь ли наследил или человек натоптал, иногда можно лишь по редким затёскам. Впрочем, затеси наносят в особо убранных местах, где трудно с ориентирами. А коли обочь тебя шумит река, зачем деревья портить, так и тащись вдоль по бережку. Хотя если правду сказать, ходить берегом Абакана или другой саянской реки – это не прогулка, это тяжкий труд, ведь за плечами у тебя поклажа, без которой в лесу не выжить.

В 1970-е годы недалеко от Лыковых (ниже по течению Абакана, за ущелистым местом, традиционно названным Лыковыми «Щёки») обосновались геологи. Они разведывали железорудное месторождение Волковское. На берегу Абакана, напротив впадения реки Каирсу (устье по обыкновению закрыто плавником), геологи расчистили площадку для аэродрома – сюда садились самолёты «АН-2»,



Лабаз. Фото автора

а километрах в двух от аэродрома поставили базовый посёлок. Отсюда геологи пробивали дорожки-зимники в тайгу и ставили буровые вышки для дельтовой разведки месторождения.

Для геологов заимка Лыковых секрета не представляла, они ходили в лыковские места охотиться или на рыбалку. Особенно с Лыковыми подружился буровой мастер Ерофей Созонтьевич Седов. Сейчас – я уже упоминал – он соседствует с Агафьей в собственном доме. (Ерофей стар, одноног, его чуть было не записали в женихи к Агафье, но это враки, они живут как брат и сестра.)

В 1978 году, когда Карпу Осиповичу было уже 83 года, его сыновьям – Савину 56 лет, Дмитрию 40, дочерям – Наталье 46, а Агафье 39 (Акулина Карповна к этому времени померла), – Лыковых внезапно «открыли» и сделали их таёжное житьё-бытьё мировой сенсацией. Сюда зачастили журналисты. Первыми авторами сенсации стали Юрий Свентицкий (газета «Социалистическая индустрия») и Николай Журавлёв («Красноярский рабочий»). Они

осудили Лыковых с принципиальных позиций как покинувших мир в силу религиозного фанатизма.

В основном сочувственно о Лыковых написал Василий Песков из «Комсомольской правды». Он до сих пор время от времени прилетает к Агафье.

После 1978 года в жизнь Лыковых стали активно вторгаться разные любопытствующие пришельцы. Вторжения не прошли безболезненно для Лыковых. Живя в чистой тайге, где нет никаких зловердных инфекций, они утратили специфическую иммунную защиту (исключение – традиционная для таёжников невосприимчивость к энцефалитному клещу). В 1981 году разом умерли братья и сёстры Агафьи. Перед тем они побывали в посёлке у геологов, где, по-видимому, заразились гриппом. Заболевшие люди, запросто ходившие босиком по снегу, ловившие рыбу в ледяной воде, работавшие в холод и мороз, не перенесли обычных для себя переохлаждений и умерли от постгриппозных осложнений.

Братья похоронены на берегу Абакана. Там же похоронили и сестру Наталью. В 1983 году в возрасте 87 лет скончался Карп Осипович. Он похоронен около самой старой, первой лыковской избы, на Еринате. Над могилой – старообрядческий «осьмиконечный» крест.

После трагедии Агафья отказалась уехать на «Большую землю». Говорила, что отец велел жить ей тут, на Еринате, где родина. Агафья Лыкова иногда выезжает к родне или на Горячий ключ (вертолёт, а однажды на надувном плоту – с туристами), бывала и в городе, но ей в больших поселениях не нравится: слишком шумно и «вода плохая», не то что в Еринате или Абакане – там она кристально-чистая.

Осиротевшую Агафью, после того как из этих мест ушли геологи, активно опекали жители и власти города Таштагола. Административно тамошние места принадлежат Хакасии, но самый ближний хакасский посёлок Абаза отстоит от Ерината на 350 километров. От нас же километров 100, меньше часу на вертолёте.

Трест «Таштаголшахторудстрой» выстроил для Агафьи новую избу. Другую избу поставил бывший буровой мастер Ерофей Седов, тот самый, – специально, чтобы на старости лет вернуться и жить на Еринате. Ещё одна избушка и лабаз около неё принадлежит харьковскому художнику и фотографу

Сергею Усику – он время от времени приезжает на Еринат и живёт здесь по несколько месяцев. Гостит иногда здесь и сын Ерофея Седова, любитель побродить по тайге.

Летом Агафье докучают туристы – бредут к её жилью чередой, как в зоопарк. Неделikatный народ и не знают подхода к Агафье. А лучший подход такой – предложить что-нибудь сделать. Например, дров напилить. Тогда она отнесётся к тебе со всей симпатией и даже может свежеиспечённым хлебом угостить, она интересный по рецептуре хлеб печёт, например, с картошкой. А самым любимшимся дозволит поглядеть старопечатные и рукописные книги.

У Агафьи оставались жить-зимовать многие «беглецы от цивилизации». Но долго не выдерживали. Её жизнь – непрерывная работа, непрерывное выживание. Надо пилить дрова на зиму – в холода в трубу за день вылетает целая поленница. Надо ухаживать за посевами, беречь поле от кротов, удобрять его. Надо гонять любопытных медведей – она их отпугивает ударами железа по железу, медведи этих звуков не любят. Надо готовить на зиму дикий лук и кедровые орехи. Ловить и солить хариуса. Сбирать и мочить бруснику. Печь хлеб и варить кашу. Обихаживать козу с козлятами и кур. Заботиться о собаке. А вот кошки у Агафьи нет.

Агафья Карповна грамотный и развитый человек. Она осведомлена в истории старообрядческой церкви, может назвать всех её деятелей. У неё целая библиотека уникальных книг, написанных по-старорусски. Агафья отлично ориентируется в созвездьях, знает фазы Луны. Помнит все даты и религиозные праздники.

Она отличает спутники от звёзд, привыкла к запускам космических ракет. Сюда иногда падают обгоревшие части их ступеней, которые запускают с космодрома Байконур или наши военные из Алея-ска. Таёжная отшельница не обращает на них внимания – то, что творится в небе, это Божье, а в дела Господа вмешиваться нельзя.

Агафья не ест мяса, сахара и испечённого в городе хлеба. Заваривает чай только травами. Упаси боже от кофе. Естественно, и от спиртного – староверы выпивают иногда медовуху, но только по праздникам.

Она носит тёмную ленточку вокруг головы – это значит, что Агафья ведёт монашескую жизнь. Говорит Агафья нараспев и мягко произносит шипящие звуки. У неё бывал наш губернатор Аман Гумирович Тулеев. При встрече подарил Агафье часы и ящик апельсинов. Время от времени попутным вертолёт-ом Агафья посылает Тулееву письма. Иногда перешлёт посылки – к примеру, связанные из козьего пуха тёплые носки. И он в свой черед посылает Агафье разные нужные подарки, например, крупы. Иногда по просьбе Тулеева Агафью навещает таштагольский градоначальник Владимир Николаевич Макута.

Однажды в роли губернаторского посланца выступил я: передал Агафье две пары сапожек – одни резиновые, для лета, другие на меху – зимние. А ещё красивую пуховую шаль. От себя и своих друзей добавил несколько свежих огурцов – на Еринате этот овощ не успевает вызреть.

Известный кемеровский тележурналист Юрий Светлаков не верит в существование Агафьи Лыковой, говорит, что всё о её быте – рассказы, она благополучно живёт где-нибудь в горношорской деревне, а на Еринат летает вертолёт-ом пофотографироваться с Василием Песковым.

Юрий, конечно, шутит. Потому что Агафья не любит сниматься, вера не позволяет, и всё её фото сделаны скрадом. У меня есть несколько, два или три, – их сделал покойный Василий Кафо. От самых назойливых людей с камерами она молча уходит в лес и там дожидается, чтоб гости убралась восвояси.

Повторюсь: Агафья Карповна Лыкова и её родственники так называемой старой веры – разновидности русского православия. Старообрядцы не бегали от цивилизации, как считают некоторые. Они были вечными трудягами и осваивали безлюдную, а иногда и враждебную землю, расширяя пределы России.

Жизнь Агафьи – непрерывный подвиг кротости и терпения. И другое: родная земля для Агафьи Карповны не пустяк, не пышная фраза, какие любят разные политики. Земля для неё значит очень многое. Да практически всё. Потому она за неё так держится. Просто-таки насмерть.

Владимир РОМАНЧИН

ЧЁРТОВО ГОРОДИЩЕ

(ОСВОЕНИЕ ЗЕМЛИ СИБИРСКОЙ)

С десяток лет тому назад в Ленинске-Кузнецком окончил жизненный путь бывший десятник вентиляции на шахте «Журилка-3», а в молодости – председатель комитета бедноты в деревне Арсеново Крапивинского района Нестеров Иван Михайлович. Мы с ним какое-то время работали вместе, да и жили неподалеку. Вот что, найдя во мне любознательного слушателя, рассказывал он о переселении их семьи в Сибирь.

В России они крестьянствовали, но маленький клочок земли не мог прокормить разросшуюся семью. И на семейном совете решили: младшему брату Нестеровых (отцу Ивана Михайловича), у которого была к тому времени самая легкоподъемная семья (сами еще молодые и парни подрастали), ехать в Сибирь. Ивану тогда было лет 15–16. Им выделили пару лучших лошадей, корову, инвентарь крестьянский и со слезами проводили на ближайшую станцию.

По Сибири они долго ездили, гремя чугунами, косами да плугом, но за землю уцепиться не удавалось, все было уже занято. «Казачий тракт», которым еще екатерининские казаки возили серебро с Салаирских копей да железо с Гурьевских заводов, поманил на восток, в Кузнецкий край. Но земли вдоль тракта – Журавли, Брюханово (Красное), Кольчугино – были обжиты, и свернули они с тракта на восток. Ну а тут – леса да косогоры, пахотной земли и вовсе мало, и где-то в районе Ажendarова воткнулись они оглоблями в самую глухомань. Дальше ехать было некуда – впереди стеной стояла тайга-матушка.

А близилась осень, надо было думать о корме для скота, пристанище на зиму. Какой-то чалдон еще из достопыпинских переселенцев в одной из деревушек поинтересовался:

- А ты, паря, топором-то владеешь?
- Ну дык по хозяйству... – ответил отец.
- Так повертай в Чертово Городище. Там зиму скоротаешь, а не ленив, так и с прибылью будешь.
- Как это – с прибылью?

– А там таки же вот бедолаги лесом промышляют. Срубы рубят на заказ, тес пилят. А у вас вон – трое мужиков, лошади...

Посоветовались с другими, повернули. А Чертово Городище и в самом деле оказалось чертовым городищем – в глухом непролазном осиннике верстах в пятнадцати-двадцати от ближайшего жилья. Но люди приняли с радостью. Жили здесь малосемейные да бобыли, в основном безлошадные, а тут – нако тебе! – на двух справных конях, да еще с коровой прикатали, как не принять! Потеснились даже, избенку чуть поболее бани освободили.

Сена, хоть и позднего, заготовить успели, на ссудные деньги запаслись мукой, солью, керосином и начали «лесную работу». Пока не завалило снегом, рубили осинник и пихтач, подтаскивали хлысты к жилью, чтоб зимой пустить на бревна, косяки, доски. Ну и, кто умел, – на сани, дуги, хомутные клешни.

Зимой кто-то подсказал отцу:

- А что б тебе самовольно не подселиться?
- Это как же?

– А вот если сумеешь в какой деревне за одну ночь избу с печью поставить, и чтоб к утру дым из трубы валил – никто тебя не выселит.

Долго этому не верили – уж больно на сказку похоже. Но приезжавшие за заказами крестьяне подтвердили: да, были тому примеры. И со середины зимы семья начала готовиться. Срубили избу, напилили плах да тесу, а по весне набили глины на печь. А когда вывозили в деревни свои поделки, отец присмотрел место. И в одну из светлых майских ночей решились. Все мужское население Чертова Городища вызвалось помогать: уж больно любопытно было – выйдет ли? Чтоб за раз все поднять – тягла не хватало, поэтому верхние венцы, потолок, стропила перевезли заранее и спрятали поблизости.

Когда подъехали к деревне, все уже спали, только в дальнем конце гомонилась молодежь. Тихо разгруженные подводы сразу же отъехали за второй ходкой, а вместе с первыми же венцами умеющий человек в заранее сбитом коробе начал ладить глинобитную печь. Перед рассветом все помощники отъехали в ближайший лесок отсыпаться.

В деревне не сразу заметили укрывшуюся за березками новую избу, выдал скорее дым из трубы. Сначала там заперекликались женские голоса, потом мужики сбились в кучу и густой толпой двину-

лись к новостройке. Мать с отцом с замиранием сердца ждали их у дверного проема.

На их приветствие никто не ответил. Они не знали еще, что в деревне было много недавних переселенцев, они со временем надеялись расширить свои наделы, лишние люди были нежелательны. Послышались недовольные голоса:

– Ишь каки умные, построились...

– Раскидать их по бревнышку и пусть катятся отсюда...

Говорили больше мужики, женщины, поджав руки под грудями, молчали. Подошли из деревни четыре степенных старика, поздоровались. Молча обошли избу, потыкали в плотные углы палками, посмотрели сквозь незастекленные окошки на сырую русскую печь с костерком на загнетке, на умаянных за ночь спящих парней на голых нарах, поговорили о чем-то у лошадей, привязанных к возам с тесом, вернулись к народу. Недовольные опять загалдели:

– Гнать их надо отседава!

– Пусть другие места ищут...

Прямой жилистый старик в домотканом зипуне и российском картузе с высокой тульей взмахом палки остановил гвалт:

– Вот ты, Ляксандр, боле всех шумишь. А у тебя три девки. За кого замуж выдашь? А у них вон парни растут. – Старик ткнул палкой на окно. – И поселились не балаболки какие, балаболкам за ночь не построятся. Таки деревне в обузу не будут. А зем-

лю... Пусть гриву за гнилым логом распашут. Далеко, так не в Расею же им повертать.

Отец с матерью, напуганные мужиками, стояли ни живы ни мертвы, а тут враз упали старикам в ноги. И у матери радость выплеснулась неудержным плачем с причитаниями. И толи от этого женского плача, который испокон будит в людях отзывчивость, толи от стариковской убедительной речи, а может, от того, что в окошко высунулись две испуганных парнишечьих мордашки, но волна отчуждения схлынула, как накатная вода с берега, бабы первые подбежали, подняли плачущую с колен, мужики окружили хозяина.

– А деревне, мил человек, два ведра водки сготовь. Для добрососедству... – сказал на прощанье старик.

Вот так и осела на сибирской земле новая трудовая семья лет более восьмидесяти тому назад.

А лет сорок спустя и я побывал в том Чертовом Городище. Раз на мотоциклах пробились туда, раз на «Запорожце». Уж больно колба там хороша была: белая, сочная, сладкая и чуть ли не в оглоблю, как шутили мои спутники, толщиной. Но никаких следов от бывшего поселения обнаружить не удалось, все заросло кустами да осинником. Ни кола, ни бревнышка гнилого, только ручеек журчал себе, перевивая светлые струи, не спеша бежал, огибая кусты, в сторону не так уж и далекой Томи.

с. Банново



СВЕТАЛИЦА

«НА КАЧАЛИКАХ ЗАСТРАШНЕЛО»

Профессиональные писатели давно работают с детьми, пробуя себя в стихах, прозе, публицистике. Например, только в Кемерове, благодаря поддержке его администрации, управления культуры, спорта и молодежной политики, управления образования, ежегодно проводятся конкурсы юных литераторов, в которых принимают участие по несколько сотен кемеровчан в возрасте до 18 лет, в основном, школьники и студенты. А два последних года подряд среди участников масштабного творческого состязания стали заметны и дошкольники. Произошло это потому, что в положении о конкурсе была выделена возрастная группа — до 7 лет, специально для них предназначенная. Известно, что дети порой начинают говорить в рифму, еще не научившись просто говорить на родном языке, другие уже пытаются свой собственный язык изобретать, третьи... Впрочем, смотрите сами и увидите. Хочу сказать и о том, что конкурс показал не только самых маленьких создателей изящной словесности, но и замечательных педагогов дошкольных учреждений и, конечно, родителей, понимающих значимость раннего приобщения их чада к родной речи в качестве авторов, а прежде того, читателей ее лучших образцов. Понимают они и то, что высшая цель такого приобщения есть превращение юного сочинителя не обязательно в профессионального писателя, но обязательно в человека, в котором «все должно быть прекрасно».

*Иосиф Куралов, руководитель литературной студии
«Свой голос», председатель жюри
Кемеровских городских конкурсов юных литераторов*

Андрей ЗОЛОТУХИН,

4 года, г. Кемерово, детсад № 16
Воспитатель Сосновская Светлана Ивановна

ХВОСТАТЫЕ ПОДРУЖКИ

Жила-была редиска без хвостика. А у соседки морковки было два хвостика. Грустно было редиске, очень она за это переживала, ночи не спала. Морковка это заметила и подарила ей хвостик на день рождения. С тех пор морковка и редиска — большие друзья с хвостиком.

ПОЧЕМУ ПОМИДОР КРАСНЫЙ

У Зеленого помидора была подруга — тыква. Зажили они — не разлей вода. Вместе гуляли, любовались солнышком, слушали птичек. Однажды мимо них проезжал горошек на велосипеде. Очень помидору понравился горошек и он сказал тыкве, что она толстая, пузатая и некрасивая. Обиделась тыква и заплакала. «Нельзя предавать своих друзей», — сказал горошек, посадил тыкву на велосипед и увез её. Помидору стало стыдно, и он покраснел.

155 Виталий ЗУБКОВ,

5 лет, г. Кемерово, детсад № 25
Воспитатель Штепа Наталья Викторовна

ПАУЧКИ

*Бегают очкастые паучки,
И к потолку привязаны,
И к своим друзьям.*

Октябрь 2004 г.

НА КАЧАЛИКАХ ЗАСТРАШНЕЛО

*Вот собака-то гуляет,
Хвостиком виляет.
Ходит, бегаёт да скачет,
Крутится, качается,
На качаликах.
А вот мне-то
Застрашило на качаликах.*

Февраль 2005 г.

СНЕГ

*Падает снег из тучи
Сырой и хмурой,
А снег все равно
Легкий и белый!*

Январь 2005 г.

ЗВЁЗДЫ

*По луне шагают звезды,
Звездочки горят,
Они такие красивочные,
Они такие загадочные!*

Декабрь 2004 г.

СНЕГОВИК

*Лепим мы снеговика,
Беленького старика,
Снеговик здоровый,
Сносом морковным.
Глаза — как угольки,
Лишь бы не растаял.*

Декабрь 2004 г.

Арина ОВЧИННИКОВА,

6 лет, г. Кемерово, детсад № 16

Воспитатель Фролова Наталья Петровна

ЦВЕТЫ

*Расцвели цветы повсюду,
Им так хочется покрасоваться.
Я смотрю на них как на чудо,
И не могу налюбоваться.*

МЯЧ

*Стал Сережа в мяч играть,
Мяч подпрыгнул, убежал.
Он хотел его догнать,
Но запнулся и упал.*

СНЕГ

*Утром снег пошел густой,
Вдруг все побелело.
С мамой в садик я пошла,
Валенки надела.*

Наташа ЗАХАРОВА,

6 лет, г. Кемерово, детсад № 16

Воспитатель Савина Наталья Фёдоровна

ВЫХОДНОЙ

*На бульваре, на бульваре
Мы гуляем всей семьей.*

*Здесь батуты надувные,
Аквадром любимый мой!
На коне люблю кататься,
На машине заводной.
Всей семьей мы на бульваре
Так проводим выходной!*

Денис ЛАЗАРЬКО,

6 лет, г. Кемерово, детсад № 25

Воспитатель Штепа Наталья Викторовна

«НЕБЫЛИЦЫ»

*На улице зима, выросли бананы, надели мы панамы,
пошли в лес за грибами и ягодами. Зимой очень жарко,
очень тепло, солнце печет, а снега все больше и больше.
Растут цветы, трава и ласточки летают с сугроба на
сугроб. Снеговики бегают, выросли они на грядках, мор-
ковку они едят свою, летают собачки, кружатся, как
снежинки, летают, крылышками машут, всем весело!*

*Зимой комары и мухи жужжат, пчелы и осы зерныш-
ки клюют, гуси ходят в магазины за молоком, медведи
сняли шубы, кошки от жары зимой сбрили усы, подстриг-
лись. Люди высиживают яйца, чтобы птенцы были.*

Ноябрь 2004 г.

Никита НАГОРНЫЙ,

6 лет, г. Кемерово, детсад № 7

Кружок «Антошка», руководитель Гасанова Елена Анатольевна

МОИ ИГРУШКИ

*Я люблю свои игрушки,
Никому их не отдам!
Хоть и вырос я немного,
Но играть в них буду сам!
Не подумайте, что жадный.
Я не жадный никакой.
Просто мне ведь тоже надо
Отдохнуть от важных дел.
Детство кончилось так быстро —
Наиграться не успел!*

МОИ МЕЧТЫ

*Мечтаю стать я президентом,
Ведь я умен не по годам.*

*Я дам отпор всем претендентам,
И умный я закон издам:
В законе будет говориться.
Чтоб каждый человек умел мириться
И большие войн не затевать!*

Вася ТРОЦЕНКО,

6 лет, г. Кемерово, детсад № 219

Воспитатель Бобровская Елена Александровна

ЗАТОР

*Ехала машина.
Навстречу зеленый светофор.
Что за чертовщина?
Оказался затор.*

МАМА

*Мама красивая,
Моя любимая.
Всюду гуляет со мной.
Я для нее герой.*

Никита ГУШИНЕЦ,

6 лет, г. Кемерово, детсад № 219

Воспитатель Бобровская Елена Александровна

ПТИЧКА ПО ИМЕНИ ЧИК

*Жил-был попугай по имени Чик. Чик однажды пошёл
опять на улицу и встретил там друга.*

*Они пошли в магазин, купили мороженое, билеты и по-
ехали в парк. А в парке начали кататься. И вдруг у попугая
сломались часы — друзья не могли узнать сколько времени.*

*На улице начало темнеть, и они подумали, что уже
надо ехать домой. Но в темноте не могли найти дорогу
домой и заблудились.*

*Однако местная собака им помогла. Она унюхала, куда
идти, и оба друга вернулись домой.*

ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ С ПОЭТАМИ

Здравствуй, уважаемая редакция «Огней Кузбасса»!

Недавно в нашем посёлке состоялась встреча с поэтами:
Бурмистровым Б. В., Катковым А. И., Козловым В. П.

Общение всем понравилось и запомнилось надолго. Было
очень интересно. Шёл разговор и о том, что в «Огнях Кузбасса»
есть рубрика, знакомящая с творчеством школьников.



Я предлагаю портретный очерк своей ученицы, она написала
его к 60-летию Победы. Мы будем очень рады, если увидим
эту работу на страницах вашего издания.

157

На снимке группа ребят 8-го «А» (уже 9-го «А») класса с
Ивановой Валентиной Игнатовной. Автор очерка — девочка,
стоящая справа.

С уважением Корбут Валентина Алексеевна.

14 июля 2005 г., пос. Тяжинский.

Надежда КЛЕВЦОВА,

9-й «А» класс, Тяжинская средняя школа

СИБИРСКАЯ КОШКА

В этом году было празднование 60-летия со
дня Победы нашего народа в Великой Отече-
ственной войне. Осталось немного в живых тех
людей, которые испытывали все тяготы той вой-
ны. И все ценнее становятся крупницы воспоми-
наний, которыми они могут с нами поделиться.
Вот и в нашем классе состоялась встреча с вете-
раном Великой Отечественной войны Ивановой
Валентиной Игнатовной.

Медленно и осторожно вошла в кабинет невы-
сокая седая женщина с приветливой улыбкой на лице.
И первое, на что обратили внимание мы все, — сколь-
ко наград! Слегка волнуясь и беспокоясь о том, что
время стерло из памяти многие события, она начала
свой рассказ. И сразу расположила нас к себе своей
добротой и простым обращением.

Мы узнали, что Иванова (Бровар) В. И. роди-
лась 10.03.1927 года в селе Преображенка в то вре-
мя Новосибирской области. Крепким хозяйством
было подворье семьи Бровар: имели маслобойню,
кирпичный завод, коров, лошадей. Сызмала на-
блюдали два сына и две дочери, как без устали тру-
дились Игнат Михайлович и Александра Иванов-
на. Но не обошло эту дружную семью и горе: в
начале 30-х годов был арестован отец, и больше
его никто и никогда не видел. Детям тоже приходи-

лось много работать. Иногда Валя с братьями ходила в лес за дроздовыми яйцами и умела так ловко взбираться на деревья, что ее прозвали «сибирской кошкой». Когда Валентине исполнилось 15 лет, она поехала в Боготол и поступила в ФЗУ. Война сделала жизнь их большой семьи ещё тяжелее. Получив известие о растерзанном немцами брате Николае, решила идти на войну, чтобы отомстить. Ей было 16 лет, и в военкомате отказали в отправке на фронт из-за возраста. Тогда, как и многие из юных добровольцев, Валентина сумела обманом получить справку о том, что она старше на два года. Обуреваемая сомнениями и мыслями о будущем, девушка хотела побыть наедине с собой, вышла в поле, легла на землю, и из души вырвались слова: «Если есть Бог, пусть мне подскажет, что будет со мной. Помоги мне, Боже!» И вдруг увидела в небе образ старца, который как будто сошёл с иконы. И услышала голос, который звучал, казалось, на весь мир: «Иди, сражайся, ты не умрёшь». В память об этом видении Валентина взяла с собой на фронт небольшую иконку и всегда считала, что именно она не раз спасала ей жизнь.

Сначала девушка 1,5 месяца училась на связистку в Красноярском запасном полку связи.

Конец февраля 1943 года. Наступили волнующие минуты прощания с родными. Мама наказывала быть смелой и возвращаться с победой. На фронт!..

По дороге эшелон, в котором ехала Валентина, разбомбили немцы. Вместе с солдатами она успела выбежать из горевшего вагона и спрятаться под железнодорожным откосом. Многие погибли, не доехав до передовой.

Сражалась Валентина Игнатовна на 1-м Украинском фронте, которым командовал маршал Г. Жуков. Юной связистке посчастливилось лично встретиться с командующим фронтом, строгим и справедливым человеком, требующим от солдат самостоятельности и находчивости.

Вспоминает Валентина Игнатовна случаи в своей фронтовой биографии, когда требовалось все человеческое самообладание, стойкость. Например, при форсировании Днепра девушка чуть не утонула, потому что не умела плавать, а в их плот попал немецкий снаряд. Уцепившись за доску, Валя смогла добраться до берега. А однажды вместе со своими сорока семью товарищами (связистами и разведчиками) попала в окружение. Выбираясь из кольца немцев, в одной деревне спрятались в погреб, а там — подземный ход! Рискнули пойти... и вышли к берегу реки, на лодках успели переправиться на другой берег. К своим пробирались ночами, днём отсиживались в лесах.

Питались ягодами и сырым конским мясом. Ослабли настолько, что когда наконец-то вышли из окружения, сразу же были отправлены в санчасть на лечение.

Война — это ужас, кровь, страдания, смерть... много смертей. Сердце девушки сжалось от ужаса, когда при освобождении Белоруссии в одном населённом пункте солдаты обнаружили колодец, полный трупов. Деяносно два детских трупа достали для погребения.

Глядя на эту маленькую скромную женщину,

представляешь молоденькую, хрупкую девушку, которая находила в себе силы носить катушку с проводом весом в 8 килограммов и автомат, которая попала в ад и смогла его пройти до конца. Не суждено было погибнуть этой мужественной девушке, которой бойцы, тоже девушки, даже выделили комнату с кроватью. И вот сквозь сон она услышала, а вернее, почувствовала чьи-то шаги. Открыв глаза, «сибирская кошка» увидела чужого мужчину, закричала. Из соседней комнаты бежали солдаты, схватили непрошеного гостя. Оказывается, немцам нужен был человек, знавший о составе русских в городе, а связистка могла об этом рассказать.

Война закончилась для Валентины Игнатовны в 1946 году. Вернулась девушка домой, награжденная орденами Отечественной войны I и II степени, медалью Г. Жукова, медалями за освобождение Берлина, Праги, Будапешта, вернулась, пройдя все круги ада, сохранив свою честь и защитив честь своей Родины.

У войны не женское лицо, хотя вклад женщин в достижение Победы неизмеримо высок. Не должно быть так устроено в мире, что женщина вынуждена брать в руки оружие, это жестоко. Женщина должна создавать жизнь, а не уничтожать её.

А Валентина Игнатовна ещё вырастила четверых детей, понянчила 9 внуков и 7 правнуков. Тепло она отзывалась о внуке, служащем в погранвойсках.

В течение двух часов, затаив дыхание, мы слушали воспоминания Валентины Игнатовны.

18 февраля 2005 года состоялась наша встреча, а 23 февраля Валентины Игнатовны Ивановой уже не стало. Судьба остановила жизнь этой простой, но героической женщины. Но она успела ещё раз поведать нам, новому растущему поколению, опыт своей жизни, раскрыть трагические страницы истории Великой Отечественной войны, прошедшей сквозь душу человека.

Светлана НИКОЛАЕВА,

10-й «Б» класс, школа № 33, г. Тайга

ДОЖДУСЬ

*Жду и верю я: однажды
Ты придешь с войны домой.
Для меня ты — самый важный,
Мой единственный герой!
За улыбкой слезы спрячу,
Обниму, когда дождусь.
Ты не любишь, если плачу,
Любишь ты, когда смеюсь.
Так вернись же, умоляю,
Не погибни, мой родной!
Ты придешь с победой, знаю,
Скоро — будущей весной!*

КРИТИКА, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

КЛАССИЧЕСКИЙ ПАРОВОЗ

У Шарля Перро в сказке «Ослиная шкура» есть реприза: принцесса убегает из дворца, король со свитой выезжает на поиски, один из подданных докладывает: «Ваша дочка попала в бочку». Король справедливо возмущён — что это ты, мол, подлец, стихами вдруг заговорил? На что тот отвечает: «Это не стихи, Ваше Величество, а созвучное расположение фактов».

Я за пять или шесть лет, что целенаправленно занимаюсь пародиями, плотно ознакомился с творчеством нескольких сотен авторов, как говорится, «в ленту», так что от поэзии меня слегка потряхивает. Могу сказать определённо, что весьма солидный процент прочитанного вполне подпадает под вышеприведённую формулу. И ещё я заметил: по интонации можно в приближении определить годы написания. Как правило, мутации происходили в пограничье десятилетий, так что между интонациями поэтов пятидесятых и поэтов семидесятых уже проглядывается пропасть. Конечно, имеется в виду разнообразие голосов, но есть нечто общее, что объединяет поэтов во времени, и я назову это модуляцией, по примеру вокала. Достаточно легко узнаваемо эстрадное пение 30-х годов: при разности голосов модуляция предельно схожа и определена — она присуща только своему времени, отличая эпоху от эпохи. А когда у поэта изменяется голос — принято говорить: «поэт развивается». Да глупости, нет никакого «развития». Пропитывание. Посидел в курилке — соответственно пахнет.

К концу восьмидесятых центральные литературные журналы самым решительным образом отделились друг от друга не только политически, но и интонационно, так как интонация — это и есть суть отношения к миру. Пишешь «мужественно» — валяй в «Наш современник», рафинированно — в «Дружбу народов», агрессивно — в «Знамя» и т. д., да не забудь бросить крестное знамение в сторону

красного угла, где у каждого журнала своя божничка. Ну ещё добавлю, что если ты пишешь, как поздний Семён Липкин — дуй немедленно в «Новый мир»: две-три полянки в год обеспечены. Словом, дремучая вкусовщина.

(Замечу в скобках: в последние два-три года началось какое-то движение, в политике журналов происходят приметные изменения).

Агрессивная рефлексия в девяностые годы артелями демостарателей чуть не была обращена в генеральное течение в стихотворчестве, многим показалось тогда, что поэтика, связанная с традицией, безнадежно замшела. Отторжение традиции было настолько неадекватным, что теперь весь этот «компостмодернизм» той уже эпохи невозможно воспринимать иначе как поляризованным переизданием РАППа. Авторы сего направления справедливо гордятся своей исключительной корпоративной независимостью в творчестве, но пахнут все положительно креозотом, потому и хватать-то их и за руку не след — сам пропахнешь. Этот поток поэтической контрабанды дай бог схлынул навсегда. Теперь это знамя подхватили более умеренные, укрывшись в меловом круге «герметизма». (Вообще говоря, и «великое стояние» за язык, и самые лютые нападки на него — лишь прямое доказательство космической его значимости, и есть ли в мире ещё такой бушующий, как русский, язык? Язык имеет полевою природу, а что такое возмущение поля, нам компетентно объяснит любой студент-физик. Так что битва за язык — битва за структурность мира, разрушители это прекрасно осознают).

Но следует оговориться, что во всяком новоделе есть и свои положительные стороны: схлынул поток, оставил после себя какой-то слой ила — и вот там уже что-то живое закопошилось, пускает ростки — подборка Р. Сидорова в «Огнях Кузбасса» № 1 за 2005 год (я буду говорить о поэзии этого номера), стих его по форме тяготеет к постмо-

дерну в принятом смысле, а по мироощущению уже созидателен, не разрушителен, что было непременным свойством постмодернизма в самом его пекле девяностых (надо бы, вообще говоря, это слово закавычить, так как понятие «постмодернизм» в «россиянском» разливе имеет иное смысловое наполнение, чем мировое).

Услышал недавно, что после цунами, ужасного, всеубивающего, земля добрый десяток лет родит в полутора-двое богаче.

Тут я пространно отвлекусь от темы.

Наукой установлено, что людей между собой отличает только последняя пара хромосом, она неповторима у каждого. То есть в идеале ни один человек на земле не должен походить на другого. Но вот близнецы — считай, мини-народ внутри народа. Пары хромосом разные, а люди — как две капли (со временем, правда, они начинают всё более отличаться друг от друга). Особая статья — вьетнамцы: поставь три десятка в шеренгу — вы знаете! — мама родная не различит. К вьетнамцам я ещё вернусь. Гены, разумеется, и тому прочее. Впервые, гены у всех одинаковые, комбинации разные. А во-вторых... При таком обилии комбинаций должно быть что-то, что объединяет и разъединяет так-то и так-то. А по закону спектра. Только цветов в нём, сколько народов на земле. Есть пограничье, а есть стволное, так называемый генотип народа. Но вот что формирует ствол? Как объяснить то, что американские африканцы, даже на протяжении столетий не мешающиеся с белыми, становятся от поколения к поколению всё светлее и приобретают всё более европейские черты (г-н Джексон не в счёт, хотя, возможно, это и есть предвосхищение!)? Их последние пары хромосом, примем из сказанного, некоторым образом сдвигаются по спектру. Я не случайно сказал, что близнецы — мини-народ внутри народа. Различие их хромосом между собой настолько мало, насколько велико отличие от прочих людей.

Задумался я: что значит «близнец»? Близ-нец. Что за «нец» такой? То, что они схожи лицом-нецом? Или выражение чего-то более глубокого? Пошёл по словарям. Даль — пусто, Ожегов — пусто, так, может быть, нация — колено, в английском «а» обращается в «е»: близкие в колене, быва-

ют же практически идеальные двойники без всякого, на взгляд, родства — а копнуть на ...сот поколений?

А почему так различаются социальные группы? И внутри народа есть спектр. И по географии есть существенные особенности (это тема отдельная, здесь касаться не стану, лишь скажу коротко, что тут работает геомагнетизм (поле, замечу). Все мы подмечаем, как похожи между собой люди одной профессии. Почти каждый из нас легко узнает чиновника, «мента», делягу, гуманитария и т. д. — полунамеки. А пары, прожившие много лет вместе, начинают походить друг на друга, как брат и сестра (может, от того и с «этим» всё хуже?). Потому я утверждаю, что пара этих треклятых хромосом движется у человека всю жизнь (траектории не суть важны).

Столько вопросов — и ни одного ответа.

Язык формирует нацию. Все мы помним эту формулу. Но понимание её таково: языковая стихия проникает в сознание через осмысление (т. е. через «ухи»), порождая общие интересы и установки, и т. д., и т. п. бред. Он формирует, это точно. Но не в смысле «чаяни прияше всеях», а в самом что ни на есть антропологическом смысле, и не через уши и прагматизм сознания, а на сверхсознательном, вибрационно-полевым (как я уже говорил) уровне; то есть именно вибрации более значимы, чем сам состав языка, иначе испанцы и мексиканцы были бы нацией вместе.

Американские «афро» пару столетий уже как изыали свои родные языки из обращения, рождались и живя в вибрациях американо-английского. Вот процесс и пошёл, ибо нет стяжки родной языковой стихии. Евреям церковь мало того что запрещала (и запрещает) браки с иноплеменниками, ещё вменяла неперемные посещения многочасовых молений (даже без знания языка молитвы — надо хотя бы присутствовать), сознательно или интуитивно поддерживая охранительное вибрационное поле (и ведь сохранила!), не дав раствориться евреям как нации за время тысячелетнего рассеяния. Вьетнамцы, думается, потому так, как никто другой, схожи между собой, что их язык уникален — они говорят на вибрациях, неуловимых для прочих, буквально говорят и слышат то, что иные народы не могут услышать и, соответ-

ственно, произнести. Потому их хромосомы сбиты в самый плотный ствол.

В самом языке разные пласты несут различные энергии, отсюда социальные и географические отличия — те же надзиратели, ежедневно паря в атмосфере «фени», приобретают жуликоватый оттенок глаз.

И почему-то мне представляется, что кое-кто всё это знает (и давно!) наверняка. Потерпев неудачу в прямом наскоке на наш язык, они решили перемодулировать его. К примеру, совсем не случайно некая корпорация выкупила авторские права (с чьей-то помощью?) на лучшие 600 советских мультфильмов, усиленно их переозвучивая, меняя добрые, светлые интонации оригиналов на трескуче-холодные экзерциции совершеннейших дилетантов озвучивания, под предлогом якобы утери качества звучания оригинала. Знают, что практически все родители у нас маленьким детям дают посмотреть только эти старые добрые работы. Знают, куда целят?

Кто или что за этим стоит — можно только догадываться. Аргументы за установление царства антихристово меня бы лично убедили, если бы я не чувствовал, что всё на самом деле гораздо прагматичнее в эдаком озабоченно-устроительном смысле — вы наблюдали, наверное, как более сильный хомячок устраивает своё бытие в банке за счёт другого — так, видать, и человечеству ещё долго из подобной банки не выбраться.

Я возвращаюсь к теме.

Журнал «Огни Кузбасса» в плане интонационном в хорошем смысле всеяден. Как-то так сложилось в последнее время, что вкусовые пристрастия редакции не ограничиваются каким-то означенным створом, есть право быть замеченной птице с любым голосом. Берём первый номер 2005 года. Тут и метафизика телодвижения Руслана Сидорова, припоздавшая, видимо, с публикацией на добрый пяток лет, и припоздавшая на тот же пяток лет (а, впрочем, только им и время пришло), и явственно оппозирующая ему подборка Сергея Дьякова, и вполне традиционалистская лирика (не в плохом понимании) Владимира Шумилова, и сложно-сентиментальная (т. е. уже не наивно) Дарьи Стрижковой, и — прервался, с ходу не оп-

ределил доминанту — лирический эпос у Евгения Худобина: «...но в годах, угодивших в разлом»: отсюда и форма пятистишия в начальном и последнем стихах. Замечу в скобках, что лиризмом пронизаны подборки всех авторов, и он различен. Судя по всему, это наиболее удачные, цельные на сегодняшний день публикации всех упомянутых авторов, и уже это их объединяет.

Достойно вычерчена стилистика во всех подборках, в чужие закрома, за малым исключением, никто не залез, потому можно смело утверждать, что в данном номере представлена некая палитра (или часть), сложившаяся в последние годы.

«Отпыхавший в мальвах палисад» — ясно, может быть, только у Е. Худобина, «блестит и сладко пахнет резеда» только у В. Шумилова, «проступит звёздная полынь» у С. Дьякова, «паровоз классический» просипит только у Р. Сидорова, а «осколки стекла и света» блеснут у Д. Стрижковой. Птицы. У В. Шумилова — чайка, яснее нет, у Е. Худобина — сорока (эпосу без сороки, что борщу без сметаны), у С. Дьякова — мокрый воробей (символ незащитности), у Р. Сидорова — голуби (рефлексия города), а Д. Стрижкова сама птица и есть: «...крылатой рукой коснуться тебя».

Е. Худобин последовательно оживляет пантеистическую образность традиции, например:

Там табор осин-ворожеек
И сосен червонная рать
Не канут в плавильне душевной...

Или:

Накличь мне вешунья-сорока,
Тропу в богородской траве
И в дягиле ключ ясноокий,
И речку с избой кособокой
О правом её рукаве.

Стих Евгения Худобина — зрел, зрим, в хорошем смысле литературен, пускай и не отпускает ощущение некоторой *отсылости*. Сильно, на мой взгляд, написано стихотворение «Баварская чашечка» в очень сложном жанре драматического стиха, что говорит о ещё многих нераскрытых возможностях автора; склонность Е. Худобина к

метафизике для меня очевидна, он рвётся туда через кустарники, которые сам же и насадил. Есть в кинопроизводстве приём создания иллюзии движения при прогонке на экране, на заднике съёмочной площадки, так называемого фальшпейзажа. Вот и Е. Худобин порой грешит подобной иллюстративностью (плюсую к подборке его не так давно вышедшую книгу), что бьёт в глаза во втором стихотворении данной подборки.

А ещё древними замечено, что мужчина познаёт мир через Природу, женщина — через мужчину, у Природы — женское начало, потому мужчине со здоровыми инстинктами в Природе быть комфортно и естественно, женщинам же — напротив, отсюда в поэзии мужской природы быющее изобилие, а у женщин то же изобилие явного и неявного «монолога-диалога» с Мужчиной.

У Руслана Сидорова стих живёт в подстрочнике, под, не над текстом, то есть под очевидным прозаизмом, несомненно, кроется истинно поэтический огонёк, за общим градусом несколько отстранённых интонаций (к слову, вполне органичных) случаются проблески чистейшей поэзии:

Где сросся со скворешней старый клён...

Или:

Семь дней, семь ночей и четырнадцать зорь,
Лазоревых зорь сизокрылой сирени,
Неделя для счастья светлей и воскресней
Бракованных лет, обручённых слезой.

Стих у Р. Сидорова телесно-предметен, осязаем, коему соответствует эллинизм, как-то: название, склонность к фотографичности, с неизбежным в нашем случае самоиронично-интеллектуальным углом зрения. А и банальности происходят из-за сталкивания внутриразделённых ипостасей нашего автора, например:

Берёт у вечности займы
Уроки холода и света.

Или:

Рассыпалось в рос серебро...

В целом это стихотворение выбивается из общего ряда, тут Р. Сидоров как раз и поживился на чужой гряде. А стихом в прозе (подстрочником) Руслан Сидоров владеет очень крепко.

Нравится мне то, что у обсуждаемых авторов Бог в душе (есть он там у них! — знаю точно!), а не на языке. На сей момент в поэзии сформировался некий анклав, где религиозное чувство в творчестве подменяется елейной набожностью, принявшей гипертрофированные формы: чалят паникадами так, что никакими мехами не раздышишь. В. Кожин перед смертью очень резко высказался по этой теме: стихотворчество — не Талмуд.

162

Не страдают наши авторы излишней автобиографичностью. Винокуровское «Я человек, этим и интересен» вовсе не значило, что интересно без исключения всё в человеке, а уж тем более изнанка жития. Во-первых, формулу сию он выдвинул в противовес укрепившейся тогда отрасли «ведомственных» (геологов, моряков, лётчиков и т. д., в общем, положительно романтических профессий) «поэзий», где строят, исследуют, бороздят, с хитрым морализмом в осадке, и стал писать о «тихой» семейной жизни, о «чувствах бытовых», и, во-вторых, он был, несомненно, лучшим в сен-тенциях, исключительно тонок в них, в пару-две строчек заключая всю сложность взаимоотношений двух давно связанных судьбой людей.

Угадываю, что в поэзии назрела ныне тяга к гармоничной равновесности частей, видимо, это происходит подсознательно, каждый из авторов идёт своим азимутом. Туда, к свечению золотой середины, где чувство и мысль сливаются в единое «мыслечувство», где нет места прямолобному высказыванию и назидательности с морализированием, с одной стороны, и умозрительно-вымышленной эпатажности — с другой.

Особняком стоит подборка Сергея Дьякова. На мой взгляд, его поэзия наиболее зрелая, наиболее близкая той самой золотой середине. Совсем не

случайно стал он лауреатом первой премии зонального семинара молодых поэтов Сибири и Дальнего Востока.

Я слышу снег, как обречённый...

С. Дьяков умеет чувствовать и передать тончайшие, едва уловимые «дуновения сфер», не рвущие и паутинок: и прогретые, идущие от солнца, и прохладные, идущие от земли:

Потому что, как внешняя пашня,
Ожиданьем томится душа...

И никновение:

И сон земли уснувшей не глубок,
Она уже травой забормотала...

Любовный лиризм у Сергея Дьякова трагичен и не менее тонок:

И утром солнце не солжёт —
Кольцо на пальце, губы жжёт.
И, словно раны, глубоки
По снегу первые шаги.

Надо сказать, что психологизм у Сергея Дьякова иногда немного академичен, выстроен на захватанных, что поручни в трамвае, образах, я нашёл два: «...и от восторга скрыто холодеет» и «...уже крепка, как смерть, её любовь». Но это для вездливых, зато —

Ржаное время крутит жернова...

Тот же любовный лиризм у Дарьи Стрижковой временами намерен до банальности, например: «До прозрачности рассвета / Выпитая ночь», или — «Ты растворился в зеркалах», порою смутен: «Путая тени, таю мгновенно», но надо помнить, что она автор начинающий, что это её первая публикация, а то, что у неё есть все признаки самостоятельности мыслей и чувств — несомненно. Несмотря на «инверсию чувств», которую она второпях схватнула из той самой «компостницы».

Уже сдавать статью — вышел третий номер за этот год, и, в подтверждение моих слов, снова изобилие разных интонаций — тут и богемная двух Владимирова — Соколова и Шемшученко, и уплотнённо-почвенническая Леонида Гержидовича, и мужественная сентиментальность Натальи Музиной, и криптография аллюзивного письма Андрея Правды и Виктора Кальсина («герметизм», тот самый), и меня, слава богу, тиснули.

Вообще говоря, холод, если он *абсолютен*, обжигает почище пламени (если можно как-то сравнивать). И. Бродский довёл температуру практически до абсолютного нуля, вот читающие и недужат. Если столкнуть гипотетические термодинамики абсолютного нуля и 6000 градусов по Цельсию (температура поверхности Солнца), неизвестно ещё, чья возьмёт. При очевидной мастеровитости стиха В. Кальсина и А. Правды в какую-то сторону двигаться.

В обоих номерах поэзию объединяет некая *сдерживаемость*, что, мне думается, и есть та самая новая модуляция, в отличие от распахнутых интонаций предыдущей эпохи стихосложения (наверное, Л. Гержидович уместно и оттеняет моё наблюдение как раз распахнутостью (не разнужданностью). А вот новоозначенный предел, «миру осуши»:

*И слезу безотчётного счастья
Вытираю речным рукавом.*
(Е. Худобин)

И у А. Правды:
*Но звёзды отсюда нам лучше видны,
Они здесь крупнее и ближе,
Они по хозяйству бывают годны,
Когда опускаются ниже...*

Хотя, конечно, *звуконпись* во второй строке...
Уроки последних двух эпох стихосложения усвоены.

Анатолий ВАЛЕНТИНОВ
г. Кемерово

ОТЗЫВ НА СБОРНИК СТИХОВ БОРИСА БУРМИСТРОВА «СКАЖИ ЛЮБЛЮ...»

В сборнике стихов Бориса Бурмистрова «Скажи люблю...» собрана любовная лирика разных лет.

Лавина неподдельных человеческих чувств обрушивается на читателя: горечь разлуки, радость встречи, сожаление о непредсказуемости судьбы, попытка философски осмыслить неизбежность потерь, стремление обрести покой после перенесенных потрясений. «Свет и ненастье в духе» — двойственное состояние носителя поэтического сознания.

Лирический герой поэта уникален: тонко чувствует, глубоко, постоянно томим муками ожидания нового, безвозвратной утратой ушедшего:

*Улеглась, устоялась погода,
И в душе стало ясно, легко —
Не найти к этой женщине бродя,
Видно, в прошлое нету его.*

В лирике Бориса Бурмистрова нет утомительной хронологии событий — только смена времен года символизирует неуклонный ход времени.

Лирический герой поэта ищет новых чувств и впечатлений, найдя их, замирает, ждет и зачастую теряет, не в состоянии что-либо предпринять. Он больше созерцает, нежели действует.

*Не снись, не надо. Бог с тобой,
Не бреди больную память,
Все, что отмеряно судьбой,
Не изменить и не поправить.*

Или

*Какая благодать —
Мне с вами не встречаться,
Не думать, не страдать,
Не слышать, не смущаться.*

Лирический герой поэта легкораним, взаимодействует с силами живой природы, гармонизирует состояние своего духа, призывая на помощь ее (природы) стихийные силы.

Очевидна способность пылкой поэтической души возрождаться после потрясений и жизненных «бурь»: «Все испытал я: и бури, и стужу».

*Я прошел такие холода...
Но душа к любви не охладела.
Все прошло — и радость, и беда.
Все прошло и... вновь душа запела.*

Неожиданны, новы эпитеты, например: «свет хрустящий», «метельный листопад».

Восприятие неидеального реального мира поэтом одухотворено, свежо и возвышенно. Он любит жизнь во всех ее проявлениях, формах, воспекает ее. И это жизнеутверждающее, зазорное, молодое начало его поэзии позволяет надеяться, что она никогда не состарится.

Прослеживаются явственно две большие, неисчерпаемые поэтические темы: любовь к женщине — сосредоточению прекрасного; любовь к природе — вселенской гармонии. Оптимизм, жизнеутверждающее начало присуще поэзии Бориса Бурмистрова.

Хочется отметить, что автор пребывает в здоровом состоянии любви ко всему окружающему его:

*Любовью к ближнему истончусь —
Душа любовью станет.*

И. Н. СКУДАРНОВА,
кандидат педагогических наук, доцент
г. Новокузнецк

ИЗДАНИЕ, ДОСТОЙНОЕ УВАЖЕНИЯ

В последние годы в разных издательствах страны вышло несколько заметных энциклопедических словарей, посвященных современной русской литературе. Об этих работах было много противоречивых публикаций в нашей периодике, особен-

но живую дискуссию вызвал двухтомник профессора С. И. Чупринина «Новая Россия: мир литературы. Энциклопедический словарь-справочник». Кто прав из авторов рассуждений, кто нет — тяжело ответить по той причине, что этих работы вообще не видели. Книготоргующие организации даже по заявкам покупателей не спешат выполнять заказы — вот если бы мы захотели приобрести детективы или эротическую литературу, то проблем с доставкой этого макулатурного чтива не существовало бы. Даже библиотеки из-за трудностей с финансированием отказались от подписки на некоторые литературные газеты. Что уж тут говорить о каких-то энциклопедических словарях...

Тем не менее у нас есть сегодня возможность порассуждать о новой уникальной работе известного критика и литературоведа Вячеслава Вячеславовича Огрызко «Русские писатели. Современная эпоха. Лексикон» (эскиз будущей энциклопедии), которая недавно увидела свет в библиотеке издательского концерна «Литературная Россия». Это издание уже поступило в продажу, и желающие могут его приобрести, обратившись непосредственно в редакцию этого еженедельника.

Характерной особенностью «Лексикона...» является то, что здесь включены биографические и библиографические материалы более чем о трех тысячах писателей, родившихся в 1917–1980 годы. Как отмечает в предисловии В. Огрызко, здесь нет деления литераторов на «правых» и «левых», независимо от их идеологических воззрений и приверженности тем или иным стилям. В словаре рассказано о двадцати пяти писателях, родившихся в Кузбассе. Некоторые из них впоследствии, выйдя на широкую литературную дорогу, переедут жить в другие регионы страны, но в своем творчестве не забывают родную Кузнецкую землю.

Составитель представил в эскизе будущей энциклопедии материалы о Борисе Бурмистрове, Сергее Донбае, Владимире Берязеве, Геннадии Юрове, Александре Голунчикове, Николае Колмогорове, Гarii Немченко, Викторе Лихоносове,

Василии Федорове, Владимире Чивилихине и других известных земляках. На них, думаю, не стоит особо останавливаться по той причине, что творчество вышеназванных писателей хорошо известно кузбасским читателям, их биографические сведения и основные краткие творческие характеристики произведений неоднократно публиковались во всевозможных литературных справочниках. К тому же в ближайшее время предполагается выпустить региональный библиографический словарь кузбасских писателей. Но, пользуясь возможностью, хочу внести некоторые дополнения и уточнения в отношении вышеназванных литераторов. Это важно не только для самих писателей, но, думаю, не в последнюю очередь и для любителей художественного слова, которые внимательно следят за творчеством сибирских писателей.

О Борисе Бурмистрове. В разделе «Сочинения» не указаны вышедшие в разные годы сборники лирики: «Не разлюби». Стихи. Кемерово, 1989 г.; «Песочные часы». Стихи. Москва, 1995 г.; «Скажи люблю...». Стихи. Кемерово, 2005 г.

В 2002 году ему одному из первых сибирских писателей Российской академией наук за заслуги перед культурой вручен орден «За пользу Отечеству» имени Татищева. С 1993 года возглавляет Союз писателей Кузбасса. Награжден областными и ведомственными наградами. Много работает с творческой молодежью. Советник губернатора области по культуре.

В отношении **Сергея Донбая** В. Огрызко исправил досадную ошибку в словаре С. Чупринина, где сказано, что родился поэт в 1939 году.

В настоящее время С. Донбай не ответственный, а главный редактор журнала «Огни Кузбасса». Лауреат литературной премии имени В. Федорова. Руководитель областной литературной студии «Притомье». За успехи в литературной работе награжден областными наградами.

Хотелось бы, чтобы при последующей работе В. Огрызко над «Хрестоматией» был значительно расширен информационный материал о **Геннадии Юрове**. Не указано, что Геннадий Евлампиевич многие годы трудился корреспондентом в газетах

«Кузбасс», «Магаданская правда», в журнале «Российская Федерация» по Западной Сибири. Был редактором Кемеровского книжного издательства и газеты «Родник», главным редактором альманаха «Огни Кузбасса». Возглавлял Кемеровскую писательскую организацию. В настоящее время — главный редактор альманаха «Красная Горка». Автор слов гимна Кемеровской области «Рабочая мелодия Кузбасса». Заслуженный работник культуры РФ. В 2004 году в «Кузбассвуиздате» вышла новая книга Г. Юрова «У родника на Красной Горке».

По В. Д. Федорову. Не указано, что в Кузбассе учреждена литературная премия его имени в области поэзии. Ежегодно в селе Марьевке Яйского района проводится традиционный литературный праздник «Федоровские чтения».

Всего четыре строчки сказано о жизни и литературной деятельности известного кузбасского поэта М. А. Небогатова. Помимо того, что не указан год смерти Михаила Александровича (1990), читатель не знает, что будущий писатель работал техником-инвентаризатором. Был тяжело ранен в Великую Отечественную войну. Был на журналистской и редакторской работе в Кемеровском книжном издательстве. Автор многих стихотворных сборников.

Поклонники творчества Г. Немченко просили уточнить, что первую свою книгу «Когда друзья рядом» Гарий Леонтьевич выпустил в соавторстве с Геннадием Емельяновым. Как сценарист, совместно с режиссером Игорем Икоевым снял три документальных фильма: «Хранитель», «Где Ложкин прячет золото», «Казачий круг».

По нескольким произведениям Г. Немченко сняты и художественные фильмы: «Быть человеком», «Конец первой серии», «Скрытая работа», «Брат, найди брата». А детская кинокартина «Красный петух плимутрок» с 1975 по 1991 год вышла на первое место по количеству показов на Центральном телевидении.

За роман «Пашка — моя милиция» писатель получил премию «Молодость Кузбасса» и знак МВД СССР «Отличник советской милиции». Одесская киностудия пыталась было «Пашку...» экранизи-

ровать, но из-за экономических трудностей эта работа так и не была доведена до конца.

Г. Л. Немченко — блестящий переводчик с адыгейского языка на русский. В его интерпретации читатели по достоинству оценили романы народного писателя Адыгеи Юнуса Чуюко: «Сказание о Железном Волке» и «Милосердие Черных гор, или Смерть за Черной рекой». За этот перевод наш земляк удостоен литературной премии «Образ».

В работе Вячеслава Огрызко много новых литературных имен, о которых знает не каждый кузбасский читатель. Вот некоторые из них.

В Новокузнецке, например, в 1960 году родилась Марина Петровна Абашева. После окончания в 1981 году Новосибирского пединститута была на преподавательской работе. В настоящее время она доктор филологических наук, преподает в Пермском пединституте. Часто выступает в периодике с литературно-критическими статьями. Она автор известной книги «Литература в поисках лица: Русская проза в конце XX века».

Здесь же родилась известная поэтесса Ольга Юрьевна Ермолаева, которая в настоящее время заведует отделом поэзии в столичном журнале «Знамя».

Чтобы не утомлять читателя длинным перечнем работ других литераторов, назову лишь отдельные фамилии наших земляков: Евгений Гришковец, Владимир Берязев, Геннадий Балахонов, Тамара Пономарева, Иван Есаулов, Николай Игнатенко, Константин Проимин и др.

Не все, конечно, известные кузбасские писатели представлены в «Лексиконе...». В разговоре с автором этих строк В. В. Огрызко сказал, что при подготовке будущей энциклопедии автор учтет пожелания читателей и будет благодарен за существенные добавления и уточнения в работе.

Сейчас В. В. Огрызко работает над новыми справочниками: «В ожидании бури» — о писателях 1900—1916 годов рождения и «Здравствуй, племя младое» о 25—35-летних литераторах. А в следующем году запланировано выпустить солидное издание «Русские писатели XX — начала XXI века».

Николай НИЧИК,
г. Новокузнецк, август 2005 г.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ



Союз писателей Кузбасса, редколлегия журнала «Огни Кузбасса» сердечно поздравляют поэта и прозаика из города Анжеро-Судженска, члена Союза писателей России Сергея ПОБОКИНА с 60-летним юбилеем!

9–10 июля 2005 года в деревне Юго-Александровка по инициативе отдела культуры города Березовского и при поддержке Союза писателей Кузбасса прошел Первый литературный фестиваль, получивший название «Юго-Александровский родник» («Три дня у Лёни»). По замыслу организаторов, он должен явиться ежегодным праздником и смотром молодых талантов северных районов Кузбасса. По итогам фестиваля планируется издание поэтического ежегодника лучших литературных творений его участников. В гости к поэтам Леониду Гержидовичу и Нине Красовой съехалось более двух десятков молодых дарований из Березовского литературного объединения, а также кемеровчане. Из опытных взрослых литераторов в фестивале приняли участие Сергей Павлов, Виктор Арнаут, Дмитрий и Наталья Мурзины, Владимир Ерёменко, а также хозяйка и организаторы мероприятия Анатолий Горипякин, Борис Нуштаев, Юрий Михайлов, Леонид Гержидович и Нина Красова.

У импровизированного «стихдрома» и «плахи» все участники в течение двух с половиной часов читали свои стихи и прозу. После ужина у костра в палаточном городке праздник поэзии продолжился, пополнившись новыми прибывшими.

С 18 по 25 июля в Кемерове прошла традиционная неделя творческих встреч писателей Кузбасса с учениками и воспитателями центров детского летнего отдыха при школах № 4, 10, 45, 89, 90, 99. Открытие таких встреч было заснято на телевидении и показано по местному каналу в программе «Вести». В числе выступающих – Борис Бурмистров, Александр Катков, Сергей Донбай, Валерий Козлов, Семён Печеник, Виктор Арнаут и Сергей Павлов.

В актовом зале Беловского ЛОВД на транспорте 16 августа сего года состоялась творческая встреча кемеровского прозаика Сергея Павлова с работниками этого отдела, на которой было представлено второе издание его книги очерков и рассказов о милиции, прокуратуре и адвокатах – «Мафиёза».

Центром литературной жизни Кузбасса 10 сентября стало село Марьевка Яйского района. Сюда съехались десятки именитых и молодых поэтов и прозаиков из Кемерова, Юрги, Белова, Прокопьевска, Березовского, Ижморки, Яи и других населенных пунктов Кемеровской области. Всех вместе собрали здесь Федоровские чтения, проводимые на родине поэта ежегодно уже в 20-й раз.

Торжество открыли у дома-музея Василия Дмитриевича Федорова представители администрации Кемеровской области и Яйского района: председатель районного Совета депутатов трудящихся Николай Михайлович Герасименко, заведующая домом-музеем Н. И. Ветошкина, земляки поэта. От Союза писателей Кузбасса выступили поэты Сергей Донбай, Александр Катков, Валерий Зубарев. Звучали записи стихов в авторском исполнении Василия Дмитриевича. Прекрасно вписались и песни, написанные и исполненные Виктором Егоровым на стихи Федорова.

167

После часового митинга у памятника поэту мероприятия перенесли в местный Дом культуры, где прошел большой праздничный концерт, подготовленный работниками культуры Яйского района.

По поручению губернатора Амана Тулеева руководителям литературных молодежных студий Сергею Донбаю, Иосифу Куралову, Тамаре Рубцовой, Михаилу Шеховцову были вручены почетные грамоты и денежные премии. Удостоились наград и более двадцати участников литературных объединений: «Притомье» и «Свой голос» (Кемерово), «Свеча» (Юрга), «Ижморские искорки» (Ижморский район). Награды вручала зам. начальника департамента культуры Тамара Сергеевна Коваль.

Во время концерта и званого обеда звучали стихи и песни Василия Федоровича, а также поэтов: Тамары Рубцовой, Сергея Донбая, Иосифа Куралова, Вячеслава Лопушного, Александра Каткова, Семёна Печеника, Анатолия Валентинова, Владимира Ерёменко, Леонида Гержидовича, Нины Красовой, Анатолия Горепякина, Юрия Михайлова, Фарита Давлятшина, Александра Курицына. Предоставили возможность почитать свои стихи и юным дарованиям из молодежных студий.

По инициативе Иосифа Куралова и Андрея Торощина, при спонсорской поддержке начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово Нины Гавриловой вышел альманах «Свой голос», авторами которого стали, в основном, молодые поэты и прозаики из Кемеровской литературной студии с одноименным названием, руководимой поэтом И. Кураловым.

Презентация журнала прошла на Федоровских чтениях в Марьевке.

В Иркутске с 24 по 29 октября с. г. прошел круглый стол главных редакторов журналов Сибири и Дальнего Востока.

Открыл круглый стол руководитель Иркутского отделения Союза российских писателей Борис Ротенфельд. Он представил приехавших из Москвы: критика, главного редактора журнала «Знамя» Сергея Чупринина, прозаика Евгения Попова и поэта Анатолия Кобенкова. А также заместителя главного редактора альманаха «Рубеж» Александра Лобычева (г. Владивосток), главного редактора журнала «Дальний Восток» Вячеслава Сукачева (г. Хабаровск), редакторов-составителей альманаха «Зеленая лампа» Анатолия Кобенкова и Бориса Ротенфельда (г. Иркутск), членов редколлегии журнала «Сибирь» Анатолия Байбородина, Валентину Се-

менову и Владимира Скифа (г. Иркутск), представителя редакции журнала «День и ночь» Ивана Клинового (г. Красноярск), заместителя главного редактора журнала «Сибирские огни» Владимира Берязева (г. Новосибирск), главного редактора журнала «Огни Кузбасса» Сергея Донбая (г. Кемерово).

Сначала хозяевами круглого стола предполагалось, что оценивать работу журналов будут только москвичи, чтобы создать объективность и независимость суждений. Но с первого же дня по всеобщему согласию в обсуждении приняли участие, кроме авторитетных писателей из столицы, и приехавшие представители журналов, и писатели двух иркутских союзов – Союза российских писателей и Союза писателей России.

В последний день прошла итоговая пресс-конференция со СМИ. Гости с хозяевами побывали на Байкале, отведали знаменитого байкальского омуля прямо на берегу.

ВЫШЛИ НОВЫЕ КНИГИ:

Бурмистров Б. В. Тёплое дыхание зимы: Стихотворения. – М.: Московский Парнас, 2005. – 128 с.

Имгер А. А. Осколки дня: Стихи. – Кемерово: Летопись, 2005. – 120 с.

Казаков В. Н. Записки колониального чиновника: Рассказы, повесть. – Новосибирск: ИД «Сова», 2005. – 400 с.

Курочкин О. Д. Студёная медь: Стихи. – Кемерово, 2005. – 52 с.

Мурзина Н. Вторжение весны: Стихи. – Кемерово: Кузбассвуиздат, 2005. – 68 с.

Павлов С. М. Мафиёза: Очерки, рассказы и повесть о милиции. Изд. 2-е, доп. – Кемерово: Кузбассвуиздат, 2005. – 144 с.

Панов Ю. Сиблаг ГУЛАГа. – Кемерово, 2005. – 418 с.

Юдин Ю. Чёрный квадрат. – Кемерово: Кузбассвуиздат, 2005. – 227 с.

Катков А. Сирень. – Кемерово: Кузбассвуиздат, 2005. – 72 с.

Раевский А. Забураненный рай. – Кемерово: Летопись, 2005. – 80 с.

Креков В. Деревьев люд смиренный. – Кемерово: Летопись, 2005. – 143 с.

Тиражом три тысячи экземпляров вышел очередной номер молодежного иллюстрированного журнала «После 12» (лето 2005) Союза творческой молодежи «Азия».

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ОГНИ КУЗБАССА» ЗА 2005 ГОД

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА I СЪЕЗДЕ ЛИТЕРАТОРОВ КУЗБАССА

Бурмистров Борис. Откуда мы и куда?	I-3
Донбай Сергей. Всё взаимосвязано.	I-9
Косточаков Геннадий. Писатели юга Кузбасса.	I-13
Куралов Иосиф. Свой голос нового поколения.	I-14

Приветствие журналу от губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева	III
Благодарные кемеровчане шахтёрам Кузбасса.	
Интервью с заместителем главы города Кемерово Ириной Федоровной Федоровой	III-3

ПРОЗА

Акатнов Константин . На крыльях детства (Из автобиографических записок «Воспоминания в расцвете лет»).	I-19
Анохин Михаил . Васятка. Рассказ.	II-55
Только память. Повесть в новеллах.	IV-10
Арнаутов Виктор . Карманные часы «Молния» с трофейной цепочкой. Рассказ.	II-35
Проклятие гречанки. Повесть.	IV-68
Берсенёв Валерий . Проза для злых городов.	III-9
Гоголев Михаил . Новоселье. Рассказ.	I-96
Естамонов Геннадий . Дом у шахты. Рассказ.	II-43
Крёков Виталий . Три рассказа.	IV-52
Кривошеин Михаил . Калош. Рассказ.	II-76
Лавряшина Юлия . Три рассказа.	III-29
Мазаев Владимир . Два рассказа сибирячки.	II-17
Махалов Валентин . Поленька. Рассказ.	IV-3
Павлов Сергей . Комплекс подмастерья. Повесть.	I-57
Переводчиков Владимир . Два рассказа.	II-30
Петров Игорь . Рассказы для детей.	III-96
Печеник Семён . Пять утренников с одним воскресным.	III-93
Попок Василий . Из блокнота.	I-41
Страхова Тамара . «Точка, точка, запятая...». Короткие рассказы.	I-83
Скорик Любовь . Артель. Из цикла «Тени детства».	III-69
Скобёлкин Борис . Дай-давай. Рассказ.	III-23
Тотыш Юрий . Святой старец. Повесть.	III-37
Трохин Геннадий . Предательство бабки Нюры. Рассказ.	II-51
Хоботнев Дмитрий . Три рассказа.	III-60
Чиняев Сергей . Кузьмичёв Брод.	III-82
Ярошук Александр . Два рассказа.	II-78

ПОЭЗИЯ

Буравлёв Евгений . Из фронтового блокнота.	II-27
Валентинов Анатолий . Дальнее Подмосковье.	III-91
Гержилович Леонид . Бескрайней Сибирью под Богом.	III-34
Гольцман Эдуард . Стихи для детей.	IV-103
Дьяков Сергей . Звёздная поляна.	I-93
Каганов Владимир . Живое время, полное любви.	IV-46
Как общее наше Отечество, Отечественная война. Стихи поэтов Кузбасса о войне.	II-60
Кальсин Виктор . Песчаный спецназ.	III-56
Клюшников Сергей . Слова, живущие во мне.	IV-66
Лопушной Вячеслав . Ночью я позвонил Александру Блоку.	IV-41

Мадинь Надежда . И волшебства прикосновение.	I-81
Мамаев Владимир . Сын полка.	II-49
Мордовин Иван . Чувствую волнение ветвей.	IV-61
Мурзина Наталья . Русская вечность течёт сквозь меня.	III-61
Небогатов Михаил . Русский человек.	II-40
Николаева Татьяна . Мой ребёнок читает Сенеку.	IV-5
Поклонимся. Помянем. Помолчим. Советские поэты о войне.	II-3
Правда Андрей . Заснеженной ветки коралл.	III-20
Пристинский Вадим . Командировка на войну.	IV-8
Сидоров Руслан . А помнишь, как апрельской ночью.	I-89
Соколов Владимир . Чтоб не мог наглядеться.	III-67
Стрижкова Дарья . Я думаю о тебе.	I-100
Тихонов Валерий . Я берега соединил собою.	IV-64
Фролова Ирина . На прощанье тебя поцелую.	III-27
Худобин Евгений . Слезу утираю речным рукавом.	I-54
Шемшученко Владимир . Заносит меня в Петербурге метель.	III-79
Шумилов Владимир . По земным покружил я дорогам.	I-38

169

ЛИКИ ЗЕМЛЯКОВ

Естамонова Зоя . Честь смолоду.	II-117
Мазаев Владимир . Командир «стогектарных пушек».	II-112
Свеча писателя Вилия Рудина.	III-124
Рудина Р. П. Каким он был?	III-120
Скорик Любовь . Как я была миллионером.	III-122
Трохин Геннадий . Дети каторжников.	I-109
Чертогова Марина . Монографическая коллекция: Юргис Преисс. К 100-летию со дня рождения Юргиса Понасовича Преисса (1904–2004).	I-103
Чтобы помнили.	II-123
Шуманова И. А. Виль Григорьевич Рудин «Солдат, писатель, журналист».	III-119

АСТАФЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Мазаев Владимир . «А он ждёт нас – каждым своим словом».	I-113
--	-------

СВЕТЛИЦА

Бударина Наталья	III-137
Гоголашвили Маргарита	I-117
Гушинец Никита	IV-157
Евтушенко Анна	II-124
Захарова Алёна	III-137
Захарова Наташа	IV-156
Золотухин Андрей	IV-155
Зоя Николаевна (учитель литературы).	I-117
Зубков Виталий	IV-155
Измestyева Мария	III-137
Канаева Анастасия	I-117
Клевцова Надежда	IV-157
Князева Светлана	I-117
Калясова Надежда	II-124
Конькова Евгения	III-137
Корбут В. А. После встречи с поэтами.	IV-157

Костяев Сергей	III-137
Куралов Иосиф «На качаликах застрашнело»	IV-155
Лазарько Денис	IV-156
Лихачёва Валерия	III-137
Логутенко Андрей	III-137
Мельникова Анна	III-137
Нагорный Никита	IV-156
Николаева Светлана	IV-158
Овчинникова Арина	IV-156
Первышина Елена	I-117
Радионова Марина	III-137
Суйканен Дмитрий	II-124
Троценко Вася	IV-157
Фатьянова Екатерина	I-117
Хан Дарья	II-124
Шеховцова Елизавета	II-124

ПУБЛИЦИСТИКА

Александрова Марина. Слово о хлебе.	IV-109
Арнаутов Виктор. О провинциальной литературе и писателях-провинциалах.	I-123
Власов Валерий. Кому как, а нам эдак, или Современная оптимистическая трагедия не для сцены.	IV-114
Кабанова Нина. Мамины уроки.	IV-104
Макаров Евгений. Спасибо Вам!	III-108
Михеев Владимир. Пусть родничок будет чистым ...	III-106
Павлов Сергей. О звуках.	IV-112
Рубцова Тамара. Жизнь дана для любви.	
Записки воспитателя детского дома.	III-102

ЗАПОВЕДНАЯ СИБИРЬ

Попок Василий. Таёжная отшельница.	IV-147
Романчин Владимир. Чёртово Городище (Освоение земли сибирской).	IV-153
Юдин Юрий. Русский гриб. Трактат.	I-127

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТУДИЯ

Аксёнов Андрей	II-78
Архипов Олег	II-78
Бабенко Алексей	II-78
Бацевич Николай	IV-133
Беляков Сергей	III-111
Бельчегешев Николай	II-78
Бреева Ирина	IV-132
Брюзгина Марина	IV-128
Герасименко Нина	II-78
Гулевский Станислав	IV-134
Денисенко Константин	II-78
Добрынина Марина	II-78
Казанцева Ирина	IV-131
Калашников Владимир	II-78
Капкаева Светлана	II-78
Кузьмин Андрей	III-111
Кусургашева Екатерина	II-78
Лаватера Юлия	IV-129
Леонов Алексей	III-111
Леонтьев Владимир	III-111
Плотникова Надежда	IV-131
Подковко Ольга	II-78
Подковко Сергей	II-78
Радченко Юрий	VI-130
Сбытова Любовь	II-78
Стефановский Сергей	II-78

Шабалина Анастасия	III-111
Шматкова Антонина	IV-133

ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ

Власов Валентин. Люба-Любушка.	II-96
Дмитриченко Михаил. Мы – таманцы.	II-95
Иванов Владимир. Из воспоминаний командира батальона И. Г. Донского.	II-100
Павлов Сергей. «Наш Штирлиц» из Промышленной.	II-104
Редковский Николай. Его имя носит школа села Берикуль.	II-90
Романчин Владимир. Огненные дороги к победе.	II-86
Светлаков Юрий. Кино в годы войны.	II-110
Сергеев Алексей. И всё же победили.	II-98

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЧТЕНИЯ

Ерёменко Владимир. Горчичное зёрнышко.	II-130
Калишева Галина. К истории наших церквей.	III-129
Пыкин Пётр. А завтра должно наступить.	II-135

ДЕНЬ ШАХТЁРА В КЕМЕРОВО

170 Ражев О. Г. О встрече с Эрнстом Неизвестным – автором монумента «Памяти шахтёров Кузбасса». ...	III-100
---	---------

БИБЛИОТЕЧЕСТВО

Подготовила Дубро Екатерина. Виссарион Григорьевич Белинский (1811–1848).	III-125
Мы стоим в центре жизни. А. А. Блок. И. А. Ильин.	IV-139
Плющев Валерий. Книголюб милостью Божьей.	IV-142

ОЧЕРК

Юдин Юрий. Чёрный квадрат (выбранные главы).	III-138
---	---------

ИСКУССТВО

Чертогова Марина. Шахтёрам Кузбасса посвящается.	IV-136
---	--------

КРИТИКА, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Анохин Михаил. Мифы нового времени. О статье Евгения Левшова «Мы и духовность наша».	III-150
Валентинов Анатолий. «Угль, пылающий огнём».	I-138
Классический паровоз.	IV-159
Каткова Дарья. Возвращение к человеку.	I-140
Ничик Николай. О добром Карлсоне, который живёт в Новокузнецке.	III-148
Издание, достойное уважения.	IV-164
Павлов Сергей. О «литературных тараканах» и прочих насекомых (ответ г-ну Юдину).	III-155
Плющев Валерий. «Боль души» (О третьей книге стихов Валерия Козлова).	II-142
Попок Василий. Взошествие на Красную горку.	II-138
Пушкарёв А. А. Поэтическое творчество наших земляков (С. Побок и Г. Горюнов).	I-143
Скударнова И. Н. Отзыв на сборник стихов Бориса Бурмистрова «Скажи люблю...».	IV-164
Шатская Таисия. Защитим от поругания нашу Родину.	III-153

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ.

Подготовил Арнаутов В.	I-146; II-145; III-159; IV-167
-----------------------------	--------------------------------

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Валентин Махалов. Поленька. Рассказ	3
Михаил Анохин. Только память. Повесть в новеллах	10
Виталий Крёков. Три рассказа	52
Виктор Арнаут. Проклятие гречанки. Повесть	68

ПОЭЗИЯ

Татьяна Николаева. Мой ребенок читает Сенеку	5
Вадим Пристинский. Командировка на войну	8
Вячеслав Лопушной. Ночью я позвонил Александру Блоку	41
Владимир Каганов. Живое время, полное любви	46
Дмитрий Мурзин. Да, мой лирический, ты не для драки	48
Иван Мордовин. Чувствую волнение ветвей	61
Валерий Тихонов. Я берега соединил собою	64
Сергей Ключников. Слова, живущие во мне	66
Эдуард Гольцман. Стихи для детей	103

ПУБЛИЦИСТИКА

Нина Кабанова. Мамины уроки.	104
Марина Александрова. Слово о хлебе	109
Сергей Павлов. О звуках	112
Валерий Власов. Кому как, а нам эдак, или Современная оптимистическая трагедия не для сцены	114

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТУДИЯ

Марина Брюзгина, Юлия Лаватера, Юрий Радченко, Ирина Казанцева, Надежда Плотникова, Ирина Бреева, Николай Бацевич, Антонина Шматкова, Станислав Гулевский	128
---	-----

ИСКУССТВО

Марина Чертогова. Шахтёрам Кузбасса посвящается	136
---	-----

БИБЛИОТЕЧЕСТВО

Мы стоим в центре жизни. А. А. Блок. И. А. Ильин. Подготовила Екатерина Дубро	139
Валерий Плющев. Книголюб милостью Божьей	142

ЗАПОВЕДНАЯ СИБИРЬ

Василий Попок. Таёжная отшельница	147
Владимир Романчин. Чёртово Городище (Освоение земли сибирской)	153

СВЕТЛИЦА

Иосиф Куралов. «На качаликах застрашнело»	155
Андрей Золотухин, Виталий Зубков, Арина Овчинникова, Наташа Захарова, Денис Лазарько, Никита Нагорный, Вася Троценко, Никита Гушинец	155
В. А. Корбут. После встречи с поэтами	157
Надежда Клевцова, Светлана Николаева	157

КРИТИКА, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Анатолий Валентинов. Классический паровоз	159
И. Н. Скударнова. Отзыв на сборник стихов Бориса Бурмистрова «Скажи люблю...»	164
Николай Ничик. Издание, достойное уважения	164

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Подготовил В. Арнаут	167
Содержание журнала «Огни Кузбасса» за 2005 год	169

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

**ОБЪЯВЛЕНА ПОДПИСКА
НА ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ**

«ОГНИ КУЗБАССА»

Издание знакомит читателя с лучшими произведениями прозаиков и поэтов, живущих в Кузбассе, освещает жизнь региона, публикует материалы, посвященные народам Кузнецкого края. В рубриках «Литературная студия» и «Светлица» печатаются произведения талантливых молодых писателей, одаренных школьников.

Журнал «Огни Кузбасса» проводит курс на расширение творческих связей с писателями, а также с журналами других регионов России: «Наш современник» (Москва), «Всероссийский Собор» (Санкт-Петербург), «Сибирские огни» (Новосибирск), «День и ночь» (Красноярск), «Врата Сибири» (Тюмень), «Сибирские Афины» (Томск), «Барнаул» (Барнаул). По отдельности тиражи наших журналов небольшие, но если их сложить, сумма света, которую они несут, будет значительной.

Редакция поддерживает объединение всех здоровых сил на базе традиционных ценностей русской культуры. Публикации способствуют изучению новейшей русской литературы и искусства в школах и вузах. Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кому дорога Россия, Сибирь, наш родной Кузбасс. Мы стремимся помогать власти в укреплении авторитета армии, в духовном и патриотическом воспитании молодежи.

Наше издание распространяется в общественных организациях, библиотеках и учебных заведениях Кузбасса, высылается авторам журнала.

Литературно-художественный журнал **«Огни Кузбасса»**

**Подписка на первое полугодие 2006 года оформляется
в любом отделении почтовой связи по каталогу
«Почта России»**

Почтовый индекс **12234**

Периодичность выхода – **раз в квартал**

Подписная цена за полугодие **105,8 руб.**

Технический редактор **В. И. Труханова**

Корректор **С. А. Мазаева**

Компьютерная верстка: **М. Ю. Кузнецов**

Подписано к печати 28.04.2005. Формат 60x84¹/₈.

Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Усл. печ. л. 20 + 0,5 л. цв. вкл. Тираж 900 экз. Заказ № 621.

Издательство «Кузбассвуиздат».

650043, г. Кемерово, ул. Ермака, 7. Тел. 58-34-48

www.kvi.bip.ru



Шемаров Н. М.
Сумерки на шахте. 1964–2004



Вертков Н. В.
Бригадир проходчиков Бармин. 1974



Кирчанов А. Н.
Портрет шахтёра-маркшейдера. 1973

